

ЛАРИСА БОГОРАЗ

СНЫ ПАМЯТИ

ХАРЬКОВ
«ПРАВА ЛЮДИНИ»
2009

ББК 84.4(УКР-РОС)
Б 83

Художник-оформитель
Б.Е. Захаров

Богораз Лариса

Сны памяти // Харьковская правозащитная группа. —
Б 83 Харьков: Права людини, 2009. — 260 с.

ISBN 978-966-8919-76-3.

Эта книга публикуется к 80-летию Ларисы Иосифовны Богораз. Она писала воспоминания более десяти лет, но так и не окончила. Они сохранились в виде десятков разрозненных отрывков с массой вопросов и деталей, требующих уточнения. И, конечно, для их полноценного издания необходима большая текстологическая работа, комментариев, справочные материалы. Будем надеяться, что такое издание выйдет в свет в будущем. А пока что мы напечатали маленьким тиражом как бы черновик воспоминаний, без какого-либо справочного аппарата, без фотографий, — в подарок близким людям Ларисы Иосифовны, которым ничего не надо объяснять.

ББК 84.4(УКР-РОС)

ISBN 978-966-8919-76-3

© Е.Е. Захаров, составление, 2009

© Б.Е. Захаров, художественное оформление, 2009

Предисловие автора

«То, что в физическом времени представляется игрой случайностей, в божественном времени воспоминаний предстает как порядок и цель. Сны памяти — суверенная область литературы, потому что в литературе, как в сновидении, ничто не случайно, жизнь полна тайного смысла и несется навстречу своему завершению...»

Борис Хазанов, «Антивремя»

Своим мемуарам я даю название «Сны памяти», имея в виду то толкование этого понятия, которое дает ему Б. Хазанов в «Предисловии автора» к роману «Антивремя». В этом названии и в этом толковании меня привлекает возможность нанизывать эпизод за эпизодом в своих мемуарах, не заботясь ни об их последовательности, ни об их взаимной связанности. Можно предположить, что сама моя жизнь выстроит их во взаимообусловленный ряд. Таким образом, работу по упорядочению отдельных отрывков я как бы передаю на усмотрение читателя, а себя от этого труда освобождаю. При этом каждый читатель вправе упорядочить их на свой собственный манер, и моя жизнь приобретает множество трактовок, что, видимо лучше всего соответствует реальности.

Л. Б.

Сейчас, когда я пишу свои воспоминания, мне уже за 70 лет. Самое время спросить себя — удалась ли мне моя жизнь. Этот же вопрос я когда-то задала моему отцу, лет за пять до его кончины. Отец

сказал: «Да, мне во многом повезло» И дальше обстоятельно отметил свои жизненные удачи: «Повезло, что меня посадили еще в 36-м году, и моя лагерная судьба оказалась удачнее, чем у многих других».

Эти жизненные успехи были, конечно, не единственные из перечисленных отцом удач. Но запомнились именно они. Наверное, из-за их парадоксальности.

Так вот, если вернуться ко мне, к моей оценке моей жизни — я тоже считаю, что мне в жизни очень повезло. «Не знаю, октябрили» ли меня — был такой коммунистический обряд вместо крещения ребенка; правда, я думаю и насколько мне известно, надо мной такую процедуру не производили. Возможно, потому, что было мало шансов, что я, недоношенный и щипцовый ребенок, вообще выживу, даже имя мне дали полтора-два месяца спустя после рождения. Имя, говорят, я сама себе выбрала — вытащила из предложенных мне и написанных на бумажках именно Ларису. Но, может быть, при этом присутствовали, хотя и не были приглашены добрые феи, и подарили мне подарки по своему усмотрению: замечательных, добрых, умных и даже талантливых людей, с которыми мне повезло встретиться и подружиться в жизни; массу интересных, ярких событий и впечатлений. События, что и говорить, были не всегда во благо — видимо, все же среди дарительниц затесалась и злая фея. Главный же подарок, которым я из суеверия боюсь хвастаться, — это моя семья. Красивая, умная, талантливая мать. Добрый, мудрый, обаятельный, любящий отец. Два сына, о которых я опять же из суеверия не буду произносить хвалебных слов. И еще немало подарков, о которых я вспомню по ходу дела. Сказанное выше определяет структуру написанного ниже.

Я не хотела строить свои мемуары в хронологическом порядке, по-моему, это скучновато. Но все-таки некоторые этапы жизни придется обозначить: предыстория (т. е., родословная), детство, отрочество, мои университеты и т. п. В каждом из этих разделов я постараюсь выделить следующие части: казусы (т. е., событийную часть), персонажи, главные (внешние) впечатления — ну, а дальше как Бог даст.

Я родилась в 1929 году на Украине, в г. Харькове. Харьков тогда был столицей УССР. В Харькове находилось правительство Украины, все центральные республиканские учреждения, здесь открыва-

лись первые высшие учебные заведения, В 1934 г. столицу вместе со всеми ее атрибутами (конечно, кроме монументальных строений) и соответствующими чиновниками перевели в Киев. С тех пор и по сию пору Харьков называют «друга столица Украины».

1929 год советская история называла «годом великого перелома» — началась сплошная коллективизация, «уничтожение кулака как класса», разрушение сельского хозяйства страны, сопровождавшееся страшным голодом на селе, «голодомором». Но я не хочу начинать историю моей жизни с мрачных и даже страшных картин, тем более, что такими я вспоминаю их только теперь (во всяком случае, уже взрослой). И все-таки одну запомнившуюся мне с младенчества на всю жизнь картину постараюсь описать. Меня на руках несут в ясли. Против нашего дома (это была тогда улица Дарвина) стоял другой дом — особняк с широким крыльцом, кажется, Дом архитектора. Зимой, по утрам на этом крыльце лежали страшные, опухшие тела крестьян, которым удалось ночью доползти до города, и здесь они умирали. Когда меня несли из ясель, на крыльце уже никого не было. Объяснение этой страшной картины я получила от кого-то из взрослых, конечно, много-много лет спустя, но самую страшную картину помню сейчас, как если бы она и сейчас была перед моими глазами.

*Мне не надо фотографии фамильной,
Я и так припомню всех, до одного,
Персонажей из немого кинофильма,
Режиссеров детства моего.*

*Помню я, как бабушка в гостиной,
Бросив незаконченный пасьянс,
Замурлыкала, присев за пианино
Посвященный ей дедушке романс...*

(А. Зими́на — О.Г. Олсуфьева)

Не было ни пианино, ни романса! Ни пасьянсов! Гостиной тоже не было. Вопрос: А была ли бабушка?

Конечно, была, даже, как полагается, две — но ни одной я никогда не видела (обе умерли задолго до моего рождения), не осталось, разумеется, ни портретов — откуда быть портретам в бедных еврейских семьях? — ни фотографий: мамин отец, мой дедушка, считал, что фотографироваться — большой грех. А вторая бабушка, папина мать, умерла, когда он был младенцем, когда и фотография была редкостью, во всяком случае, в той среде, к которой относилась семья папы.

Но даже имен моих бабушек не сохранилось — теперь уж, после смерти моих родителей и всех родственников старшего поколения — ни в чьей памяти.

Имена дедушек легко восстановимы, по отчествам папы и мамы: Аарон и Самуил.

О более отдаленных предках — прадедушках, прабабушках и другой прародне — нечего и говорить. Вместо семейной истории у меня семейная мифология.

Я помню себя с очень раннего младенчества, пожалуй, раньше, чем с года. Первые воспоминания, как это обычно бывает, обрывочные.

Самое первое — пожар в нашей комнате (потом мама говорила, что в то время мне было чуть ли не меньше года), помню не по позднейшим рассказам, т. к. ясно помню широкий темный коридор, куда меня выставили, спасая от огня, и соседку, которая забрала меня к себе, и ее больного ребенка. Пожар, видимо, был незначительный, и после него мы еще года два-три продолжали жить в той же коммунальной квартире, в той же комнате, которую я помню очень хорошо: по моим воспоминаниям, очень большая, с большой нишей (альковом?), где стояла папина и мамина кровать, а в самой комнате — моя кроватка и, у другой стенки — нянина. Раннее детство было у меня вполне благополучным — младенческие удовольствия, младенческие огорчения. На нашей семье голод не сказался: мой отец занимал довольно высокий пост в украинском правительстве — он был сотрудником Госплана республики и преподавателем политэкономии в институте красной профессуры. Семья маминой сестры, моей любимой тети Эти тоже не бедствовала — муж тети, дядя Миша Белогородский, работал в НКВД. Сначала мы жили все вместе в одной квартире и даже в одной комнате. У всех были довольно приличные хлебные пайки. Я, конечно, не помню, какова была общая норма хлеба, но помню, что мы на всю большую семью получали

в день буханки две черного хлеба или каравая два «пеклеванного». Нам этого вполне хватало, и даже оставалось сколько-то — остаток раздавали нищенствовавшим голодным крестьянам или меняли на базаре на более изысканную пищу. Вероятно, не было нужды и в деньгах — остальные продукты (яйца, молоко, цыплят, кроликов, зелень) покупали на базаре. Базар был недалеко от нашего дома и назывался «Конный».

Да, мы не бедствовали — по сравнению со всем остальным населением Украины. Но все же — прошу обратить внимание — даже такие высокопоставленные чиновники республики, как мой отец и дядя — получали лимитированные пайки. Достаточные, но все же по лимиту.

Моя родословная

История моей семьи, как любая история, начинается с легенд, что в них правда, а что — поэтический вымысел, теперь, после смерти всего поколения, предшествующего моему, узнать уже не у кого. Каких-либо документальных свидетельств тоже не осталось. Поэтому восстанавливать эту историю мне придется по рассказам моих родителей, сохранившимся в моей памяти, и по собственным детским умозаключениям.

Пожалуй, слова «история семьи» — это слишком громко сказано. Для меня история начинается с папы и мамы, да и то, я уверена, не вся. А все, что было до них — это для меня доисторический, дописьменный период, составленный, в основном, из семейных мифов и легенд, таинственных и романтических.

БОГОРАЗЫ

Мой отец был родом из Овруча, городка восточнее Киева. Род Богоразов происходит из «лесных евреев», будто бы живших когда-то в Беловежской пуше и занимавшихся смолокурением и изучением Торы и Талмуда. Отец внешне был похож на жителей Полесья: высокий, костистый, светлоглазый.

Овручские Богоразы делились на две ветви: богатых и бедных. Богатые Богоразы (семья дяди моего отца) имели скобяную лавку, что несколько подкрепляет версию о предках-смолокурах. Из этой семьи вышло несколько знаменитых личностей — известный профессор-хирург Богораз в 20-х гг., попав под трамвай, как говорят, сам себе ампутировал обе ноги — во избежание гангрены. И еще более известный этнограф и лингвист Владимир Германович Тан-

Богораз. Вся эта ветвь приняла крещение, благодаря чему сыновьям удалось получить высшее образование, В память о своем еврействе Владимир Германович присоединил к своей фамилии частичку «Тан от «Натан» — так его звали до крещения. Возможно, из этой же семьи происходила народоволка Полина (Пелагея?) Богораз¹. И уж совсем из области легенд — история о марксисте Богоразе (Николае Евграфовиче Федосееве, по партийной кличке) — одном из руководителей казанского марксистского кружка, в который в юности входил В.И. Ульянов. Будто бы этот марксист был потом сослан в Иркутскую губернию и там покончил с собой.

Как-то, году в 56-м, один журналист, услышав, как я назвала свою фамилию, стал у меня допытываться, не сохранились ли в семье какие-нибудь архивы: он писал конъюнктурный тогда очерк об учителях Ленина; он-то и докопался, что Федосеев происходил из Богоразов. Журналист совал мне фотокарточку своего героя и уверял, что я на него похожа. На фотографии я увидела мужчину, чрезвычайно заросшего черными волосами, в бороде, усах.

Но если версию о том, что Богоразы происходят из каких-то «лесных», полесских евреев, занимавшихся смолокурением, ничто не подтверждает, но и ничто не противоречит ей, то расширенная версия о «богатых» и «бедных» Богоразов заставляет меня сомневаться в ее достоверности и причислять скорее к области мифов и легенд, чем к истории: к крещеной ветви вроде бы действительно относились и хирург, и лингвист. Но вот что вызывает у меня сомнение в достоверности этой версии: отчество одного — «Алексеевич», другого — «Германович». Может быть, в этом несовпадении и нет ничего необычного, но сомнение остается. А теперь еще вот эти мои записки послужат укоренению этой легенды-истории.

А на Тан-Богораз действительно похожи мой отец и мой младший сын. Фотографии Тан-Богораз мне совсем недавно прислала из Германии одна немецкая исследовательница, Катарина Гернет, писавшая о нем диссертацию. Я же впервые услышала это имя году в 35-м — 36-м. Тогда знаменитый ученый проезжал через Харьков, и ему случилось умереть а этом городе. Люди, сопровождавшие его, почему-то стали там разыскивать его родню и, найдя в телефонном

¹ Возможно, имеется в виду Прасковья Шебалина-Богораз — *примеч. Александра Даниэля.*

справочнике эту фамилию, позвонили и спросили, как родственники намерены распорядиться его телом. По-настоящему же я узнала, кто он был, когда уже училась в лингвистической аспирантуре и читала книгу Ник. Серг. Трубецкого. Там о Тана-Богоразе сказано, что он был чуть ли не родоначальником новой фонологической школы — и это мне очень льстит: слава Богу, не все Богоразы — революционеры, народовольцы и марксисты (впрочем, Тан-Богораз был не только ученым — в начале 80-х гг. он был революционером-народовольцем, за что и попал в ссылку, в Сибирь; и уже там занялся науками). Имя Тана-Богораз особенно популярно среди этнологов. А у меня на полке стоит его книга — полуэтнографическая, полухудожественная, в духе добротных очерков русской натуральной школы — «Восемь племен» — о быте кочевых чукчей. Тан-Богораз в начале XX века был сослан за участие в студенческих волнениях на Чукотку, там занялся изучением — по собственной методике — чукотских наречий, созданием чукотской письменности, изучением и описанием быта и культуры чукчей. Он пользовался доверием и любовью аборигенов, они называли его «Большой доктор». Вернувшись в Ленинград, он основал институт народов Севера, а также музей истории религии.

Вот такова известная мне история «богатых Богоразов».

А «бедные Богоразы» — это мой дедушка Аарон Богораз и его дети.

Из рассказов отца я знаю, что дедушка был «частный поверенный», а значило это вот что: в базарный день он брал с собой бумагу, перо (должно быть, заложив его за ухо), чернильницу, шел на овручский базар и ждал, не наймет ли его кто-нибудь из приехавших с товаром крестьян написать прошение или жалобу. За это ему платили «натурой», продуктами. Думаю, что доходы деда были не очень велики, и его жене приходилось вести небольшое хозяйство: кур, даже однажды корову.

Детей от первой жены у деда было четверо. Папе было два года, когда умерла его мать, и дедушка женился на вдове с ребенком. Папа очень любил свою мачеху, называл ее «тетушка»; смутно вспоминаю ее имя, кажется, Голда.

Дедушка считал себя большим знатоком законов и мечтал о том, чтобы выступить настоящим адвокатом в настоящем суде; всего несколько раз ему выпадала такая удача, и тогда он несколько дней и

ночей готовил свою речь, репетировал ее дома вслух, а в суде неизменно проваливался — может быть, от волнения.

Насколько я знаю, у папы был младший брат Борис. Близких контактов с его семьей у нас не было — иногда он с женой Лией приезжал из Донбасса к нам на праздники. Он был самоучка, инженер-металлург, изобретатель. Одно из его изобретений — способ изготовления изложниц — форм для разлива горячего металла из доменных печей — было внедрено в производство. Но почему-то в семье его считали неудачником. Может быть, неудачником он считал себя сам, а вслед за ним и вся его родня. Дело в том, что дядя Борис был классический графоман, всю жизнь мечтал где-нибудь, хоть в стенгазете, опубликовать свои стихи, но это ему не удавалось. А когда у папы появилась жена — поэтесса, моя мачеха Алла Олсуфьева, дядя одолевал ее своим творчеством. Не встретив с ее стороны сочувствия, совсем загрустил и отдалился от нас еще больше. Папа пытался его уговорить, что в наше отнюдь не гуманитарное время изложницы куда ценнее, чем стихи. Мол, в лагере изобретателю-технарю еще может и повезти в получении блатной работенки, а поэту дальше, чем в ассенизаторы не продвинуться. Дядя Борис умер в Донецке в конце 60-х годов, почти одновременно с ним умерла и его жена.

Незадолго до своей смерти папа как-то мельком упомянул, что его отец, т. е., дедушка Аарон еще до папиной мамы был женат первым браком и имел детей — сыновей, много старших, чем папа. Эта первая семья жила где-то в Крыму — у меня нет уверенности, что я сейчас не пересказываю очередную богоразовскую легенду.

Папина родная старшая сестра Роза была, по слухам, очень красивой женщиной. Она вышла замуж за киевского фармацевта и жила с ним и с ребенком в Киеве. В начале революции ее муж умер от тифа, а она покончила с собой, оставив сиротой сына Эмиля, который воспитывался в детском приюте. Эмиль стал инженером-строителем, в свои 81 год был неизменно деятелен, бодр и оптимистичен, полон творческих замыслов, изобретал новые методы строительства — специально для Средней Азии, написал об этом некое пособие, но издать его не успел.

Другая папина сестра (я не знаю ее настоящего имени, даже папа помнил только, что в детстве ее называли Кока), всю жизнь прожила под партийной кличкой Елена Николаевна; конечно, ника-

кая она не Елена и тем более не Николаевна. В ранней юности она уехала из Овруча в Петербург, училась на акушерских курсах. Там она сблизилась с большевистским подпольем, стала членом большевистской партии, была хозяйкой конспиративной квартиры. (была еще и другая Сулимова, об этом я прочитала в БСЭ — Мария Леонтьевна Сулимова, 1881-1969, член КПСС с 1905 г., возможно, другая жена Д.Е, тоже хозяйка конспиративной квартиры в Петербурге в 1917 г.). Тогда же Елена Николаевна вышла замуж за Д.Е. Сулимова (1890 — 1937), рабочего-революционера с Урала. В 1930-м г. Данила Егорович Сулимов стал председателем Совнаркома РСФСР. Их обоих арестовали в 37-м году, сам Сулимов погиб в тюрьме — вероятно, был забит на допросе или расстрелян, во всяком случае, в лагерь он так и не попал.

ПИСЬМО КАТАРИНЕ ГЕРНЕТ

Глубокоуважаемая Катарина!

Вы не ошибаетесь: Владимир Германович Богораз — действительно, мой относительно близкий родственник. Он — двоюродный брат моего покойного отца, Иосифа Ароновича Богораз, стало быть, мне он приходится двоюродным дядей. Мой дедушка, Аарон Богораз, был родным братом отца Владимира Германовича. Но, к сожалению, я почти ничего не знаю об этом своем дяде, кроме самого факта его существования. Думаю, что поскольку Владимир Германович — объект Вашего научного исследования, Вы знаете о нем гораздо больше, чем я. Некоторые мелкие детали его биографии известны мне только со слов отца, который тоже знал о нем не очень много: семьи отца Владимира Германовича и моего дедушки были совсем не близки, возможно, из-за различий в социальном положении. По-моему, отец даже в детстве и юности не виделся со своим кузеном, хотя они и жили в одном городе, в Овруче — это недалеко от Киева. Пожалуй, сказать, что они оба жили в Овруче, тоже будет некоторым преувеличением, так как Владимир Германович был значительно старше моего отца и, видимо, рано уехал из Овруча в какой-нибудь университетский город, скорее всего, в Петербург. Его отец, достаточно богатый (по местечковым масштабам) человек,

принял крещение сам (таким образом, вероятно, его еврейское имя было вовсе не Герман) И крестил своих сыновей для того, чтобы они могли получить хорошее образование. Владимира Германовича до крещения звали Натан, и в память о своем еврейском происхождении он впоследствии взял псевдоним: Тан-Богораз. У него было несколько братьев, один из них стал в советское время очень крупным хирургом, и во время Отечественной войны получил Сталинскую премию за разработку новых методик в хирургии. До войны он жил и работал в Ростове-на-Дону, во время войны переехал в Москву, здесь был ведущим хирургом в 1-й градской больнице. Николай Германович (кажется, так его звали после крещения) известен также тем, что в результате дорожной катастрофы потерял обе ноги и многочасовые операции проводил, стоя на протезах. Из области мифов о нем: говорят, что, попав в катастрофу, он лично руководил ампутацией своих ног. Впрочем, скорее всего, это не миф, а правда. Эту историю я слышала от многих знавших его людей, и ростовчан, и раненых, которым довелось попасть к нему на операцию. У него была семья, но никого из его семьи я не знала, как и из семьи Владимира Германовича. Самих моих дядей я ни разу в жизни не видела. Владимир Германович умер году в 1935-м — 36-м и похоронен в Ленинграде. Вот эти детали можно установить, обратившись к сотрудникам Петербургского университета или Музея истории религии и атеизма, им же и основанного.

Николай Германович вскоре после войны умер в Москве, здесь же был похоронен, я видела его могилу и памятник на кладбище.

Говорят, что в этой семье был еще один брат. Увлечшись марксизмом, он взял псевдоним Федосеев, жил где-то в Поволжье и будто бы был одним из революционных учителей Владимира Ульянова (впоследствии Ленина). Был арестован и сослан в Сибирь и там покончил с собой из-за какого-то партийного недоразумения. О Федосееве-Богоразе я слышала году в 50-е годы от какого-то советского журналиста, который написал брошюру о марксистских кружках в Поволжье, приобщивших Ленина к марксизму. Этот журналист отыскал меня, показывал мне фотографию Федосеева и уверял что между мной и этим чрезвычайно заросшим волосами человеком находит семейное сходство. Я тогда этим несколько не заинтересовалась, так как к тому времени уже весьма негативно относилась к ленинизму, да, пожалуй, и к марксизму и даже испытывала что-то

вроде стыда за причастность моей родни к идеологическим корням ленинизма. Потом, когда я сама была в ссылке в Иркутской области, я прочитала в иркутской газете статью о Федосееве-Богоразе, вероятно, это было в юбилейный, 1971-й год.

Что же касается Владимира Германовича, я прочитала о нем в книге известного лингвиста Н.С. Трубецкого, которого называют родоначальником современной структурной лингвистики. Трубецкой использует материалы Тана-Богораза по ительменскому языку, основывая его описание не на лингвистической традиции (возможно, и неизвестной В.Г. Богоразу), а на изучении языковой реальности. Думаю, что собрать полную библиографию его произведений вряд ли возможно, так как, насколько мне известно, многие из его лингвистических трудов не опубликованы и даже не собраны.

Уважаемая Катарина, Вы спрашиваете, ощущаю ли я себя «наследницей» Тана-Богораза по борьбе за права человека. Нисколько! Для этого я слишком мало знаю о его общественной и политической роли в русской истории, да и не стремлюсь принять эту долю «наследства» моего рода. Мне хотелось бы считать себя «наследницей» Владимира Германовича в лингвистике, но это мне, к сожалению, не удалось. Надеюсь, удастся моим детям или внукам.

Да, известно ли Вам, что В.Г. был автором нескольких популярных в среде народовольцев песен?

Конечно, я буду Вам очень благодарна, если Вы перешлете мне Вашу книгу о моем дядюшке (хорошо бы и его портрет, раз уж я, как вы считаете, похожа на В.Г.), когда она будет опубликована на немецком — с немецким у меня, правда, неважные отношения, но с английским еще худшие.

С искренним уважением к Вам,
Лариса Богораз
Москва, 1 марта 1999 г.

СУЛИМОВСКАЯ ДАЧА В СЕРЕБРЯНОМ БОРУ

В 30-е годы у Сулимовых была казенная дача в Серебряном Бору: огромный (по моим детским воспоминаниям) двухэтажный дом

на большушем, заросшем лесом участке. Только перед домом была расчищена небольшая площадка для игры в городки. В обоих этажах по несколько комнат, двери которых выходили в длинный коридор. В конце коридора на каждом этаже уборная и ванная. На первом этаже огромная столовая и такая же большая застекленная терраса. В углу и на террасе, и в столовой небольшие столики, на которых всегда стояли жбаны холодного кваса (видимо, это было модно тогда среди партийной номенклатуры: народная игра — городки — и квас, народный напиток). На всей этой даче жили несколько человек: сын Сулимовых Вовка (лет на 9 старше меня), мать сулимовского шофера с его дочерью, Вовкиной ровесницей, няня со мной и кухарка. Сами Сулимовы обычно отдыхали месяц где-нибудь в Сочи, а на дачу приезжали только на выходные, поиграть в городки. Данилу Егоровича Сулимова я никак не помню, тетя Елена — крупная, ширококостная, несколько мужеподобная женщина.

Кухарка ничего не готовила — в этом не было нужды: готовые завтрак, обед и ужин привозили из находившегося на другом берегу Серебрянки правительственного дома отдыха. Так что кухарка только разогревала еду и подавала ее на стол. В обычные дни на завтрак была простокваша, заквашенная каждому в отдельном стаканчике, яйцо (мне его не давали из-за диатеза, мне полагалась ненавистная манная каша без сахара). Когда приезжали Сулимовы, стол бывал заставлен всякой едой — супницами, тарелками с севрюгой, осетриной и т. п. На третье приносили огромное блюдо с пломбиром. Много недоеденной еды оставалось: надкусанные бутерброды, просто нарезанный хлеб и другое. А ведь шел 33-й, голодный год. Няня собирала эти объедки в холщовую сумку, брала меня, и мы шли с этой сумкой на речку Серебрянку. Сиделись на берегу и ждали. К нам подходили люди, и няня вытряхивала им в торбы содержимое нашей сумки.

На Вовку родители не обращали никакого внимания. Тетя Елена больше внимания уделяла мне: то выговаривала за то, что постоянно чешусь (от диатеза у меня был нестерпимый зуд), грозилась связывать мне руки, то ругала за то, что медленно ем, велела няне не выпускать меня из-за стола, пока не съем всю полагающуюся мне еду. Так я и сидела на веранде за столом от завтрака до обеда, от обеда до ужина. Но это только в дни, когда приезжали Сулимовы. В другие дни няня не выполняла строгих наказов тети Елены,

считая, что надо мной она, няня, главная начальница. Не помню, чтобы когда-нибудь Сулимовы о чем-нибудь разговаривали с няней или с кухаркой. Даже меня, ребенка, поражало, что у них столько еды. Всю нипочем и не съесть, в то время, как нищие в Харькове и даже здесь, на Серебрянке, выпрашивают кусочек хлеба.

Когда тетя Елена в 57-58-м г. вернулась из Сибири, я пыталась видиться с ней, помогать ей, чем могла — хотя бы дотаскивать продукты, (но за помощь она неизменно расплачивалась со мной, бедной учительницей, богатым старобольшевистским пайком). Скоро я убедилась, что наше с ней общение невозможно, вредно и для нее, и для меня, каждая наша встреча заканчивалась яростным спором, ссорой. «Тебе все в нашей стране не по душе, даже погода!» — кричала она в ответ на мою нарочито нейтральную фразу, что на улице мерзко, снова дождь и слякоть. А как-то она спросила у меня, что это я высматриваю на витринах книжных магазинов. Я сказала, что ищу последний роман Ремарка. — «О чем роман, ты читала?» Я назвала «Время жить и время умирать» — этот роман был напечатан в № № 8-10 «Иностранной литературы» в 1956г., вскоре он вышел и отдельной книжкой. Это было время всеобщего увлечения Ремарком, и купить книжку в столичном магазине было практически невозможно, вот я и надеялась, авось, встречу ее в провинциальном магазинчике, куда еще не докатилась столичная мода. — «Расскажи!» — попросила тетя, я и стала пересказывать, но когда дело дошло до финала, где двое партизан, отпущенных конвоирами, стреляют в своих спасителей — немцев и убивают их, тетя Елена категорически сказала: «Этого не может быть!» — «Тетя Лена, я не спорю, может быть, в реальной жизни такого и не бывало, но в романе Ремарка именно так написано». — «Не может быть, чтобы так было написано; а если и написано, такое не могло быть напечатано ни в каком журнале!» Уверить ее не представлялось никакой возможности, даже когда я пообещала принести ей журнал, она не хотела ничего слушать и продолжала твердить: «Этого не может быть!» Она нервничала, и мне пришлось прекратить разговор, чтобы с ней не случился удар, а затем пришлось вообще сократить наши встречи.

Долгое время мы не виделись. В начале нашего знакомства после тетиного возвращения из лагеря она надеялась, что найдет взаимопонимание с моим старшим сыном Саней, тогда пионером, в будущем — она надеялась — пламенным комсомольцем. Этого не про-

изошло. Тогда она перенесла свои надежды на следующее поколение, на моего внука, Саниного сына Мишу.

И этим ее надеждам не суждено было сбыться!

Тетя Елена была холодным, сухим человеком, и никакой родственной близости, никакого душевного тепла мы друг к другу не испытывали, даже независимо от наших «идейных разногласий». Однажды наша случайная встреча вызвала у меня искреннее сочувствие к ней. Году в 67-м я случайно встретила ее в магазине на Ленинском проспекте. Хотела было незаметно пройти мимо, да не смогла: она была полуслепая, мне стало стыдно от нее прятаться, и я подошла к ней:

– Тетя Елена, здравствуйте!

– А, Лара! Ну, что Юлик? На каком он лагпункте? В Мордовии? Это ничего. Кажется, там нет лесных командировок. А какая работа?

– Рукавицы шьют.

– О! Это хорошо! (сама-то она почти весь срок оттянула в Сибири на лесоповале, и лишь в конце срока – на слюдяном заводе, в слабосилке.)

– Да, ничего, вот только с нормой они там, мужики, не справляются.

– Это ничего, был бы выход на работу, нарядчик запишет норму. Пайку получит.

– За невыполнение – свидания лишают...

– Опять тебе все не нравится. (Дальше я привожу слова тети Елены буквально) А у нас лагеря – лучшие в мире! У нас две простыни заключенному давали. «Бред», – комментировал мой папа, когда я ему пересказала наш разговор.

– А за выполнение нормы даже премиальную булочку давали, – сказала тетя Елена мечтательно. Ей, я думаю, ни разу не досталась эта вожденная булочка, но помнила она о ней, наверное, до самой смерти. Тетя Елена как жена врага народа провела в лагерях 19 с половиной лет. В лагерь ее везли из суздальской тюрьмы (где содержались «ЧС»-ы – так называлась специальная категория заключенных, «членов семей врагов народа») в «седьмом вагоне», описанном в повести Е.Гинзбург «Крутой маршрут». В сибирском лагере тетя Елена работала на лесоповале, потом как доходягу ее перевели чернорабочей на слюдяные разработки. И какая разница – была ли она умной или не очень, высокопоставленной дамой или простой работ-

ницей. После хрущевской реабилитации она вернулась в Москву без пальцев на руке — отморозила на лесоповале, — она рассказывала с некоторым презрением, что в паре с ней работал заключенный москвич, и он плакал, отморозив руки — он был скрипач. После реабилитации ей дали квартиру в Москве, конечно, она получила инвалидность и почетное звание «старой большевички».

Тете Елена умерла в конце 70-х, в доме для престарелых большевиков. Туда она перебралась по собственной воле, не желая ни в чем зависеть от своих родственников, всех поголовно «антисоветчиков», от восьмидесятилетнего брата («Пойди, пойди, донеси на меня, что я антисоветчик», — говорил ей мой отец) до восьмилетнего правнучатого племянника Миши.

Сына Сулимовых, моего двоюродного брата Вовку, фронтовика, арестовали году в 44-м по «делу детей врагов народа», об этом деле рассказано в 1-м выпуске исторического альманаха «Память» (1978 г.). Вовка погиб в лагере. Но тетя Елена до конца своих дней знать не хотела об этом и предпочитала считать, что Вовка погиб на фронте.

ДЕЛО ДЕТЕЙ ВРАГОВ НАРОДА

Впрочем, о Вовкином аресте и гибели в лагере я знаю только из рассказов Петра Якира, который, вроде бы, сидел в соседней с ним камере. Вот так я и нашла его подельщиков: киносценаристов Юлия Дунского и Валерия Фрида, физика Михаила Левина и адвоката Марка Когана, с которым дружна до сих пор. Миша Левин написал очерк о «деле детей врагов народа» в том числе и о Вовке Сулимове, этот очерк был опубликован, как я уже сказала, в 1-м выпуске самиздатского исторического альманаха «Память». А после выхода альманаха, помнится, в «Русской мысли» появилась небольшая разоблачительная заметка, в которой говорилось, что Вовка Сулимов — вовсе не таков, каким его изобразил Миша Левин, и его мать звали не Елена Николаевна, и жили они вовсе не в том переулке. Так что Бог его знает, о ком этот очерк, но, по моему, это не суть как важно: один Вовка Сулимов погиб на фронте, другой умер в советских лагерях, а который из них был моим братом — какое это имеет значение?

А там, кто знает, может быть, у Данилы Егорыча была еще одна жена и еще один сын Вовка — в те времена это было модное имя для детей крупных советских и партийных работников.

Тетя Елена держалась с нами несколько отчужденно, я сказала бы, немного свысока.

Нет, пожалуй, эти слова несправедливы по отношению к тете Елене. То, что я считала высокомерием, связанным с более высоким социальным статусом их семьи, наверное, объяснялось просто несоответствием идейных критериев старой революционерки Елены Николаевны и маминной родни, сохранявшей свои «мещанские» деревенские представления о «богатой» жизни.

Так или иначе, Данила Егорович и тетя Елена никогда не приходили к нам в дом, а, проезжая в Крым через Харьков, приглашали папу к себе в литерный вагон, специально для этого отцеплявшийся от состава. Все-таки Сулимовы принадлежали к высшим эшелонам власти, т. е. оставались до некоторой степени чужими для нас. А отчасти, может быть, просто сухостью ее характера. Тетя Елена, дарила мне иногда кое-какие подарки, привозила детские книжки с яркими иллюстрациями (Русские народные сказки, сказки Пушкина), подарила прикроватный коврик — вышивку-аппликацию: «Красная шапочка и серый волк». Этот коврик ей самой подарили работницы какой-то фабрики. Да и к себе на правительственную дачу приглашала меня «для поправки здоровья».

РАЗГОВОР С СУЛИМОВЫМ В 1936 г.

У папы с Данилой Егорычем были дружеские отношения, оба относились друг к другу с большим уважением. У них бывали откровенные, доверительные разговоры даже тогда, когда папа был уже в опале. Их последний разговор происходил где-то зимой 36-го года, т. е., за 2-3 месяца до папиного ареста и, может быть, за год до гибели Сулимова. Папа тогда был уже исключен из партии и уволен с работы — это были однозначные приметы скорого ареста. Мама и тетя Этя настояли, чтобы он в поисках помощи и справедливости съездил к родственнику — большому начальнику. Незадолго до своей смерти папа рассказывал, как происходила эта встреча. Сулимов от

нее не отказался, но разговаривал по возможности конспиративно: полушепотом, в каком-то потаенном уголке квартиры — чуть ли не в коридоре за вешалкой; и не впрямую, а в основном намеками. Сулимов будто бы говорил папе: «Иосиф, ничего не надо предпринимать, не суетись, помочь тебе я ничем не могу, да и никто не может. Ты что, не видишь, не понимаешь, что происходит?! Чем меньше движений, тем лучше для тебя»

Кто знает, что значили эти загадочные слова?

Что касается тети Елены, то, оказавшись в тюрьме, она стала прикидывать, в чем же она и Сулимов могут быть виноваты перед родной партией. И сообразила! По ее соображению, они виноваты в том, что в выходные дни играли в карты. В преферанс! А это ведь буржуазная игра! Вот и правильно их, обуржуазившихся, посадили. В камере у нее бывали галлюцинации — она была уверена, что видит абсолютно реальные картины. Вот однажды она в камере слышит голос: «Елена, сейчас Сулимова поведут на расстрел». Она влезла на решетку в камере и стала кричать во двор, где, как ей почудилось, ведут какую-то смутную фигуру. И она стала кричать: «Сулимов! Умирай честно — с именем Сталина!» Рассказывая мне этот эпизод, тетя Елена уверяла меня, что потом ей стало известно, что Сулимов погиб именно в этот день и в этот час: мол, его сокамерники ей потом говорили, что его как раз в это время вызвали на допрос, и с допроса он уже не вернулся.

ПОВЕЗЛО СТАРИКУ БОГОРАЗУ!

Тетя Елена была много старше моего папы. Пока она училась в Петербурге на курсах, папа посещал Овручское городское училище, и ждала его такая же судьба, как и всех местечковых еврейских парнишек — безработица, революционное подполье и т. п. Но папе повезло: когда ему было лет 13 и он только-только закончил двухклассное училище — в Овруч из собственного (конечно, арендуемого) имения приехал богатч-еврей и просил городских учителей порекомендовать какого-нибудь еврейского паренька в учителя его подрастающему сынишке.

Рекомендацию получил мой папа. И вот за учителем богатч прислал пролетку, в нее посадили 13-летнего учителя Иосифа Богораз,

и он отправился в самостоятельное плавание. За пролеткой бежали местечковые неудачники и кричали: «Повезло же старику Богоразу! Сын уже пристроен!» А папа потихоньку утирал слезы — он боялся чужих людей, боялся, что не оправдает надежд семьи. Имение оказалось действительно большим и богатым. Господину учителю отвели отдельную комнату и оставили в ней одного. Из окна был виден большой замерзший пруд, папа выскочил во двор и стал раскатываться по льду. Катался-катался до тех пор, пока не провалился под лед. Он промок насквозь, но боялся признаться в этом хозяевам: несолидно. А сменной одежды у него не было, и ему пришлось сушить свою одежку собственным телом. Кое-как он прозанимался с хозяйским сыном полгода и был до смерти рад, когда его на той же пролетке повезли домой. Не знаю, почему этим закончилась педагогическая карьера папы, может быть, хозяину теперь потребовался учитель более высокого уровня.

Словом, папа снова оказался без перспективы в жизни. Тогда он решил самостоятельно овладеть перспективным ремеслом. Начал штудировать книжки по фармацевтике, потом поехал в Киев к сестре Розе и ее мужу, там сдал экзамены и получил диплом и квалификацию аптекарского ученика (в будущем ему это весьма пригодилось). Начались поиски работы. Он разослал свои документы во многие местечки. Ему снова повезло — из одной местечковой аптеки он получил извещение, что там есть для него место. Только было собрался он туда ехать — как обнаружилось, что он не может передвигаться: туберкулез коленного сустава. Врач сказал, что лечить ногу возможно только на горячем солнце, в горячем песке — т. е., на южном морском курорте, о чем, конечно, не приходилось даже мечтать. И папа день за днем просиживал на подоконнике их полуподвальной квартиры, засыпая ногу накаленным в печке песком. Колено-то он подлечил, но тем временем место ученика-фармацевта уплыло. К своим 20-25 годам Иосиф Богораз снова оказался на нуле. К этому времени через еврейские местечки под Киевом начали прокатываться волна за волной жесточайшие еврейские погромы. Папа стал организатором отрядов еврейской самообороны, которые естественным образом объединились с Красной армией, и он вошел в красноармейский политотдел в роли преподавателя красноармейской школы. Тогда же преподавателем этой школы был Пельше. В 70-е годы мы с папой как-то говорили о его судьбе — считает ли он арест в 36-м году крушением своей жизни и карьеры? «Конечно, нет. Скорее, наоборот,

мне повезло: если бы меня тогда не арестовали — кем я был бы сейчас? Кем-то вроде Пельше. А так я сейчас вольный человек!»².

Все-таки, по разговорам с ним, получается, что тогда, в 36-м году, он совсем иначе оценивал происходившее с ним, чем впоследствии. Арест он предвидел и предчувствовал и чуть ли не торопил его, как некую неизбежность, которая положит конец тому двусмысленному положению, в котором он себя к этому времени чувствовал. В 34-м году, когда украинская столица из Харькова была переведена в Киев, туда же пререехало все украинское правительство — и ЦК КПб(У), и Госплан, и папа вместе с ним. Со многими членами правительства у него были дружеские отношения — с Косиором Станиславом Викентьевичем, 1883-1939, особенно со Скрыпником Николаем Алексеевичем, 1872-1933, председателем Госплана УССР, он покончил с собой. Вскоре после переезда в Киев пространство вокруг отца стало опустошаться, его коллег и приятелей арестовывали одного за другим. Он понимал, что приближается его очередь. Первым сигналом стал такой анекдотический случай: однажды при нем один из его сотрудников завел такой разговор — мол, Павел Петрович Постышев (1887-1939, в 1933 — секр. ЦК КП(б)У) привез из-за границы жене каракулеву шубу... Папа говорил, что он точно вычислил, что присутствие при этом разговоре будет ему поставлено в вину — уже нет рядом ни Постышева, ни этого сотрудника, а крамольный разговор все висел над ним, как предупредительный дорожный сигнал. Началом стало исключение из партии, потом увольнение с работы, потом невозможность устроиться на какую бы то ни было работу — ни плановиком на предприятие, ни даже просто чернорабочим — он делал такие попытки. И вот тогда-то мама и тетя Этя уговорили его поехать в Москву к Сулимову. Но и без разговора с Сулимовым ему уже все было ясно, и он только дождался — когда же, когда же наконец? Однажды он решил пойти в НКВД и поторопить события. И вот, рассказывал он, он отправился. Вышел на площадь перед зданием Украинского НКВД. Площадь пуста, прохожие обходят страшный дом стороной, чуть ли не на цыпочках крадутся мимо. А папа отправился напрямик через площадь, вошел

² Пельше Арвид Янович (1899-1983) — советский партийный и государственный деятель. С 1966 г. пред. К-та парт. контроля при ЦК КПСС. Член Политбюро ЦК КПСС. («Советский энциклопедический словарь», М. 1986; стр. 981).

с главного входа. Часовой потребовал пропуск, пропуска нет, тогда потребовал предъявить паспорт, паспорт отобрали и препроводили его в какой-то кабинет. Разговор с хозяином кабинета был приблизительно такой: «Зачем Вы к нам пришли, товарищ Богораз?» Папа говорит, мол, либо не препятствуйте мне в устройстве на работу, либо уж арестуйте. «Да устраивайтесь, товарищ Богораз, никто Вам в этом не препятствует». Паспорт вернули, и на выходе никто не остановил, а ведь он был уверен, что домой уж не вернется. На работу приняли, арестовали недели через две. Выжидали, чтобы он привык и поверил, что его не арестуют?

О самом следствии папа ничего не рассказывал, только, что у него было два следователя – мужчина и женщина. Женщина страшно ругалась матом, и это производило на отца угнетающее впечатление. А мужчина во время допросов иногда звонил по телефону и вел приблизительно такой разговор: «Ну что, Маруся, Ларочка здорова? Опять воспаление?» и т. п. И после такой артподготовки переходил к вопросам, казалось, имевшим хоть какое-то отношение к обвинению. Да, в ходе обвинения действительно, предъявлялся разговор о каракулевой шубе жены Постышева. Но все же, видимо, более существенными можно считать вопросы – как папа оценивал заключение Брестского мира? занимал ли он позицию Ленина или Троцкого? Дело в том, что папа действительно не принимал позицию Ленина. Но ведь это когда-а еще было!. Возможно, кто-нибудь из папиных приятелей знал об этом и донес. Этого оказалось достаточно, чтобы дать отцу статью «КРТД» – контрреволюционная троцкистская деятельность – не самая тяжелая из политических статей. По этой статье получил он всего 5 лет лишения свободы. Папа думал, что все это не имело никакого значения, а если что интересовало следователей, так это что будет говорить этот контрик об известных ему фигурах из украинского правительства – Косиоре, Скрипнике и других. Впрочем, и это тоже было совершенно неважно, некоторые из этих людей были арестованы задолго до папы, некоторых уже не было в живых. Так что, по существу, до конкретных вопросов дело никогда не доходило.

Вообще по папиным рассказам следствие у него не было тяжелым. «В чем мне еще повезло, что посадили рано. Тогда (в 36-м) еще не применялись физические методы воздействия, во всяком случае ко мне их не применяли, да и мои сокамерники ничего такого не

рассказывали. Во-вторых, наиболее распространенным был тогда такой срок, какой получил я — всего 5 лет. Мои 5 лет закончились в мае 41-го года, т. е., за месяц до начала войны. А тем, у кого срок закончился во время войны, автоматически продлевали срок «впредь до особого распоряжения». Таким образом, с конца мая я оставался на Воркуте уже вольняшкой, только что выехать оттуда никуда не мог из-за «минусов». Как раз во время моей отсидки по чьей-то идее решено было использовать труд заключенных для развития экономики в отдаленных районах. А для этого понадобились лагерные медицинские работники. При опросе я сказал, что имею медицинское образование, ведь действительно я был аптекарским учеником. И, таким образом, отработав довольно недолгое время в шахте, я был переведен в санчасть, сначала фельдшером в лагерную больницу, а потом в аптекоуправление, там и оставался даже после освобождения. Вскоре после этого мероприятия около Воркуты был создан Сангородок, куда перевели санчасть. Может быть, это и спасло отца от кашкетинских расстрелов: сгоняя каэртедешников на кирпичный завод, выполняли некий план — сколько полагалось туда отправить каэров-«троцкистов», и до Сангородка очередь не успела дойти.

Впрочем, папа рассказывал и другую версию событий на кирпичном. Некоторые каэртедешники, находившиеся на Воркуте, устроили там голодовку или забастовку. Папа считал, что это была провокация, и по этой причине, а также и потому, что заключенные Сангородка были на отшибе от основной массы заключенных, папе удалось уклониться от этой общей акции. Всех, кто принимал в ней участие, расстреляли на кирпичном.

В общем, послушать папу, так время ареста было для него сплошной цепью удач и везений. Лукьяновку он вообще вспоминал даже с благодарностью — оказавшись в камере, он почувствовал себя более свободным, чем до ареста. Не надо ни о чем хлопотать, ничего добиваться, не надо суетиться, как поучал его Сулимов. Что бы ты ни делал, твоя судьба решена без тебя и без твоих усилий. К тому же в камере оказалось немало интересных людей, в том числе высокообразованных. Профессора химии, физики читали по очереди лекции, папа же был их усердным слушателем. Впоследствии знания, полученные в тюремной камере, ему очень пригодились.

В 36-м году тюрьма еще сохраняла память о «допровских» временах (ДОПРы — тюрьмы, созданные советской властью в первые

послереволюционные годы. Заключенных там иногда отпускали на побывку домой — об этом можно прочитать в комических пьесах Зощенко, Ильфа и Петрова. В папины времена эти отпуска были уже отменены, но заключенные иногда разыгрывали новичков таким образом: «Ох, — говорил какой-нибудь самодеятельный камерный артист, — в этот выходной моя очередь идти на базар. До чего ж неохота! Хоть бы кто нашелся, пойти вместо меня!» «Давай я пойду!» — вызывался обычно неопытный и доверчивый новичок и в выходной день под общий хохот начинал стучать в дверь камеры: «Давай, веди на базар, поздно уже!» — кричал он надзирателю. Тот нередко тоже включался в спектакль. Финал такого розыгрыша мне неизвестен.

Никто из папиной семьи не любил так шутку и острое словцо, как он. Разве что его мачеха, которая к тому же умела подобрать к случаю какое-нибудь подходящее еврейское изречение. Папа всегда жалел, что не может нам, безъязыким, дать почувствовать его прелесть. Но один его рассказ о «тетушке» я запомнила. В 24-м году, когда умер Ленин, мой папа, тогда воодушевленный большевизмом юноша, в большом горе пришел к мачехе: «Тетушка, большая беда случилась — Ленин умер» Она отвечает: «Я не радовалась, когда он жил. Чего же ты теперь ждешь, что я буду горевать?»

Из папиной родни я немного знала эту его «тетушку», т. е. мачеху, и сводную сестру, тетю Рахиль. Они вдвоем жили на окраине Харькова в маленькой хатке-мазанке, бабушка вела хозяйство, тетя Рахиль работала на фабрике, то ли текстильной, то ли трикотажной. Муж тети Рахили, его фамилия, помнится, Вельтман, был механиком той же фабрики и году в 34-36-м его арестовали. Бог весть, под каким предлогом, но все же как «врага народа». Мачеха и сводная сестра папу очень любили, их любовь распространялась и на меня, его дочь. Правда, не помню, чтобы они приходили к нам в гости, папа с ними виделся и, знаю, помогал им материально. Боюсь, что у них с нашей семьей, «высокопоставленной» по сравнению с ними, «простыми людьми», отношения были такие же неравноправные, как у нас с Сулимовыми. После папиного ареста я виделась с бабушкой-«тетушкой» всего два раза. Оба раза мама возила меня к ним в гости. Помню их до голубизны выбеленную и снаружи, и изнутри маленькую хатку, бабушку в белом, слегка подсиненном платочке и таком же белом переднике. Тетю Рахиль вовсе не помню. Видимо, наш визит считался торжественным событием, бабушка угощала нас

праздничным обедом: украинско-еврейским борщом, жарким, которое называлось «кисло-сладкое жаркое», с черносливом. Теперь со стыдом вспоминаю, что и обед-то мне не нравился (непривычно подслащенный борщ и жаркое без свинины), и я не скрывала свое высокомерное отношение к этой еврейской пище, и к этой бедной хате, и к этой такой «простой», такой малокультурной (но и такой сердечной!) родне. Раза два тетя Рахиль сама к нам приходила, как я думаю, приходила, чтобы узнать, нет ли каких известий о папе. Но с нашей стороны не было ни радостной встречи, ни мало-мальски праздничного или хоть просто теплого приема. Хорошо, если на ее тормошенье и возгласы: «Ларочка-то как выросла! Вылитый Иосиф!» Хорошо, если на это я отвечала хотя бы холодным поцелуем.

Мы потеряли всякий след бабушки и тети Рахили во время войны. Правда, когда мы с мамой вернулись из эвакуации в Харьков, мама пыталась их разыскать, и запросы посылала, и ходила расспрашивать соседей, но все ее попытки остались безуспешными. Скорее всего, тетя Рахиль со старенькой матерью не имели возможности эвакуироваться и, наверное, погибли на Тракторном вместе с тысячами харьковских евреев.

Мой отец читал студентам курс политэкономии. Профессор Иосиф Богораз (с образованием в объеме двухклассного Овручского городского училища плюс посильное самообразование) и рабфаковка Мария Брухман поженились (впрочем, их брак так никогда и не был официально оформлен; тогда было много таких семей). Женившись на маме, папа оставил свою первую семью — жену и дочь Юлю. Когда я была маленькая, Юля иногда приходила к нам в гости, а во время войны следы ее потерялись. Папа, освободившись, пытался разыскать ее и ее мать. Запрашивал разные адресные столы, искал, конечно, по фамилии своей первой жены (Юля была зарегистрирована на фамилию матери), но так и не удалось их найти.

Обе они могли выйти замуж и сменить фамилию. Или, если не эвакуировались во время войны, то должны были погибнуть на Харьковском Тракторном, т. е., возможно, разделили судьбу папиной сестры и мачехи.³

³ Уже после смерти Ларисы Иосифовны выяснилось, что Юля вместе с матерью успели эвакуироваться из Харькова во Фрунзе. В конце 80-х сын Юли, Михаил Вайнштейн, эмигрировал в Израиль. — *Примеч. Павла Марченко.*

МАМИНА РОДНЯ – БРУХМАНЫ

В семейной иерархии своими – и для меня тоже – считались мамини сестры и их семьи.

О мамином роде я знаю по рассказам мамы и тети Эти. Род Брухманов для меня начинается с бабушки Самуила, имени бабушки и вовсе не знаю. Брухманы жили в черте оседлости, где-то в пригороде городка – тогда еврейского местечка – Томашполь, это где-то вблизи Молдавии, видимо, недалеко от немного большего городка Сороки, что на берегу Днестра.

Мамина мать, моя бабушка, была одной из многочисленных дочерей в своей семье. Будто бы одна из ее сестер сошлась с украинским деревенским парнем и ушла жить в его хату. Такой брак не мог быть признан ни украинской, ни еврейской родней. Девушка, опозорившая себя таким образом, считалась проклятой, и, по принятому обычаю, ее следовало забить камнями. Но ее, гласит семейное предание, не забили, а всего только выкрали из хаты у ее «чоловика» (мужа). Дальше излагаются две версии – мамина и тетина. По маминой – ее утопили в колодце, по тетинной – собрав деньги со всей родни, купили ей «шифскарту» (кажется, это что-то вроде нынешней визы), билет на пароход и одну, не имевшую за душой ни гроша, не знающую никакого языка, кроме западно-украинского диалекта идиш, отправили в Америку. В общем, она навсегда исчезла. Версия с Америкой кажется мне слишком литературной, а первая слишком легендарной, так что неизвестно, есть ли за этими историями хоть частица правды.

Семья всех сестер этой преступницы считалась опозоренной, и девушек из этой семьи выдать замуж за мало-мальски приличного человека, было невозможно. Бабушкины родители брали зятя «в приимы», т. е. такого, у которого ни кола, ни двора; строили молодым в каком-нибудь ближнем селе мазанку и отселяли их. Потом наступала очередь следующей дочери. Дошла очередь и до моей бабушки. Жених ей достался почти «знатный», принадлежавший к какому-то почетному еврейскому клану, но совершенно нищий, к тому же не знавший и не хотевший знать никакого ремесла.

Дед, как говорила мама, всю жизнь попрекал бабушку тем, что взял жену из опозоренного рода. К тому же бабушка родила ему только одного сына, а остальные четверо или пятеро детей были

девочки (одна из них — моя мама). Вот по совокупности всех этих бабушкиных провинностей дедушка считал себя вправе не работать, а все домашние и семейные хлопоты доставались бабушке и детям, по мере того, как они подрастали. Деревня, где их поселили, находилась на краю «майентка» (имения) польского шляхтича, через саму деревеньку проходил знаменитый Чумацкий шлях — большая дорога, по которой чумаки — крестьяне-торговцы, и они же грузчики — везли соль с Черного моря в Россию. Вот таким соседством определялись все возможности трудоустройства жителей деревни. Местные крестьяне-украинцы имели хотя бы небольшие наделы земли, а евреям иметь земельную собственность в России запрещалось. В этой деревне жили две-три еврейских семьи, которые устраивались, как могли. Брухманы арендовали у пана крохотный клочок земли, но тем, что удавалось на ней вырастить, большой семье было не прокормиться. Поэтому дети, подрастая, находили себе мало-мальски сносный заработок. Мамин единственный брат Исаак нанялся на принадлежавший пану сахарный завод, скоро стал там мастером, а потом инженером-самоучкой. В этой должности он оставался всю жизнь. Когда пан сгинул — наверное, бежал в Польшу с польским войском — завод-то остался, и дядя Исаак остался главным инженером этого завода при советской власти. А сестры мамы (их было шестеро или четверо) научились шить и вышивать и шили наряды для пани и паненок. Должно быть, пан был не из богатеев, раз его семью обшивал не варшавский портной, а деревенские девушки-самоучки. Впрочем, мои тети и мама хорошо напрактиковались и шили очень прилично. Во всяком случае, мама в последовавшие крутые времена швейным ремеслом зарабатывала в Харькове, а тетя Рахиль в ссылке в Абане считалась лучшей портнихой. Тетя Этя действительно очень хорошо шила, и сама сочиняла модели нарядов. А тетя Рахиль вышивала, да как! И в каких условиях! Когда ее в 38-м году отправляли из ростовской тюрьмы в ссылку, ей удалось передать дочери вышитое ею в тюремной камере небольшое художественное панно — нитки для этого она добыла, распустив несколько своих (и сокамерниц) трико и чулок, а иголкой ей служила рыбная кость, попавшаяся в тюремной баланде. Панно было вышито гладью — простенький, но милый традиционный украинский пейзаж: озерцо, поросшее камышом, беленькая хатка на берегу, старые мостки, на озере лодчонка и несколько лебедей, а на горизонте темный бор.

В деревне была сельская украинская или русская двухклассная школа, там сестры Брухман по собственной инициативе получили начальное образование. А единственный брат Исаак непременно должен был посещать еврейскую школу — хедер, и те несколько еврейских семей, которые жили в их деревне, пригласили для своих сыновей учителя — ребе. Итак, дети работали, их мать хлопотала по хозяйству — огород, живность, а дед только читал какие-то книжки и молился. Такая картина вырисовывается из маминых и тетиних рассказов: очень бедная, прямо-таки нищая еврейская семья в украинской деревне, угнетенная мать, деспот-отец, трудолюбивые полуодетые дети (всю зиму бегали босиком, сапоги были только у дяди Исаака, а когда зимой надо было выскочить девчонкам по нужде, они влезали в сапоги брата). Вот такая картина сложилась в моем сознании с самого моего детства и продержалась долго-долго, чуть ли не до самой моей старости.

Но я думаю, что реальность несколько отличалась от этой хрестоматийной истории из жизни дореволюционной России.

Время от времени на картинке мелькают проезжающие мимо чумаки, и, оказывается, многие из них чуть ли не друзья дедушки Самуила — то они ночуют в его хате, то их просят отвезти в дальнюю деревню старого кота. Я хочу сказать, что теперь я предполагаю, что Самуил Брухман был корчмарем и держал на Чумацком шляхе корчму — питейное заведение. Мое предположение ничем не может быть подтверждено, кроме вот этого соседства с большой торговой дорогой и факта знакомства с проезжавшими торгашами. Но оно (предположение) ничему в рассказах сестер и не противоречит — ни единственным сапогам на всех детей, ни вынужденным ранним заработкам брата и сестер. Хоть корчмарь, хоть просто зазнавшийся «приймак» — все равно, очевидно, достатка у Брухманов не было.

Вслед за этими довольно скудными сведениями о маминной родословной идут красивые, яркие истории, рассказанные мамой. Дедушка, правоверный, строго соблюдавший традиции еврей, оказывается, знал русскую грамоту и был заядлым книголюбом. Он выписывал модный тогда журнал «Нива», в котором публиковалась современная классика, а также душещипательное чтиво — аристократические любовные романы, их-то особенно любил читать дедушка Самуил. Субботние праздники проходили в семье обычно так: дедушка, накинув талес, удалялся в отдельную каморку. Вся семья — бабушка и

дети — в это время ходили на цыпочках, чтобы не мешать бабушке молиться. И вдруг из каморки появлялся дедушка в талесе — еврейская ритуальная накидка — подзывал жену и рассказывал ей очередной недавно прочитанный роман. Не знаю, так ли это было, но мне нравилась эта картинка, поэтому я ее и запомнила. Журнал «Нива» играл не только смягчающую роль в установленной Самуилом строгой аскетической обстановке в семье. Оказывается, «Нива» выходила с приложениями — учебниками за гимназический курс. Журнал читал дед, а учебники доставались дочерям, и они усердно их штудировали. Подготовившись самостоятельно, они все четверо (остальные девочки умерли в младенчестве) отправились в Сороки, чтобы там сдавать экзамены за гимназический курс. Вначале с ними там не хотели даже разговаривать — отец не дал им никаких документов, даже свидетельств о рождении. Но потом, увидев, что это девушки незаурядные (так дело выглядело по рассказам мамы и ее сестер), им позволили сдавать экзамены сначала за 4 класса женской гимназии, а моей маме, по словам ее сестер, даже за несколько классов мужской гимназии, с условием, что необходимые документы они вскоре предъявят. Швейное дело было обязательным предметом в этой женской гимназии, и мастерство сестер Брухман особенно расположило к ним гимназическую администрацию. Еще через два года девушки сдали экзамены за полный курс женской гимназии, а моя мама — мужской. Из всех рассказов следовало, что моя мама была самой способной из сестер (не она сама это говорила, а ее старшие сестры, которые очень гордились младшей).

Мне лестно было это слышать, и я никогда не подвергала сомнению их свидетельства, хотя никогда не видела и документов, удостоверяющих их. Но мама действительно была очень способным человеком: не знаю, как насчет «мужской гимназии», но она успешно играла в шахматы и преферанс — игры, традиционно считавшиеся мужскими; грамотно писала по-русски; все-таки руководила — без всякой предварительной подготовки — учебной частью рабфака (рабочего факультета — что-то вроде нынешнего вечернего, заочного) высшего учебного заведения — Харьковского института народного образования.

Маму, младшую в семье, все баловали; даже суровый отец. Она хорошо рисовала. Как-то в их домишко вошел сосед, увидел на стене мамин рисунок и воскликнул: «Господи, та це ж моя хата!» Преподаватели Киевской Академии художеств, привозившие в это село

студентов на пленэр будто бы предлагали маме поступать в киевское художественное училище при Академии, обещали похлопотать, чтобы ее приняли учиться «на казенный кошт». Да дедушка не пустил: «Как! Дитя, девочку одну в чужой большой город!» Вообще-то рисовали все сестры, у каждой был свой излюбленный жанр: Рахиль и Маруся (мама) — пейзажистки, Молка — портретистка, Этя не рисовала, зато сама сочиняла модели платьев, которые она шила для па-ненок. Рисовала в детстве и юности и я, и мои двоюродные сестры: Ленка увлекалась орнаментами, Ада — натюрмортами.

Я помню дедушку Самуила: он несколько раз приезжал к нам в Харьков. Мне он запомнился как очень большой, очень черный старик, с большущей, густой черной-черной бородой, с пронзительными, насквозь прожигающими черными глазами. Я его боялась — он никогда не приласкал меня, ни разу не назвал не только ласкательно, но и вообще по имени, никогда не привез никакого гостинца. К тому же он спал сидя в кресле — у него была астма.

Суровым и страшным казался мне дед Самуил. Но папа потом рассказывал, что дедушка был маленький, сухонький седоволосый старичок, такой легонький, что папа легко поднимал его на руках на верхнюю полку вагона, когда папе доводилось провожать дедушку в обратный путь к дяде Исааку. Дедушка постоянно жил у него, своего единственного сына. Из четырех, доживших до взрослых лет дочерей, он более или менее признавал одну — мою маму (кстати, больше других дочерей похожую на него), а с внуками со всеми был суров, как и со мной. Внуков ему не дал Бог, что он, видимо, воспринимал как божью кару, неизвестно, за какой грех. Нет, все же был один внук, сын дяди Исаака Зезик (Израиль?), но он погиб в 36-м году, когда ему было шестнадцать лет. До нас дошел слух, что он сгорел в школе на празднике елки — в том году разрешили отмечать Новый год елкой, до этого это был запрещенный обычай, как «религиозный пережиток».

Я не знаю, когда умер дедушка Самуил, но до 41-го года он не дожил, это точно. Не помню, чтобы мама или папа ездили на его похороны.

Все мамыны сестры, как и сама мама, были партийными (дядя Исаак никогда не был членом партии). Как мне вспоминается по мамыным рассказам, в 18-м году после смерти своей матери, умершей от тифа, они, спасаясь от белополяков, ушли из своей деревни

вместе с отступавшей Красной армией, и все четверо были приняты на службу в политотделы. Как же: девушки шибко грамотные и к тому же довольно красивые. Образование у них по тем временам, действительно, было высокое: они имели аттестаты об окончании гимназического курса.

Итак, все четыре сестры Брухман – Рахиль, Этя, Мария и Молка – служат в политотделах Красной армии, вот они все на групповой фотографии (которая, к сожалению, не сохранилась, но я ее видела когда-то у тети Эти. Очень типичная фотография, человек шесть-семь сидят в первом ряду, столько же стоят за их спинами; и на девушках, и на парнях одинаковые темные косоворотки, несколько человек в кожанках, через плечо – ремень от кобуры.

Папа говорил, что из всех сестер самой красивой была тетя Рахиль. Сестры не были похожи друг на друга. Родственное сходство проявлялось в одном – все они были изящные, миниатюрные, у всех был маленький размер стопы – даже дядя Исаак носил сапоги 37-38-го размера. А туфли теток мне были впору уже перед войной, т. е., когда мне было лет 10-11. От всех сестер резко отличалась тетя Этя – маленькая, пухленькая, круглолицая, улыбчивая, светло-русая. Остальные же были цыганистые, чернявые, несколько мрачноватые. Так выглядела и моя мама – мне она всегда казалась самой красивой из сестер. По-моему, красавицей ее считали и сестры. Тети Этина дочь Лена была похожа на мою маму, и я Ленке завидовала.

Что же делали «образованные» девушки в политотделе? Я об этом знаю крайне мало: так, какие-то обрывки их рассказов и еще собственные мои догадки. Мама, знаю, служила в военной цензуре, и, когда их военная часть занимала очередной город (первым делом, конечно, почту и телеграф), отдел цензуры потрошил на почте письма и посылки; все, что считалось вредным, уничтожалось, а содержимое ценных посылок, как я понимаю, реквизировалось. Когда эта первоочередная работа заканчивалась, наступала очередь брошенных буржуями, аристократами и прочим классово вредным элементом, особняков и квартир. Там тоже реквизировали все сколько-нибудь ценное, а остальное отдавалось победителям на поток и разграбление.

Помню, уже в тридцатые годы между мамой и ее сестрой Этей шел нескончаемый дележ военной добычи: кому достанется зингеровская швейная машинка, кому какая часть огромного, в целую стену, разборного шкафа орехового дерева, кому мягкое кресло и

письменный стол, а кому — гигантский портрет Ленина в резной дубовой раме.

Конечно, вряд ли именно этот портрет хранился в каком-нибудь барском особняке. Скорее всего, в раму прежде был вставлен царский портрет, а, может, и вовсе портрет чужого дедушки, предка почтенного семейства. Потом исходный обитатель рамы был из нее нещадно выдран, и в ней поселился новый кумир. Помню, как моя двоюродная сестра Ленка, вцепившись в раму, вопила: «Это наша картина, наша, наша!» Видно, она уже настолько сроднилась с дедушкой Лениным, что воспринимала его как настоящего родоначальника фамилии; а тетя Этя, не утратившая практичности, несмотря на свою высокую идейность, предпочитала иметь полезную швейную машинку и считала, что ореховый шкаф безусловно большая ценность, чем ничейный дедушка. Словом, она как-то утихомирила Ленку, и разборки на время прекратились. Портрет остался у нас, и под его сенью прошло мое детство. На этой картине мне особенно нравилась чернильница зеленоватого стекла на письменном столе перед Лениным

Когда армия уходила, в освобожденном от избыточного имущества местечке устанавливалась советская власть, и при ней оставался кто-нибудь из политотдела, наделенный специальными функциями. Маму оставили, кажется, в Виннице в должности городского цензора. Ее работа в этом качестве состояла не только в контроле корреспонденции, но она должна была разрешать или запрещать те или иные зрелища: фильмы, спектакли и т. п. Мало ли что фильм идет в московских кинематографах, а у винничан собственная гордость: восемнадцатилетняя девчонка Мария Брухман сочтет нужным — и запретит эту ленту в Виннице. Однажды она не разрешила гастрולי заезжему гипнотизеру: «Загипнотизируете меня — разрешу», — у того (может быть, от испуга перед юной дамой в кожанке) номер не удался; так и не получил он разрешения на выступление.

В очередном освобожденном городке несколько девчонок из политотдела (среди них моя мама; другие сестры не участвовали в деле, так что они не имели и соответствующих неприятностей) пошли в местный театрик, где самое сильное впечатление на них произвел вишневый бархатный занавес. Они его сняли и сшили себе из занавеса нарядные платья; при очередной партийной чистке их за это — не за грабеж, а за бархатные платья — «мещанство и буржуазное раз-

ложение!» — вычистили из партии. Так что гражданскую войну мама закончила беспартийной и вновь вступила в партию только в 42-м году, уже во время Отечественной войны.

Мамина часть «свой закончила поход» в Одессе. Здесь мама поступила учиться в медицинский институт, бросила его после первого курса, уехала в столицу Украины Харьков и пошла учиться на рабфак, а после рабфака — в ИНО (институт народной освиты — народного просвещения, впоследствии преобразованный в университет), на исторический факультет. Мой отец читал студентам курс политэкономии. Профессор Иосиф Богораз (с образованием в объеме двухклассного Овручского городского училища плюс посильное самообразование) и рабфаковка Мария Брухман поженились (впрочем, их брак так никогда и не был официально оформлен; тогда было много таких семей).

Но вернемся к групповой фотографии политотдельцев. Рядом с мамой какой-то черноволосый красавец. «А это кто?» — спрашиваю я тетю Этю. «Мамин первый муж,» — неохотно бормочет она. Я никогда ничего не слышала ни о каком первом муже. Надо заметить, что к теме повторных браков в маминой семье относились как-то особенно щепетильно, эта тема считалась почти неприличной, из чего и произошло несколько довольно смешных недоразумений. Так, однажды тетя знакомила меня с мужем своей дочери, не предупредив, что это сестрин второй муж. Я не отличалась быстротой соображения и сказала: «А ведь мы уже однажды познакомились. Только тогда Вас, кажется, звали не Додик, а Лелик.»

Вот и о мамином первом браке я так ничего никогда и не узнала.

Сама тетя Этя тоже была замужем дважды. Первый ее муж был «обыкновенный аптекарь» из Одессы. В 25-м году у них родилась дочь, которую назвали в соответствии с тогдашними святыми — Вилен (не Вилена, а именно Вилен — Владимир Ильич Ленин). Конечно, впоследствии моя кузина благополучно переименовалась в Елену. Потом этот «аптекарь», от которого в моей памяти не сохранилось даже фамилии, не только имени, куда-то исчез, и я услышала о нем лишь после войны. Он стал страшно богат, вел подпольную торговлю импортными лекарствами, купил в Одессе дом. Ленка к нему ездила, рассказывала, что дом огромный, что ее отец на собственные деньги поставил на берегу Черного моря обелиск — памятник своему погибшему в войну сыну-моряку, а себе загодя заказал

дубовый гроб, и этот гроб так и стоял в коридоре упомянутого особняка. В какой-то злосчастный момент аптекаря все-таки посадили, и он добился возможности поставить в камере собственную кровать с никелированными шариками и с пуховой периной. Впрочем, все эти истории так напоминают «Золотого теленка», что я не поручусь, что тут правда, а что фантазия. Кроме того, я не уверена, что эти байки относятся к Ленкиному отцу, а не к его брату, Ленкиному дяде, тоже одесскому аптекарю.

Так или иначе, вскоре после Ленкиного рождения тетя Этя снова вышла замуж, на этот раз, вполне романтично, в духе времени, за революционного деятеля, чекиста Михаила Ильича Белгородского.

Дядя Миша умер, кажется, году в 76-м — 77-м. Поэтому, да простит мне Бог, если то, что я о нем расскажу, окажется не к его чести. Пока я не выросла, я была его любимой племянницей, так что я чувствую себя просто неблагодарной к его памяти. Он был одесский еврей из босяков, видимо, типа бабелевских героев, своевременно почувывший, где для него открывается Большой путь, и приобшившийся к будням революции, т. е., к чекистской работе. Что-то не верится, чтобы он сам выводил в расход контриков — на этом деле ведь далеко не продвнешься. Конечно, вовсе не идейные соображения определили дяди Мишин выбор, думаю, идейным он не был ни в начале карьеры, ни в ее расцвете, в 30-е годы. Он вдруг вспомнил свою революционную юность и не менее революционные зрелые годы только в 68-м году, в период наивысшей активности диссидентского движения, в котором активно участвовала дяди Мишина и тети Этина дочь, моя младшая кузина Ирочка. В начале 68-го года Ирочку арестовали, и тогда я позвонила дяде Мише и предложила свою помощь в организации передач для нее. Тут вдруг он стал на меня кричать: «Сопляки! Башибузуки! Мальчишки бесштаные! Советская страна им не нравится! А что мы за нее кровь проливали — вам на это чихать! Ларка, запомни: когда тебя посадят, в КГБ ничего не подписывай. Даже как тебя зовут — не подписывай. Даю тебе совет — и больше я ничего не могу и не буду для тебя делать». Моей помощи он не принял, бросил трубку. Ирку он обожал: единственная дочь. Он, наверное, меня винил в ее злключениях, считал, что это я сбила девочку с толку; сказать по справедливости, не зря винил (следовало мне подумать о ее судьбе, прежде чем допустить ее участие в диссидентской колготне).

Дядя Миша был видный, «представительный» красивый мужчина. Всякий раз, как я слышу строчку Галича («и представительный мужчина тот протокол положит в стол...»), я припоминаю именно дядю Мишу, высокого, статного, широкоплечего, всегда отлично выбритого, очень хорошо одетого (он ходил не в форменной одежде, им в НКВД выдавали очень хорошего качества сукно, и костюмы ему шил «по фигуре» какой-то знаменитый портной). От дяди Миши всегда пахло хорошим одеколоном. Тетя Этя тоже была хорошо, добротнo одета, дядя Миша получал какие-то добавочные отрезы сукна, и тот же портной шил тете модные тогда английские костюмы и пальто. Когда тетя Этя присылала отрез в подарок маме, я помню, из него выдергивали ниточку, поджигали ее, нюхали, знакомые восхищались: «Настоящая шерсть!»

В начале 30-х годов дядя Миша работал в отделе кадров (не начальником ли?) Николаевского судостроительного завода им. Марти. Из всех судов он знал, может быть, только черноморскую шаланду, но зато туго понимал кадровую политику тех лет. На этой работе ему, видимо, удалось хорошо «зарекомендовать себя» (как тогда говорили), т. е. завязать нужные связи. И году в 32-м – 33-м он уже был переведен в Харьков, а вскоре в Москву, по тому же ведомству. В 30-е годы он был старшим следователем НКВД и оставался на этой службе до 38-го года. Почти каждое лето они с тетей брали меня и другую племянницу на подмосковную дачу. Надо признать, что с их стороны такой поступок был проявлением немалого мужества: моего папу арестовали в мае 36-го года, и, заботясь обо мне, они как бы демонстрировали свою связь с семьей «врага народа» и нелояльность к политике партии. Так вот, летом, 38-го года, я помню, к дяде Мише на дачу часто приезжали его друзья-сослуживцы Яша Гарбуз и Маркеша. Я, конечно, не понимала, о чем они говорили, но чувствовала, что все трое страшно встревожены. Они решали, как им теперь спастись. Дядя Миша срочно уволился из НКВД и больше года не жил дома. Ездил по всей стране, жил в Сибири у знакомых и родственников, несколько месяцев прожил у нас в Харькове, а в Москву вернулся только к зиме 40-го года. Так и ускользнул из сетей своих недавних сослуживцев. Но, видимо, все-таки сохранил при этом полезные связи, так как вскоре устроился на работу на авиационный завод (опять-таки в отдел кадров!) Вообще дядя Миша удивительно умел завязывать отношения с людьми.

В конце войны я узнала, что дядя Миша с дипломом киноинженера (откуда?!- он ведь никогда и нигде не учился!) работает на заводе, выпускающем киноплёнку и в чине генерала — или полковника? (есть фотография, на которой дядя Миша в генеральских брюках с лампасами) отправлен в Германию получать репарации. Ирка, правда, уверяет, что ни генералом, ни полковником он никогда не был, а эта фотография — просто декорация, как теперь говорят, камуфляж. Мол, отец любил прихвастнуть. Она уверена, что в должности следователя НКВД он помогал арестованным, «спасал людей». Может, и так, конечно, дочери он так излагал свою работу. Но я в этом очень сомневаюсь. Из Германии он привез тьму шмоток — отрезы шелка (тогда я впервые увидела искусственный шелк), столовое бельё, почему-то столовое серебро (честно говоря, два-три шелковых отреза перепало и мне с мамой, и ещё одной племяннице; я сама сшила себе нарядное платье к выпускному вечеру, носила его много лет, и не испытывала ни стыда, ни угрызений совести).

Любила ли я его? Наверное, любила в раннем детстве. А стала постарше — не любила, не могла ему простить случайно подслушанный его ночной разговор с тетей Этей. Он ее учил, как ей оправдываться на партсобрании в том, что ее сестра (моя мама) оказалась женой врага народа (моего папы). «Ты говори, что в семье не без уродда, — поучал он тетю, — и что никакой связи ты с ней не поддерживаешь». А продуктовые посылки в Харьков из московского распределителя НКВД? а мои летние каникулы у них на даче? Я не могла понять, почему это надо скрывать. Наверное, тетя Этя так и сказала на собрании, но ее ложь вскоре выплыла наружу, но это отдельная история. Из этого ночного разговора я поняла только то, что мою маму дядя Миша назвал уродом. И это запомнилось надолго.

А ещё я узнала, что когда папу арестовали, тетя и мама нажали на дядю Мишу, чтобы он разузнал о папиной судьбе через своих киевских коллег. Дядя Миша сказал, будто бы он узнавал и будто бы вина папы подтвердилась, и что «Богораз сам» признал вину на следствии. Много лет спустя выяснилось, что дядя Миша наврал все с начала до конца: и о папином признании вины — не было ни вины, ни признания. Наверное, он вообще ни у кого ничего не узнавал. И, конечно, ни с кем не говорил о своем родиче — «троцкисте». Да это и не удивительно.

У мамы с дядей Мишей стали весьма прохладные отношения, оба едва переносили друг друга. Хотя дядя Миша, если хотел, если ему это было нужно, умел ладить с людьми, и притом с самыми разными. Например, к нему с большим почтением относилась моя няня и ее односельчане; не потому, что боялись его, что было бы вполне естественно, его на самом деле уважали. Деревенские мужики приходили советоваться по разным хозяйственным делам, а то и продать что-нибудь. Дядя Миша никогда не обижал их в оплате за товар или за работу. Деревенские умельцы шили ему на заказ (конечно, из материала, который выдавали сотрудникам НКВД) сапоги и бурки (это такие теплые сапоги из белого фетра, отделанные кожей и на кожаной подошве), пасечник продавал ему мед, а бондарь изготовлял для меда бочонок. Из няниной деревни Белгородские уезжали, нагруженные бочонками меда, черной смородины, перетертой с сахаром, пластинами домашней засолки и прочими деревенскими деликатесами.

Вообще, я думаю, дядя Миша был очень яркий, по-своему одаренный человек. Ну, а что беспринципный – так теперь я вовсе не уверена, что принципиальность можно отнести к лучшим качествам человека. Правда, вот еще он был не то, что аморальная личность – просто такая категория «мораль», похоже, просто не входила в его сознание. Так как быть с этим? Я не знаю...

Тетя Этя с дядей Мишей часто очень серьезно ссорились, из-за тетиной преданности своим сестрам, которым она всегда, несмотря ни на что, старалась помочь.

Ведь была еще одна сестра, тетя Рахиль. Муж тети Рахили, Ян Лапиньш, из латышских стрелков, тоже служил в НКВД. Они жили в Ростове-на-Дону. В 38-м году дядю Яна арестовали, а вскоре арестовали и тетю Рахиль. Их тринадцатилетняя дочь Ама (Крармия – Красная Армия), Ленкина ровесница, осталась одна и попала бы в детский дом. Но родня решила, что Амку заберет моя мама (ей терять нечего: у самой муж сидит), а тетя Этя и дядя Исаак будут нам помогать деньгами и продуктами. Амка жила с нами с 38-го года и до самой войны, я с ней очень дружила. Летом тетя Этя обычно забирала нас обоих к себе на дачу, а одно лето мы обе провели у дяди Исаака под Каменец-Подольском.

Я с раннего детства очень любила тетю Этю, она была такая добрая, мягонькая, русоволосая, со светлыми, золотистыми глазами, круглолицая – совсем не такая суровая и мрачная, как моя мама.

Когда они жили еще в Харькове, я всегда бежала к ней, чтобы она меня пожалела в моих детских горестях: избавила бы от обязательных горчичников, уговорила бы маму не стричь меня летом наголо «под нулевку», подарила бы такую маленькую, скрученную из «серебряной» проволоки вилочку, которая придавалась к подарочной коробке мармеладных конфет. Заодно тетя угощала меня и мармеладом, а мама мне сладкое запрещала из-за диатеза.

Тетя Этя читала мне книжки: сказки Пушкина, Чуковского, русские народные сказки. Она сопровождала чтение собственными комментариями. Помню, Чуковский в ее интерпретации оказывался контрреволюционером, вредным писателем: сказка «Крокодил» — злая пародия на революцию: «Радуйтесь, звери, вашему народу я даю свободу!» (а что из этого, по Чуковскому, вышло!); ту же этот вредную идею детский писатель протаскивает и в «Путанице»: «Кому велено чирикать — не мурлыкайте, кому велено мурлыкать — не чирикайте». «Федорино горе» — издевательство над народом, а «Тараканище» — тетя даже боялась говорить, над кем автор издевается: «Поделом кровопийце усатому — чтоб ему подавиться, проклятому!» Тетя была вовсе не глупа, чтобы верить во всю эту белиберду; скорее всего, она старалась вбить ее в мою голову — ради моей же будущей безопасности.

Как тетя комментировала сказки Пушкина и народные сказки, я уж не помню. Но я очень любила, чтобы она мне читала, хотя лет с четырех сама уже хорошо читала. (Первое слово, мною самостоятельно прочитанное, было название газеты «Правда». Как сейчас вижу картину: папа сидит на диване с газетой в руках. Я на полу, у его ног и, подняв голову, вижу прямо над собой большими буквами название газеты. Даже шрифт помню, впрочем, шрифт, наверное, не менялся во все время существования газеты, так что я видела его из года в год, все те же буквы (слегка закругленное «А» с двойной перекладной) Чуковского же и царей Салтана и Додона я вскоре знала наизусть, запомнив именно с тетиного чтения.

Мама мне, конечно, тоже читала, но много позже, уже после папиного ареста, когда она почти год была без работы. Вот тогда у нее «нашлось время и место» заняться мною. Мама играла со мною в куклы — у меня было много кукол, целлулоидные голышики, белокожие и негрятя, одна большая кукла с головкой из папье-маше, и крохотные глиняные, купленные на харьковском базаре; мама шила им всем наряды из лоскутков. В углу моей комнаты у кукол

была своя неплохо меблированная комната, одеяла в пододеяльниках с прошвами, подушки с кружевными накидками; на кукольном столике стояла кукольная посуда. Кажется, я и сейчас не прочь поиграть теми своими игрушками.

Мама читала мне и няне прозу Пушкина, рассказы Тургенева. Мы с няней обе заливались слезами, слушая «Муму». Это была первая книга, вызвавшая у меня горячие слезы. Мама читала мне наизусть «революционные» стихи: «Лес рубят. Молодой, вечнозеленый лес...» (не знаю автора) и Брюсова «Каменщик, каменщик, в фартуке белом...»

Пожалуй, пора задать себе трудные вопросы. Я, конечно и раньше знала и нашу семейную мифологию, и историю своей семьи: дядя — следователи НКВД, мама и тети — идеологические работники ВКП(б), еще один дядя — большой начальник в высшей государственной структуре, папа — один из разработчиков и воплощений экономических идей коммунистической партии. Знать-то я это знала, но это знание как бы заслонялось другим знанием: расстрелы, лагеря, лагеря — Воркута, Колыма, сибирские ссылки, потеря работы. Получается, что все мои родственники старшего поколения — жертвы необоснованных репрессий, жертвы беззакония и террора. Что же я скажу теперь, собрав все семейные истории на нескольких страницах своих мемуаров? Ведь пока я все это писала, у меня буквально мурашки по спине бегали: вот что они натворили в этой несчастной стране, в которой всю жизнь живу я, и жить моим внукам и правнукам! Так, может быть, теперь я должна сказать: все эти расстрелы, тюрьмы и лагеря — справедливая расплата с губителями страны, «поделом вору и мука»? Нет, таких слов я никогда не скажу и не подумаю так. Разве я Павлик Морозов? Я знаю, что такие же трудные вопросы задают себе теперь многие мои ровесники. Я знаю, как иногда отвечают на них: мол, у наших родителей были чистые и честные намерения, мол, они были бескорыстны, себя не щадили, добывая общую справедливость и общее счастье. Но такие ответы меня тоже не устраивают. Как видно из рассказанного, не так уж бескорыстно они боролись за общее благо: а лучшие квартиры? А персональные продуктовые пайки во времена всеобщего голодомора? А роскошные государственные дачи?! И по какому праву они решали, что есть благо для няниного брата Василия? Что такое эта общая справедливость? Да, хорошо мне теперь так рассуждать. Но ведь и я не всегда так думала, составляя свои версии семейных мифов и легенд.

Детство, юность

НЯНЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ШЕВЧЕНКО

*Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила,
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...*

Няня появилась в нашей семье, когда мне был год. Она сама, мама и тетя столько раз рассказывали мне этот эпизод — что мне кажется, будто я сама его вспоминаю. Меня тогда летом вывезли на дачу, в какой-то дачный поселок под Харьковом. Я только начинала ходить, и по дачной дорожке отчасти проходила, а большую часть, севши на землю, проезжала на попе, отталкиваясь руками. По этому случаю на мне были синие сатиновые шаровары. И вот к калитке подходит незнакомая женщина, одетая по-деревенски, в белом платочке. Я привычным способом продвигаюсь к ней. Она, всплескивая руками, восклицает: «О, Боже ж мій! Панська дытына та в синіх штанях!» Уносит меня в дом, и больше я никогда этих синих шаровар не видывала, а только «біленькі», как и подобает «панській дітині».

Няня родом была из украинской деревни Никольское, километрах в 15-ти от Белгорода. Почти у всех крестьян этой деревни была фамилия Шевченко, а в соседней деревне все Кобзаревы, и само село называлось Кобзаревка, там жили «москали» — русские крестьяне. Няня, Александра Михайловна Шевченко, бежала в Харьков из Никольского от голода и от сплошной коллективизации.

В деревне она оставила своих троих детей — дочь Зину, которой тогда было лет 15-16, сына Петю лет 12-ти и совсем малого Юрика, лет 8-ми — 10-ти. Она уехала от них в город, надеясь своими го-

родскими заработками прокормить их. Зину она выдала замуж за деревенского парня Семена, который взял на себя заботу о Зине и ее братьях. Много позже я узнала страшную тайну моей няни — ее брат Василий был раскулачен и выслан с Украины, куда — Бог весть. О нем никто никогда больше ничего не слышал. Его заколоченная хата стояла на краю няниной деревни, и когда мы проходили мимо, няня старалась даже не смотреть в ту сторону. Несколько лет спустя в этой хате поселился председатель колхоза, и няня, у которой была не хата, а худая хатенка, слова не смела сказать, не смела ничего попросить себе из братнина хозяйства. Санька (моя няня) была вдовой с тремя детьми, после ссылки брата она осталась без всякой поддержки. Вот тогда она и подалась в город, где уже служила домработницей ее односельчанка Катя. Хозяева Кати порекомендовали Саньку моим родителям в няни. Когда няня пришла к нам, ей было около сорока лет. Она прожила у нас 10 лет. Со мной она разговаривала по-украински, таким образом, моим первым родным языком (на Украине его называют «мова колыски» (язык колыбели) стал украинский. А с моими родителями и с тетей няня говорила на «суржике» — на той смеси русского и украинского, по которому я и сейчас узнаю земляков. Наверное, нянин украинский тоже был не вполне чистый: на Белгородчине деревни идут вперемешку — одна — хохляцкая, как нянино Никольское, а в соседней, скажем, за речкой или за перелеском живут москали. Мои родители и между собой, и со своими родственниками никогда не говорили по-еврейски, ни на иврите (которого, по-моему, тогда вообще не существовало), ни на идиш. Даже очень распространенные на Харьковщине еврейские крылатые выражения, вроде «**цимес мит фасолес**» и т. п... у нас не употреблялись. Родители называли няню «Михайливна», а она их — маму Марусей, папу — Богоразом (даже мама папу так называла. В то полукоммунистическое время такое обращение было принято в семьях советских чиновников).

Для меня няня всегда — и те 10 лет, что она прожила в нашей семье, и потом, и до сих пор в моей памяти она была и остается няней — самым любимым человеком моего детства. Я думаю, что и хорошими, и дурными моими свойствами я обязана именно ей. Родителям моим некогда было заниматься ребенком; папа работал, как я уже говорила, в Госплане Украины и преподавал политэкономии в Институте красной профессуры и в ИНО (Институте народної осві-

ти). Мама работала в этом ИНО заведующей учебной частью рабфака (рабочего факультета) и там же сама училась. Так что все заботы и по ведению хозяйства, и по воспитанию малого ребенка — т. е., меня, полностью легли на няню. Няня приняла эту ношу с полной ответственностью и с таким умением, как будто всегда была педагогом и домоправительницей в городской семье. Финансами ведала она, снабжением — она же, заготовкой предметов обихода тоже, и даже в решении вопросов медицинских не помню, чтобы кто-нибудь был главнее няни. Я в детстве часто и серьезно болела — ангина за ангиной, бронхиты, воспаления легких. Наверное, родители приглашали врача. Но если няня говорила: «Сегодня Лари — горчичники, а завтра — горчичну ваночку для ножек» — и тут уж было не отвертеться ни мне, ни даже маме, ни тете. Няня сама намазывала тряпочки горчицей, наляпывала их на меня, а маме или тете оставалось крепко держать меня, чтоб не вывернулась. Им приходилось откладывать все собрания и прочие общественные «нагрузки», а мне оставалось терпеть. Может быть, нянина народная медицина в этих случаях не слишком расходилась с рекомендациями врачей. Доктора назначили мне какую-то диету в связи с тем, что у меня была сильная аллергия (тогда это называлось «диатез»), но няня решила по-другому, она не любила готовить, а проще всего ей казалось сварить на завтрак пару яиц или манную кашу, щедро сдобренную сахаром «щоб дытыни було смачніше» (вкуснее). Хотя яйца и сладкое были категорически запрещены врачами, именно таким был мой завтрак изо дня в день. Как ни странно, на этой диете диатез в конце концов отступил. Наверное, понял, что няню ему не переупрямить. Кажется, такая метода называется «idem per idem» — лечить то же через то же.

Няня была гениальным педагогом, как говорится, от Бога. У меня никогда и в мыслях не могло быть не послушаться ее. Когда она пришла к нам, у меня была привычка — среди ночи я требовала, чтобы мама взяла меня к себе. Утром родители вставали с мокрой постели. Няня сразу поломала заведенный порядок. Она брала меня на руки, подносила к своей кровати и говорила: «До мамы не можно. Ходим до мене. Тильки у мене бачиш, Ларо, пасюк! (крыса), — и показывала на свою подушку, на наволочке которой была большая серая заплатка. — Йди спати до себе».

Хотя с появлением няни недостатка в пригляде не было, меня все же поместили в ясли. Возможно, этого требовала мамина идео-

логия — идея коллективизма, внедряемого с младенчества. В ясли няня носила меня на руках, а зимой возила на саночках. Оставалась я в яслях со слезами, но пришлось подчиниться. Хорошо помню такую сцену: ясельные дети, такие же, как я, сидят в большой комнате на полу, на коврик. Все мы в напряженном ожидании смотрим в сторону большой двери в конце комнаты. В дверь время от времени заглядывают люди — за кем-то уже пришли! Когда же за мной-то? Наконец появляется няня. Воспитательница ведет меня к ней за руку и жалуется на меня: опять плохо, медленно ела, опять описалась. — «Дитина уписалась? Що ж такого? Я й сама вчора уписалась. З ким не буває?» За эти грехи няня никогда меня не ругала, даже когда я была уже не в яслях, а в детском саду. Няня любила подшучивать надо мной, но так, что мне ее шутки не были обидны. Как-то я попросила ее постирать моим куклам платья, няня сказала: «А гроши (деньги) у тебе йе, щоб заплатити за роботу? Нема грошей? Ну, тоди мий плаття сама». Она постоянно уверяла меня и всех вокруг, что я страшно «уперта» (упрямая): «йий кажеш — брито, вона тобі — стрижено» — к этому рассказывалась украинская присказка, как кум и кума поспорили — бритая или стриженная голова у старосты. Кум говорил — бритая, а кума — нет, стриженная. Кум рассердился, бросил куму в речку и кричит ей: «Брита!» Кума уже тонет, захлебывается, отвечать не может, только из воды высовывает руку и пальцы сводит и разводит: мол, нет, стрижена. Вот няня меня и дразнила, что я как та кума — утону, а не соглашусь. Но это еще вопрос, кто из нас был более «упертый». Няня сама рассказывала, как она однажды меня кашей кормила, щедро насыпав в тарелку сахар. Сахар на полке стоял в банке, и в такой же банке была чайная сода. «Я тобі кажу, Ларо, йиж усю кашу!» Продолжение рассказа было такое: «Дывлюсь, щось дитина дуже кривиться» — и тогда няня соскребла остатки с тарелки и сама попробовала: «Господи, я ж замість (вместо) сахара, соду насипала!» Другую подобную историю я сама помню, не с нянинных слов. Няня сварила для всей семьи «холодець» (студень), поставила тарелку перед мамой. Мама попробовала: «Михайливна, йисти не можно — дуже солоний! И собака не йистиме.» Няня уверяет, что не пересоленный. Призывают меня в качестве третейского судьи. Но ведь для меня няня наивысший авторитет, и я принимаю ее сторону и ем этот пересоленный холодец. Мама настаивает, что есть невозможно. Во дворе у нас бегала

ничейная собачонка Кирза, подкармливали ее все жильцы. «Кирза! Кирза!» Кирза подошла к миске, лизнула студень, отвернулась и отошла. «О, тепер и я бачу, що солоний», — признала няня. Так кто «упертий»?

ДЕТСКИЙ САД

Году в 33-м из ясель меня перевели в детский сад. Это было привилегированное детское учреждение, для детей работников Совнаркома. У него было прекрасное помещение — двухэтажный особняк, наверное, еще дореволюционных владельцев, с большущей террасой, с красивой усадьбой. Я ходила туда охотно, там было интересно — много игрушек, зал со сценой, пианино. У меня была очень хорошая воспитательница Лилия Ерофеевна, выпускница петербургских фребелевских курсов. Она с нами рисовала, зимой во дворе лепила из снега — Руслана, Черномора, разных зверушек. Она нас учила мастерить игрушки, вышивать, шить, штопать, печь печенье. В общем, мы получали начальные навыки ремесла. Еще нас помаленьку учили языку, почему-то немецкому; но никаких результатов это обучение не дало. В нашем детском саду разговорным языком был украинский. Но даже украинской классической литературы мы не знали, а только русскую. Зато Лилия Ерофеевна много нам читала Пушкина — помню, как торжественно и красиво отмечали в 1936-м году 100-летие со дня смерти Пушкина. Нас, мне кажется, не подвергали никакой идеологической обработке. Но, конечно, в зале рядом с портретом Пушкина висел портрет — «Ленин маленький, с кудрявой головой». Под большим портретом Сталина помещался плакат «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство». Помню, этот плакат вызывал у меня раздражение — почему за счастливое детство надо кому-то говорить спасибо? Вряд ли я сама пришла к такому умозаключению. Но все-таки нас держали в курсе всех значимых событий в жизни страны. Помню, как нам сообщили, что убит Киров, что весь советский народ горюет и возмущается подлыми убийцами. Я вернулась домой в слезах (которые мне с трудом удалось добыть, изо всех сил растирая глаза кулаками) и с криком «Ой, Якира убили!».

После папиного ареста я сама для себя сочинила легенду, будто папа воюет в Испании, поэтому-то он и не приезжает к нам. Эту легенду я рассказала ребятам в детском саду, те — своим родителям, родители — воспитательнице, а Лилия Ерофеевна — няне, няня — маме. От каждой из них мне досталось: мама стыдила меня за вранье, а няня ругала, опасаясь неприятностей из-за моего фантазирования. Когда папу и многих других пап арестовали, их детей все же не стали выгонять из детского сада. Я оставалась там до самой школы, до 37-го года. Для меня уже не нужно было держать няню, да у мамы и денег на это не было. Но няня осталась с нами. Ее взяли на работу прачкой в тот же детский сад, где воспитывалась я. Жить она осталась у нас и по-прежнему вела домашнее хозяйство. И оставалась главной моей воспитательницей и начальницей. В будние дни отводила меня в детский сад. Иногда няня брала меня с собой в гости к своим деревенским подругам, как и она, перебравшимся в город. К Кате, которая когда-то порекомендовала ее в нашу семью, и к Оле, вышедшей в город замуж. Мужа Оли, латыша, тоже арестовали, и она, чтобы прокормить детей, брала домой белье в стирку. Няня обеспечивала ее клиентурой. Три подружки, собравшись вместе, понемногу выпивали и тогда пели. Катя и няня — украинские песни, а Оля — русские. Няня только наказывала мне: «Ты ж, Ларо, не кажи дома, шо ми горилку пили». И я их ни за что не выдала бы.

На выходные дни она уходила на работу — стирать белье в детском саду. Обычно няня брала меня с собой — это был праздник для меня! В детском саду никого нет, ни детей, ни воспитателей, только няня и я. В моем единоличном распоряжении большие комнаты и все игрушки — куклы, кукольная мебель, мозаика, кубики. После будних дней все это оставалось в большом беспорядке, и я все убирала и расставляла по-своему: из кубиков строила дворцы, кукол рассаживала вокруг игрушечных столов, укладывала в их кукольные постели, переодевала, как хотела. Няня доверяла мне мыть оставшуюся с вечера чайную посуду, гладить салфетки игрушечным утюгом или раскатывать скалкой скатерти. А вечером перед уходом согревала на печке большой чан воды и купалась сама, купала меня — у нас в квартире не было ни горячей воды (в Харькове тогда вообще не было теплоцентрали), ни ванны. Целый день я могла есть яйца, сваренные вкрутую, или яичницу на сале. Иногда няня рассказывала мне сказки, пела песни — впрочем, на это у нее оставалось совсем немного

времени. Дома она тоже пела — но это было раньше, когда еще папа был с нами. Они с папой вместе пели — «Розпрягайте, хлопцы, кони, та й лягайте спочивать...», «Повий, витре, на Украину...», «Нич така мисячна, Господи, зоряна...», «Тече вода спид явора...» и множество других украинских песен. Вопреки общему представлению, что все украинки певуны, няне, видимо, как говорится, слон на ухо наступил, все песни она пела на один мотив, с одинаковым зачином — «Ой, тай розпрягайте...», «ой, повий, витре...», «Ой, йихали козаки...» Но мне, наследственно безслухой, это нисколько не мешало. Я так любила сидеть на мягкой няниной постели, няня, папа, и мы втроем вместе поем. Иногда к нам присоединялась и мама. Такие это были мирные, теплые вечера. Кроме украинских песен, няня любила и одну русскую, есенинскую «ты жива еще, моя старушка» С ее слов я запомнила пушкинские стихотворения «Подруга дней моих суровых...», «буря мглою небо кроет...»

Без папы няня дома уже не пела, а только наедине со мной, в пустом детском саду. Изредка в Харьков за продуктами приезжали люди из няниной деревни, довольно часто приезжала нянина дочь Зина или сын Юрик. Остановливались все, конечно, у нас. Каждый год няня сама ездила домой, в деревню, а однажды она взяла меня к себе на все лето.

Вот была благодать! Свобода! Я, как все деревенские дети, бегала босиком по пыльной дороге, особенно же любила скакать по лужам после дождя. Как и другим детям, мне давали на улицу кусок посыпанного солью свежего домашнего хлеба (няня сама пекла его в печке) правду сказать, это деревенские дети ели ржаной хлеб с солью, а мне выдавался пшеничный с сахаром, так что моя деревенская жизнь была только по видимости, как у других детей, а на самом деле, наверное, няня просто разыгрывала для меня спектакль, чтобы я не чувствовала себя не такой, как другие дети. Она, должно быть, понимала, что у ребенка есть потребность быть, как все. У всех хлеб, посыпанный чем-то белым, и у меня тоже. Утром, сразу после дойки, мне наливали кружку парного молока. К этому времени крестьяне в Никольском уже не голодали — приспособились. И все-таки, с каждой оказией, из голодного Харькова, в деревню отправляли какие-нибудь продукты или товары: сахар (это в украинские свекловодческие деревни!), селедку. За месяц до поездки мы с няней отстаивали в длиннющих очередях — то за селедкой, то за

керосином, который тоже был дефицитным товаром, как и стекла для керосиновых ламп, как и фитили для керосинок. Я жила с няней в хате ее сына Пети. Петя к тому времени стал в колхозе трактористом — тогда очень престижная профессия. Он женился, к нянининому неудовольствию, на москальке Нюре Кобзаревой... Деревенские девчонки нянчили младших братишек и сестреночек — качали их в колыске, вытаскивали бесштаннх на улицу, на травку. Иногда и мне доверяли присматривать за Петиним Ванюшкой. Не очень-то я любила это занятие. А любила я полоть огород. Но ничего хорошего из этих сельских работ у меня в первый раз не получилось: я видела, как взрослые обрывают яркие цветы на огурцах и на тыкве и решила поучаствовать в этом деле. Я не знала, что обрывают пустоцвет, и пообрывала все подряд, будущие плоды в том числе, принесла в хату целый букет крупных желтых цветов. Еще я любила сбивать масло в маслобойке — специальной деревянной колоде. У Зины была корова Зорька, рыжая с белой звездочкой во лбу. Я ее боялась, боялась и гусей, когда ходила на речку. В хате жили два поросенка — Пете их продали в колхозе, худых и тощих, таких слабеньких, что приходилось держать их в духовке, чтоб не замерзли и не подохли бы, и выпаивать молоком. Возиться с поросятами мне нравилось гораздо больше, чем нянчить Ваню.. Выкормить удалось обоих поросят, и это считалось большой удачей. В колхозе были уверены, что один из задохликов непременно подохнет, и за Петей записали только одного. А выжили оба! Многие колхозники шли на такую хитрость — выкармливали двух поросят, а записывали одного. Пока поросята подрастали и жили уже не в печке, а в хлеву — наступала новая тревога — как бы обман не обнаружился. Время от времени по деревенской улице от хаты к хате разносился слух «Колхозный инспектор идет!» Все хозяева старались спрятать второго питомца в дальний тайный угол в хлеву, да так, чтобы не хрюкнул, не завизжал. Обитатели хаты один за другим бегали в хлев якобы по нужде — авось, тогда инспектор постесняется туда заглядывать. И если он все же приближался к хлеву, ему кричали: «та куда ж ты?! Там Ганна сере!» Уборных-то ни в одном дворе не было вовсе, и по нужде все действительно ходили в хлев.

Но настоящая паника охватывала крестьян, когда инспекторская проверка проводилась осенью, после того, как приходило время колоть откормленных свиней. Ведь полагалось шкуру с каждой сви-

нии сдать государству. А шкура ценилась даже больше, чем сало и мясо: она шла на сапоги. Украинские крестьяне никогда не носили лапти, а только сапоги. За парня-лапотника ни одна невеста замуж не пойдет.

А шкуру надо не только спрятать, но и тайно выдубить — для этого во дворе выкапывают яму, в которой шкуру вымачивают в каком-то растворе — в квасцах, что ли. От ямы несет такой воню, что скрыть тайник совершенно невозможно. И снова, как только разносится слух, что идет инспектор, все начинают суетиться, наливать для инспектора бутылку самогона, яму забрасывают огородной ботвой, засыпают землей и снова ботвой. И только если у инспектора хорошие отношения с хозяином и если он в первых хатах допился уже до того, что не только вонючую яму может не учуять, но не заметит, даже если сам в нее провалится, — хитрость могла удалиться. Потом когда-нибудь, конечно, могут спросить: «Петро, откуда это у тебя новые чоботы?» — «Та в Белгороде на базаре купил».

Во всех этих деревенских хитростях принимала участие и я: «Ларо, бижи до Люби, скажи за инспектора, нехай Борьку ховае», а не то, так и нашего Борьку вытаскивали из печки, тащили на руках прятать в хлев. Это заменяло городские игры в сыщиков-разбойников. Няня отпускала меня с детьми постарше в лес, за орехами, на речку, которая протекала тут же, за огородами. Одного мне не доверяли — подбеливать хату, тем более мазать пол. Пол в хате — конечно, земляной, по субботам его мажут глиной, разведенной с коровяком (коровьим навозом); мазать надо так, чтобы пол стал гладким, «як яечко», а я оставляла на нем, сыром, следы своих босых ног — вот меня и выгоняли из хаты на улицу, пока пол не подсохнет. Вечером, пока солнце не зашло, я усаживалась на «призьбе» (заваulinke) и читала девушкам, вдвое старшим, чем я, книжки. Когда в деревню забредал фотограф, делал портреты всех членов семьи, меня непременно фотографировали с книгой в руках.

Няня оставалась жить с нами почти до самой войны, и только году в 38-39 уехала к себе в деревню.

Этому предшествовала жестокая ссора мамы с нею. Я не знала, из-за чего они ссорились, но, конечно, была на стороне няни, и когда няня уехала, винила в этом маму. Ни тогда, ни позднее, когда я была почти взрослая, мама мне не сказала, в чем было дело. Уже после войны, вернувшись в Харьков из эвакуации, я случайно

встретила на улице няню. Она меня остановила и сама рассказала историю, от которой до сих пор у меня щемит сердце. «Ларо, скажи Марусе (маме), щоб вона на мене не сердилась, я ж не сама, то мене та змиюка, Клавдя Петровна, пидбила». Оказывается, было вот что: после папиного ареста маму уволили с работы как жену врага народа. С нами жила моя двоюродная сестра Ама, дочь маминой старшей сестры, тоже арестованной. Мама немного зарабатывала, устроившись в подмастерья к частной портнихе. Год или два года спустя ей удалось устроиться на работу в библиотеку харьковского Дома Учителя. К ней приставили стукачку Клавдию Петровну. Уж не знаю, какие тайные «контрреволюционные» замыслы Клавдия Петровна должна была выведать у мамы. Для этих целей она подружилась с мамой, приходила к нам в гости, дарила подарки маме и мне, прикрепляла наши хлебные карточки к привилегированному магазину. Это все вызвало у мамы подозрения, она стала расспрашивать Клавдию Петровну насчет этого самого магазина. И тут «подруга» из хорошего ли отношения или запутавшись в объяснениях, созналось, что ей поручено следить за мамой, доносить в НКВД о ее знакомствах, родственных связях, переписке и т. п. Мама, вместо того, чтобы растрогаться такой откровенностью, прогнала Клавдию Петровну, как сказали бы в прошлом веке, «отказала ей от дома», и предупредила меня: «Лара, не впускай больше Клавдию Петровну в дом, не принимай от нее никакие подарки, даже дверь ей не открывай». Я помню — однажды я вышла на стук в дверь, увидела Клавдию Петровну, которая успела сунуть мне в руки какой-то пакет. Я пакет развернула: любопытно же! Там был красивый узорчатый платок, духи «Красная Москва» — мамины любимые, пудра и еще что-то. Я испугалась, снова все завернула в бумагу и выбежала на лестницу, чтобы вернуть все это. За дверью, прямо на лестнице, сидит Клавдия Петровна, я бросила пакет ей на колени, она стала что-то говорить и заплакала. Мне потом мама объясняла, что эти подарки ей выдавали в НКВД, а теперь она боялась, что у нее могут быть неприятности за невыполнение задания, главное же за то, что она перед этой Брухман раскрыла себя. И тогда Клавдия Петровна стала искать пути для восстановления возможности продолжить наблюдение. Она стала вербовать в стукачи няню. Пообещала ей, что если няня будет передавать ей мамины письма, няне отдадут комнату в нашей квартире. А если откажется,

Юрика (няниного младшего сына) отчислят из летнего училища. Няня, конечно, очень боялась за Юрика. И стала передавать ей письма, которые мама получала от сестры и брата. Приходили не только письма, но и продуктовые посылки. Вот тогда я и услышала, как дядя Миша учил тетю Этю, чтобы она на собрании не признавалась, что поддерживает связь с женой врага народа. А письма — вот они! Дядя Миша по своим каналам узнал, каким образом эти письма попали в КПК (комиссию партийного контроля) Вот так и обнаружилось нянино предательство. Начало этой истории мне рассказала няня, а много позднее я узнала ее целиком от тети Эти. Мама никогда мне ничего так и не сказала. Она знала мою любовь к няне и, наверное, щадила мои чувства. Но каково было ей самой слышать мои попреки и не отвечать на них. А каково было няне! Рассказывая эту историю мне, она плакала. Во время войны на фронте погибли сын Петя и муж Зины Семен, а Юрик, ставший после училища летчиком-испытателем, тоже погиб вскоре после войны, испытывая новую модель самолета. Не осталось ни одного взрослого мужчины в семье. «То Бог мене покарав», говорила няня. К нам она даже зайти не захотела. Осталась жить в Никольском, в Петровой хате., со снохой Нюрой и внуком. Тетя Этя, добрая душа, ни в чем ее не обвиняла, сохраняла с ней хорошие отношения и сама приезжала несколько раз на летние месяцы к няне в деревню. Приезжал и дядя Миша.

Няня тоже приезжала в Москву и жила некоторое время у тети Эти и дяди Миши.. Приехала в 1951 году, когда я родила своего Саню, она и забирала меня из родильного дома. Но жить стала не у меня — она не поладила с моей свекровью Минной Павловной. Поэтому я с Саней приезжала сама к тете Эте. Няня неодобрительно смотрела, как я пыталась кормить Саню — у меня не было молока, так, какие-то жалкие голубоватые капли. Няня смотрела-смотрела на это взаимное мучение и сказала: «Таку корову, як ти, Ларо, тильки на м'ясозаготовки, и то не визьмуть — сами кистки». Забирала у меня с рук ребенка и совала ему бутылочку с соской. Она считала, что я не докармливаю ребенка, что надо кормить досыта, а не по норме, рекомендованной врачами. Прикладывала мне к груди компрессы из льняного семени — от грудницы: «Коровам допомагає, и тобі допоможе». Она оставалась в Москве недолго: «Та що мени тут робити? Дома я сама собі хазяйка в своїй хаті. Та й город (ого-

род) пора копати. Там я усих знаю, и мене уси знают, баби, дивки приходять»

Я приехала в Никольское только в 57-58 году. Сане было тогда 6-7 лет, Я надеялась оставить Саню на лето у няни – с самого его рождения у меня не было ни одного свободного дня, я ужасно устала, да и Сане, думала, в деревне будет так же вольготно, как когда-то мне. Няня ходила со мной и Саней в гости, к бывшим моим подружкам, тоже уже замужним женщинам. Почти в каждой хате, куда мы заходили, среди обычных семейных фотографий на стене, наклеена была и моя фотография – в короткой юбочке, с книжкой в руках. В каждой хате нас угощали – густым украинским борщом, крутым сливовым «узваром» (компотом) и непременно самогоном. Качество самогона зависело от благосостояния хозяев – где простой бураковый, где из конфет-подушечек. А у председателя колхоза, за которого вышла замуж моя бывшая подружка самогон наливали из бутылки из-под шампанского. Эти гостеванья закончились тем, что у Сани расстроился желудок. Он не привык к такому обилию овощей и фруктов. А еще нянина насмешливость оказалась тоже не по нем, он обижался. В конце концов няня сказала: «Ни, Ларо, таку дитину я не глядитиму – йому щось скажеш, воно плаче. Борща поийсть – живит болить». Деревня изменилась так, что ее было не узнать. Хаты по-прежнему выбеленные до голубизны, но в некоторых настелены деревянные полы, соломенные крыши кое-где заменены ярко-красными железными. Во многих хатах, которые прежде, после раскулачивания, стояли с забитыми окнами, поселились новые жильцы, а лучшие из них перешли во владение власти – где сельсовет, где правление колхоза. Но несмотря на обновленные крыши, новые ворота, Никольское оставалось не более богатым, чем 20 лет назад. Некоторые хатки покосились, ушли в землю. Убогой выглядела и нянина хата. Сады и палисадники казались мне поменьше и пореже – ведь сама я выросла. Няне одной, без мужиков, трудно стало управляться с хозяйством. У нее в сенях всегда стояла бутылка с самогоном – чтобы было чем расплатиться с работниками за койкакой ремонт, за сено для коровы – Зинина Зорька стояла теперь в ее дворе, а Зина оставила себе телочку.

После войны на всю деревню осталось два-три мужика, да и то, один покалеченный на фронте. Все они работали в правлении колхоза, а на полях (на буряках) одни женщины. Утром бригадир

объезжал на лошади двор за двором, выгоняя женщин на работу: «Михайливно, скажите йому, що мене нема вдома, що подалась в Белгород; та я и пишла б огирки збирати, та вчора набрала соби в фартух пиввидра. А вин, зараза, заставив висипати их в колгоспный бурт, то нашо ж мени туди и йти? А хто ж вдома поратиметься (будет управляться)?»

Колхозный возчик получал наряд ехать за сеном. Скотный двор, куда надо было везти сено, — в самом конце деревни, а нянина хата посредине улицы. Вот он навил воз сена, везет — останавливается у первой же хаты, там сгружает сено за самогон, потом снова едет за следующим возом, и этот так же сгружает. Доходит очередь и до няниного двора, и только к концу дня он добирается до колхозного скотного двора с последним возом. Люди держались только тем, что выросло на приусадебном участке. Слава Богу, украинская земля — благодатная, воткни в нее палку — вырастет дерево. Конечно, на трудодни колхозникам ничего не выдавали, работали в колхозе «за палочки», так бригадир отмечал самый выход на работу. Правда, осенью, сахарный завод, куда сдавали свеклу, выдавал понемногу сахару, но он весь уходил на самогон. Летом добытчиками становились дети — собирали в лесу землянику, отвозили на продажу в Белгород. Но этим достаточно не заработаешь. Мальчики, после армии, в деревню не возвращались, правдами и неправдами старались устроиться на работу в городе. В Белгороде открылся завод, кажется металлургический — так вот туда. Туда же наладились и нянины внуки, Ваня и Коля. Няня переехать ко мне в Москву не захотела, не хотела жить вместе с Минной Павловной. Ваня и Коля писали мне письма, однажды Коля попросил меня купить ему автомобиль — видно, неплохо зарабатывал. Он не мог поверить, что это и в Москве неразрешимая проблема. Когда я была уже в Сибири в ссылке, он прислал мне последнее письмо о том, как умерла няня. Зимой загорелись угли в печи, а в хате был добротный самогон. Хата запылала. Няня успела выскочить, да не одетая. На холоде простудилась, заболела воспалением легких. И умерла. Когда-нибудь я все же вернусь в Никольское, постараюсь разыскать Колю и Ваню, да только вряд ли найду. Но, может, удастся найти «смирненное кладбище, где ныне крест, да тень ветвей над бедной нянею моей».

ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Сколько я себя помню, мама каждое лето отправляла меня из Харькова куда-нибудь «на природу» – в Одессу, в Бердянск, в Николаев, к тетям (Елене, Эте) на их подмосковные дачи, к няне в деревню, к дяде Исааку под Каменец-Подольск – он там жил и работал. Чаще всего меня отправляли с детским садом, который вывозил детей за город, в ближний дачный поселок. Конечно, от каждого летнего сезона у меня в памяти осело какое-нибудь впечатление, о некоторых я здесь рассказываю подробно. Иные запомнились только какой-нибудь непривычной картинкой. Например, Одесса – очень широколистые деревья, прикрепленные к их стволам жестяные поилки для собак; Бердянск – к берегу рано-рано причаливают рыбаки, их лодки полны рыбы, которую они тут же продают дачникам. Море оказалось слишком огромным, наверное, поэтому оно не поместилось в моем сознании и в памяти. Ну, некоторые впечатления хотя и помню, но здесь опускаю: те, которые мне кажутся не очень интересными и которым, по-моему, не стоит придавать значение.

Не поручусь, что я их все правильно датирую и что правильно распределяю по месту и времени, к которым они относятся. Так, мне кажется, что два запомнившихся события – смерть Максима Горького и солнечное затмение произошли в одно время, летом 1936 года. Я тогда была с детским садом на даче, нам рассказали о солнечном затмении, и мы к нему деятельно готовились: коптили стеклышки, заранее захватывали удобные местечки на садовой лестнице. А я – вот беда! – как раз ухитрилась заболеть ангиной и угодила в больничный изолятор (вообще именно там я обычно проводила все летнее время, с горлом, замотанным компрессом, должно быть, из-за этого впоследствии оказалась такой длинношеей). Так вот, валяюсь я в изоляторе, горюю – то ли разрешат смотреть в окно на это самое затмение, а то ли стеклышки отнимут, как предмет антисанитарный. И вдруг, не в родительский день приехала моя мама, ей позволили навестить больную. Уж она-то уприсит врача, под свою ответственность, показать мне таинственное зрелище, о котором я читала у Чуковского: «Крокодил солнце в небе проглотил». Я полна радостного возбуждения, а мама почему-то непривычно грустная-грустная. Она говорит мне: «знаешь, Максим Горький умер», – и

читает кусочек из «Детства». И я вижу, и сейчас так помню, что ее грусть не показная, что она искренне горюет об этом человеке. Но я так никогда и не узнала, кем был для нее писатель Максим Горький. Ее чувства к нему я не могла разделить ни когда стала школьницей, ни когда сама преподавала литературу в школе. Навсегда он для меня остался просто писателем, включенным в школьную программу, т. е., предельно скучным, обязательным, о котором все заранее известно: «Человек — это звучит гордо!», «экий матерый человечеще!», и т. п. Только его трилогия вызывала у меня мало-мальски теплый отклик. И даже в студенческие годы, когда мои друзья, чей авторитет в литературе я готова была признать, восхищались «Климом Самгиным», я не могла заставить себя прочесть хотя бы 10 страниц этого романа.

Может быть, хоть теперь следовало бы — ради объективности — перечитать и прочесть его произведения? Ведь горевала же почему-то моя мама о его смерти.

Следующее лето, предшкольное — 1937 года — запомнилось мне скорее не космическими и не общечеловеческими масштабами событий, а моими личными, маленькими и смешными переживаниями. Но я о них все равно немного расскажу. В это лето, как и во все 7 предыдущих, меня снова перед отправкой с детским садом на дачу остригли наголо, «под нулевку». И к августу, вместо привычных светло-русых колечек, моя голова покрылась черными, как вороново крыло, и жесткими, как проволока, неупорядочиваемыми патлами. Такой я и осталась на всю жизнь, пока не поседела.

Ко дню рождения мама подарила мне два платья и привезла их на дачу. Одно она сшила из своего красивого полупрозрачного шарфа. Его-то на меня и надели на праздник. Оно и годилось только для праздников — но я очень быстро росла, так что больше носить его мне никогда не пришлось. Впрочем, и второе я проносила всего пару месяцев — выросла, да и заносила. Это было платье из белого полотна с украинской вышивкой, почему-то с узкой-преузкой юбкой — «в дудочку». В нем-то я и пошла в школу, за него и получила сразу прозвище «муха в молоке». Над белым полотном торчала черная патлатая голова, и сама я была смуглая, как цыганка. Впрочем, при наших чернильницах-«невыливайках» да плюс еще руки-крюки, мое платье недолго оставалось белым.

Может быть, теперь уместно будет рассказать о моих нарядах — как бы не за всю мою жизнь. Когда автор женского полу — это небезразличное жизненное обстоятельство.

Когда я была во втором или в третьем классе, приехал дядя Исаак и подарил мне два новых платья — темно-синюю шерстяную матроску и голубое, с белой отделкой, тоже шерстяное любимое нарядное платье. Во время эвакуации оно куда-то кануло, возможно, было обменено на продукты; а вот матроску я пронесла до десятого класса — дело в том, что практичный дядя Исаак купил ее «на вырост». Юбка в широкую складку вначале была посажена на бретели, и начиналась чуть ли не от подмышек. Бретели по мере надобности отпускаясь все ниже, и в конце концов юбку пришлось соединить непосредственно с первоначально широкой и длинной блузой. В основном же я донашивала платья старших сестер — Ленкины и Амкины, а туфли носила тети Молкины, уже в шестом классе они были мне как раз впору. Во время войны, в 1942-м году, тетя Этя подарила маме швейную машинку — не в компенсацию ли за реквизированную когда-то? Я вполне самостоятельно сшила себе на ней летний сарафан из нового сатина. Потом сшила и тапочки, в которых проходила целое лето 42-го или 43-года. Не машинка была, а зверь! Шила все, что угодно — от маркизетовых блузок до зимней шапки. Эта машинка стала моим приданым, она и сейчас у меня, в нынешнем 2001-м году впервые ее чинил мастер, а до сих пор я сама ее ремонтировала, и слушается она только меня, а в чужих руках сразу начинает халтурить. Ведь я ее разобрала на части, когда она только у нас появилась. Право же, я к ней привязана, как к домашнему существу.

Вообще я привязываюсь к предметам обихода, и когда они вовсе приходят в негодность и их приходится выбросить, я чуть не плачу. Вот так несколько лет назад мы выставили на площадку сломавшийся старый холодильник. И пока его не украли, я, выходя из квартиры, гладила его и просила прощения, что мы его выбросили. Это качество унаследовал от меня младший сын. При очередном нашем переезде он увидел среди прочего барахла наш старый чайник, прижал его к пузу, поцеловал и потащил в дом.

Вернемся ненадолго к одежде. После упомянутого сарафана я все себе сама шила, а мама хотела, чтобы мне шила платья настоя-

шая портниха — может быть, таким образом она надеялась прикрыть мою непривлекательность.

Вот почему мне так близко раннее стихотворение Наташи Горбаневской: «Свой костюмчик новый, палевый Надеваешь, чуть дыша. Не старайся, не напяливай, Все равно нехороша...» Может быть, по этой же причине я всегда была и навсегда осталась абсолютно безразлична к своей одежде («все равно нехороша»).

Мне не хотелось бы, чтобы читатель воспринял мой рассказ о всего двух-трех, максимум четырех-пяти новых платьях за все мое детство и юность как свидетельство бедной жизни нашей семьи. Наш достаток можно назвать средним. А я всегда была уверена, что мы — зажиточные люди по сравнению с другими, знакомыми мне — и я стеснялась этого (наверное, так оно и было: многие мои одноклассники на моем фоне могли показаться просто нищими). А уж мамы рассказы о ее деревенском детстве (одни сапоги на пятерых-шестерых детей, босых и летом, и зимой) внушали мне представление, что это советская власть сделала нас богачами, у которых все есть. И ведь эта схема абсолютно совпадала со всем, что я читала в рассказах для детей.

Но однажды я задумалась, соответствует ли эта схема действительности. Дело было такое: украинская деревенская традиция требует, чтобы летом, осенью были сделаны припасы, заготовки на всю зиму. Наступает сентябрь—октябрь, и весь Харьков варит сливовое или яблочное повидло, заполняет им глиняные кувшины, а мама, кроме того, поздней осенью покупала гуся, снимала с него сало, перетапливала, сливала в банку — тоже зимний запас. Как-то она нечаянно припомнила, что ее мама делала то же самое, но не одного гуся обрабатывала, а с десяток, а то и дюжину. Один раз мама стала переливать в банку недостаточно остывшее сало, банка лопнула, сало вылилось на пол, и мама расплакалась. На грядущую зиму мы остались без сала. А для ее «бедняков»-родителей потеря сала с одного гуся не составила бы невосполнимой потери. Таким образом, моя схема хотя и не рухнула, но дала заметную трещину.

Вскоре я обратила внимание, каким событием для мамы стала покупка нарядного чайного сервиза, а уж о предмете мебели — буфете что и говорить!

ШЕЛЕСТ

Прошлым летом, т. е., летом 1997 г. по приглашению моего доброго старого друга, Иосифа Сухаровича Гольденберга, с университетских времен сохранившего прозвище Граф — так я буду и дальше именовать его — я приехала в подмосковный городок Пушкино, где живет совсем немного народу, и, как выяснилось в дальнейшем, многие оказались моими давними прямыми или косвенными знакомыми. Так вот, Граф сказал мне, что здесь живет семья, которая была знакома не только со мной, но даже с моим отцом и Аллой Григорьевной, и что я будто бы когда-то приезжала с отцом к ним. Это событие начисто выветрилось из моей головы, я его так до сих пор и не вспомнила. Ну, хорошо, приезжала, так приезжала, знакомы, так знакомы. — «А кто такие?» — «Его зовут Володя, ее Рита, фамилия — Шелестовы».

И тут в памяти что-то забрезжило, но связанное вовсе не с моим будто бы имевшим место посещением Пушкино, а с каким-то гораздо, гораздо более давним временем, с довоенным Харьковом. И постепенно я стала вспоминать картинку за картинкой, как на фотобумаге проявляется снимок, становясь все отчетливее и детальнее. Я определенно помню эту фамилию. — только в другой форме: Шелесты. Вот в Харькове, кажется, на главной улице — на Сумской, что ли, или на Пушкинской — большой каменный дом, пяти-шестизэтажный. У дома странное название — «дом Саламандры»; я вижу даже выложенный на фасаде полукругом девиз «Горю и не сгораю». Наверное, этот дом принадлежал до революции страховой компании «Саламандра». Внушительный, солидный подъезд. В Доме Саламандры, на третьем, что ли этаже живут эти самые Шелесты. И мы с мамой иногда приходим к ним в гости — уже тогда, когда многие знакомые предпочитали не встречаться с мамой, значит, уже после ареста папы, с конца 1936 г. А Шелесты нас принимают. Эти встречи, по моим смутным детским воспоминаниям, имеют несколько таинственный, тревожный характер: разговоры взрослых вполголоса, чуть ли не шепотом. Тихие прощания перед выходом из квартиры. Взрослые чего-то опасаются — как бы чего не случилось с Шелестом: «он ведь прячет свой револьвер и не хочет его никому отдавать». Однажды, спускаясь по широкой каменной лестнице, я слышу наверху хлопок. Мама быстро выскальзывает из подъезда. На

этом мои воспоминания о доме Саламандры обрываются навсегда. Но вспоминается еще одна фамилия, связанная с этим домом: в нем же, только несколькими этажами выше живет еще один знакомый — Пейсахович. И только теперь я понимаю, что в памяти два разных человека соединились в одно лицо. И то, что я всегда относила к «Шелесту», на самом деле касалось Пейсаховича. Это он работал в таком учреждении, где сотрудники имели револьверы — в НКВД? Это о его тяжелом душевном состоянии вели разговоры Шелестов и моя мама, опасаясь за его судьбу. Пейсахович жил один, семьи у него, помнится, не было. И Шелестов, и Пейсахович были давними папиными друзьями, кажется, еще по Овручу или по еврейской самообороне 1918-го года, или по гражданской войне, когда все они служили в Красной Армии. Так вот, оказывается, это Пейсахович покончил с собой, он был не в состоянии примириться с тем, что «у них» творят с людьми. Впрочем, возможно, это все моя существенно более поздняя интерпретация — когда я узнала несколько историй о сотрудниках харьковского НКВД, покончивших с собой по этой будто бы причине. Так говорил студент нашего факультета Марат Мазо о своем отце. Самоубийства среди энкаведешников были, конечно, не только в Харькове. А причины — кто что может знать о причинах? Может быть, действительно, как говорится, «совесть заела». А может быть, и это вполне вероятно, стрелялись, предчувствуя собственный близкий арест и хорошо зная, что их в этом случае ждет. Кто знает? Все только одни догадки, предположения.

Одно теперь могу сказать почти уверенно: Пейсахович действительно покончил с собой — по-моему папе об этом говорил и Шелестов, когда они (Шелестов и папа) повстречались уже в 50-е годы, после хрущевской амнистии. Вот только сомневаюсь, слышала ли я выстрел в Доме Саламандры: ведь он мог мне и почудиться после таинственных разговоров о револьвере... Семи-восьмилетняя романтически настроенная девчонка, склонная к фантазиям, вполне могла принять за выстрел хлопок двери... Но с этой легендой о застрелившемся «Шелесте» я прожила всю свою жизнь вот до этого, 97-го года.

Что же касается третьего овручанина, Шелестова, его реальная судьба была такова: он не стал ни «ежовыми рукавицами» советской власти, как Пейсахович, ни ее идейным обоснователем, каким был папа до своего ареста в 36-м году, а приобрел положительную про-

фессию инженера, и хотя это тоже не гарантировало от ареста, но ему, слава Богу, повезло. Он прожил свою жизнь со своей семьей до положенного срока. В семье Шелестовых было две дочери — обе не вполне здоровые. Во время войны муж и жена Шелестовы решились родить еще ребенка. Родился мальчик, «такой удачный, очень способный, отлично учится», — говорил мой папа.

Вот с ним-то, с Володей Шелестовым, я и встретилась в Пушкино. Он показал мне фотографию, на которой среди членов его семейства моя мама со мной на руках. Мне здесь, наверное, лет пять-шесть, т. е., это год 34-й — 35-й, еще до ареста папы, но уже после перевода столицы Украины из Харькова в Киев.

Я думаю, что Шелестов был прообразом некоторых персонажей задуманных папой произведений — людей, в начале революции сделавших свой выбор а пользу положительной профессии — инженера, ветеринара, и отказавшихся от роли партийного или государственного функционера.

ИСПАНИЯ

Пожалуй, сейчас будет уместно вспомнить об еще одной моей фантазии, сочиненной приблизительно в то же время, что и легенда о самоубийстве Шелеста.

Году в 34-м, когда украинское правительство перебралось из Харькова в Киев, папа тоже переехал в Киев (он работал а Госплане Украины. А мама со мной осталась в Харькове то ли на время, пока папа устроится на новом месте, то ли они расстались вообще. Папа приезжал к нам довольно часто. Но вот (с 36-го года) он совсем перестал появляться — просто исчез. Куда? Где он? Мне никто ничего не говорил. Пришлось самой придумывать устраивавшие меня объяснения. А в это время идет война в Испании. По радио, в разговорах, в газетах (не то, чтоб я их читала, хотя читать уже умела хорошо; а так, иногда попадетса на глаза клочок какой-нибудь) мелькают незнакомые, но такие красивые слова: Мадрид, Барселона... Там наши храбро сражаются с врагами — фашистами. Наверное, там и мой папа — конечно, на стороне «наших». Так я и сказала одному мальчику в детском саду, а может, и не одному. Мол, папа воюет в Испании и

привезет мне оттуда ружье. Настоящее! Мальчишки сказали об этом родителям, те — воспитательнице, а воспитательница Лиля Ерофеевна — моей няне: пусть Лара придержит язычок, все ведь знают, где ее папа. От няни мне влетело отдельно, отдельно от мамы. Мама упирала на то, что врать нехорошо. А няня припугнула меня: «Того казати не можна, бо знайдуться злиі люди, и мами може бути недобре». Впрочем, эта моя фантазия («вранье») скоро увяла естественным образом. Одна девочка, постарше меня, сказала другим, которые не хотели принимать меня в дворовую игру: «Лару обижать не надо, у нее папы нет; ее папа арестован». Очень скоро это обстоятельство перестало быть моим отличием. Арестованными оказались все — все! — папы в нашем дворе. Это произошло за каких-нибудь полгода. И папа Рады Генис, и папа Яны Фесенко, и Нины Арефьевой. Поисчезали не только папы, но и просто соседи: над нами, на 4-м этаже жило семейство Лукьяновых — муж, жена их взрослая замужняя дочь. Старшие Лукьяновы остались, исчезли дочь с зятем. Правда, говорили, что они завербовались куда-то на Север. Но, может, этот Север был чем-то вроде моей Испании. Потом стали пропадать целые семьи. Я не думаю, что арестовывали сразу всех, в полном составе. Но нередко, идя утром в школу, я видела внизу в подъезде то одну семью, то другую с узлами и чемоданами — их просто куда-то выселяли. В доме появлялись откуда-то новые жилища. Наш балкон соседствовал с балконом квартиры из соседнего подъезда. И однажды на этом балконе появился незнакомый дядька в пижамах. Помню разговоры мамы с няней: «Донес, вот и получил квартиру... таких-то».

УЧЕНИЕ В ШКОЛЕ

Училась я хорошо, на «отлично», как тогда говорили. Не могу сказать, что мне это давалось без труда. Никто не проверял мои домашние задания, я была предоставлена сама себе. Сколько слез я пролила из-за ежедневных чернильных клякс в тетрадах — мы писали сразу чернилами, деревянной ручкой со вставленным в нее пером № 86. Бумага в тетрадах была шершавая, перо цеплялось за торчащие из нее опилки — и вот готова клякса. Сначала я пыталась

стереть кляксу ластиком, но усердствовала до тех пор, пока не протирала страницу насквозь. Значит, надо переписывать всю страницу заново, а испорченную выдирать вместе с парным листом. К концу работы моя тетрадка становилась вполовину тоньше, и приходилось вставлять в середину чистые листы из новой тетрадки, а если формат новой не совпадал с прежней, так еще и подрезать края ножницами. Вот с таких упражнений началась моя переплетная практика, в конце концов давшая мне умение переплетать крамольные книжки в какую-нибудь нейтральную обложку (на случай негласного обыска в квартире). Так, уже в ссылке в сибирском поселке, когда друзья привезли мне Солженицынский «Архипелаг», я купила в магазине книжку, подходящую по формату — это была «Этика семейной жизни», издательства «Знание», передела Солженицына и спокойно поставила на полку. Но, видно, я в свое время не в совершенстве овладела ремеслом, и шмональщики что-то насторожило в этих маленьких зеленых томиках, и тогда они заявили с уже санкционированным обыском и без колебаний, протянув руку к полке, сняли с нее именно эти книжки и вписали их в протокол. А может, я просто протрепалась кому-то из тамошних знакомых: вот, мол, какая я хитрая, а этот кто-то возьми и донеси.

Итак, я переписывала со слезами страницу за страницей, разгибала и снова загибала тетрадные скрепки. А еще ходила в ближний парк за ивовыми ветками, делала из них счетные палочки — задание по арифметике, а они никак не получались ровненькими, какими я их заранее представляла. — И снова слезы.

Это теперь цветные гладенькие пластмассовые палочки продаются в обязательном наборе предметов «Подарок первокласснику». А тогда, что сумеешь сам сделать, то у тебя и будет.

Зато тогда у нас были развлечения, которых, к счастью, нет у нынешних школьников. Мы, как, наверное, все дети, самочинно раскрашивали цветными карандашами уныло серые картинки в учебниках. Но, кроме этого, уже по заданию учительницы находили в учебнике истории портреты очередных «врагов народа», выкалывали им глаза, а дома ножницами аккуратно вырезали со страниц эти портреты. А еще Ленка обучила меня увлекательному занятию — угадывать в картинках, украшавших тетради или спичечные коробки вражеские происки: «Смотри, Ларка, смотри, нарисован самолет со звездами на крыльях, а вместо пропеллера у него свиное рыло.

Видишь?» — «Да, да, вижу!» Конечно, ни черта подобного я в этих рисунках не видела или могла бы увидеть все что угодно, как в облаках на небе. Но как сознаться в своей тупости старшей, да еще и столичной сестрице?

Вообще Ленка, признанная в семье красотка, весьма критически относилась ко мне, провинциалке с хохляцким акцентом, со всегда всклокоченными лохмами, неуклюжей, не знающей главных сплетен столичной молодежи — кто из известных политиков или писателей на ком женился, кто с кем развелся, слухом не слыхавшей модных песен Лещенко, Вертинского. Да хоть бы и слышала, все равно не могла воспроизвести — «Помню городок провинциальный, тихий, захолустный и печальный...», «У самовара я и моя Маша» и т. п. Зато тетя Этя скорее одобряла мое незнакомство с этим мешанством, с этой пошлятиной. Она одобрительно смотрела, как я читаю огромный красный том Маяковского, поощряла мой интерес к только что вышедшей «Коричневой книге» — книге о зверствах фашистов в Германии. Прошло всего года три, и тетя прятала или сжигала на дачном костре эту же книгу, а с ней вместе и тома стенограмм съездов ВКП(б). У мамы в Харькове тоже были эти тома, и, проявляя инициативу, я вырезала из них портреты «врагов народа». Не поручусь, что ненароком не вырезала и Молотова или дедушку Калинина. В скором времени и из нашего дома эти книги, как и «Коричневая книга», как и «История гражданской войны» таинственно исчезли.

Меня это не удивляло — ведь незадолго до этого исчез и мой папа и даже всякое упоминание о нем. У меня появилась новая фамилия, в школу я пошла уже не как Лара Богораз, а как Лара Брухман. Для этого мама поступила очень просто — она обмакнула перо № 86 в невыливайку с лиловыми чернилами и вписала вторую, как ей казалось, безопасную фамилию в мою метрику. Этот подлог документа так никогда и не раскрылся. Зато в дальнейшем мне можно было выбирать из двух вариантов фамилию, более соответствовавшую приоритетам текущего момента. После войны, когда в советской атмосфере все отчетливее ощущался дух антисемитизма, мама заблаговременно — в 1943 или 1944 г. проделала с моими школьными свидетельствами такую же операцию, как с метрикой. Поэтому после эвакуации я поступила в харьковскую школу, а потом и в университет со своей прежней, «законной» фамилией, да так при ней и осталась, должно быть, на всю жизнь.

Я чувствую, что сейчас надо оставить посторонние, «попутные» темы и попытаться рассказать, чем, кроме слез и счетных палочек, была наполнена моя жизнь в первые школьные годы. С третьего приблизительно класса слезам пришел конец, когда выяснилось, что арифметические задачки я шелкаю, как орешки, и к тому же обладаю бесплатным даром – абсолютной грамотностью как в русском, так и в украинском языке. Значит, плевать на кляксы – это поняла и я, и учительница первая моя. Марья Петровна была наредкость безграмотной девушкой, и я с моими подружками Светой Сухановой и Майей Гриценко развлекались на уроках тем, что выписывали в особую тетрадочку перлы ее высказываний, например, такие: «В предложении – *снова засияло солнце* – надо писать *сновО*», потому что *солнце* среднего рода, вы будете это потом изучать, а пока запомните». И тому подобные. После таких объяснений мы веселились всю переменку, выпросили у одноклассников их тетради и везде исправили *сновО* на *сноваА*. Ребята верили нам больше, чем Марье Петровне и веселились вместе с нами. В общем, мы «баловались» в меру своих способностей.

А еще в эти годы во мне проснулся дремавший до тех пор общественный темперамент. Вместе со Светой мы по собственной инициативе стали выпускать классный сатирический листок, который назывался то ли «Колючка», то ли «Еж». Мы обе рисовали, обе сочиняли стихотворные фельетоны. Могу похвастаться, там публиковались сатиры не только на одноклассников, но и на директора школы. Должно быть, директор был демократ, сторонник свободы слова и средств массовой информации, нам никто не препятствовал в нашей общественной деятельности, только мальчишки – объекты нашей сатиры – дергали за косички. Кроме того, мы сконструировали карманный кукольный театр в коробке из-под печенья и организовали нечто вроде самодеятельного театра. Разыгрывали какие-нибудь остросюжетные стихотворения («Дело под вечер, зимой», «А это с чьей руки кольцо?!», «Раз в крещенский вечерок...»). Сценаристами были Света и я, режиссерами тоже, костюмерами и декораторами мы же. Думаю, удовольствие от этих представлений получали не столько зрители, сколько мы сами. В общем, общественный темперамент в предвоенные годы был у меня, как говорится в рекламе, «на пике активности».

Однажды я увела весь класс встречать и приветствовать героев-папанинцев, которые как раз тогда собирали дань славы в разных

провинциальных городах Советского Союза. Мы застряли в толпе на Сумской (главная улица в Харькове) часа на три после уроков, все родители, конечно, страшно переволновались, и влетело за это мне. Но виноватой я себя не чувствовала, как и во время следующей демонстрации, в августе 1968 года.

Эти первые четыре года прошли под всеобщим девизом «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». И финская кампания не опровергла первую часть этого сомнительного девиза. Харьков готовился участвовать в этой войне — некоторые школы, в том числе мою, закрыли, переоборудовав их под госпитали. Эвон где ожидали раненых! Школьники тоже готовились — мы сдавали нормы на значок «БГТО» — будь готов к труду и обороне; и «ГТО» — готов к труду и обороне. Нас учили надевать противогаз — можно подумать, что случится необходимость, на всех граждан, включая детей, так и хватило бы противогазов. Но как увлекательно была эта игра взрослых — напялить на себя резиновую маску, протереть смешным резиновым пальцем очки. Увлекательно и страшно весело. А еще нас учили делать перевязки, накладывать шины на руки-ноги, прятаться в бомбоубежища. И за все эти удовольствия еще и значок выдавали — нам, по малолетству «БГТО», старшим «ГТО». Эх, вырасти бы поскорей! Я записалась в два кружка при Дворце пионеров: в стрелковый и авиамодельный. Оба кружка были для мальчишек. Мне удалось с помощью инструктора состряпать одну модель планера, и он все-таки полетел! Зато в стрелковом мои дела шли отлично. Не помню, получила ли я значок «Ворошиловский стрелок». Если не получила, то случайно. Тогда обнаружился у меня еще один бесплатный дар — я очень метко стреляла, конечно, из мелкокалиберки. Мне только один раз показали, как целиться, и я с первого раза выбивала не меньше девятки, и никогда в жизни моя пуля не шла в молоко.

Это занятие оказалось настоящей моей страстью. Будучи уже взрослой, матерью четырех-пятилетнего сына, я не могла пройти мимо ни одного тира, меня туда тянуло как магнитом. А хозяин тира на Чистых прудах просто зеленел, когда я к нему заходила — падали все мишени подряд, жестяные гуси, медведи, из бутылок шампанского вылетали все пробки. Хозяину приходилось то и дело открывать свой ящик с призовыми пулями. Покупала я только первые пять-десять пулек, а остальные получала «на халяву». Со стрельбой

из духового ружья у меня связана отдельная история, я ее расскажу немного после. Не могу и сейчас баз волнения видеть любое ружье, духовое, охотничье, мелкокалиберку. Но руки уже не удерживают, да и глаза стали подводить. А жаль!

ФИНСКАЯ ВОЙНА

Мое детство прошло под знаком Войны — бывшей, будущей, текущей. Бывшая — нет, не первая мировая, а гражданская; текущая — это гражданская война в Испании в тридцатые годы; грядущая — пока неизвестно с кем, но, в общем, против мирового империализма. Вот это мироощущение старательно и небезуспешно внедрялось в сознание детей моего поколения. В детском саду малыши — от горшка два вершка — маршировали в ногу, скандируя: «Возьмем винтовки новые, на штык флажки, и с песнею в стрелковые пойдем кружки!» Когда же я доросла до школы, уже вся страна пела: «Если завтра война, если завтра в поход — будь сегодня к походу готов!..». Организовалось движение за Значки «ГТО» и «БГТО» — «Готов к Труду и Обороне» а для малышей, завтрашних солдат, — «Будь Готов к Труду и Обороне». Чтобы получить такой значок, надо было уметь в заданный срок надеть противогаз, шагать военным строем, передвигаться ползком или перебежками с муляжом винтовки и противогазом на бедре и т. п. В школе классы соревновались за то, чтобы все школьники класса получили такие значки. На улицах городов то и дело устраивались репетиции «Тревога!». На улицах Харькова чуть не на всех перекрестках висели таблички со стрелками: «Вход в бомбоубежище». По сигналу сирены всех прохожих загоняли в «бомбоубежища». Собрав растерявшихся прохожих в каком-нибудь подвале, иногда им читали лекции — что делать по сигналу воздушной тревоги. В разных районах города то и дело завывали сирены. Главными активистами этих представлений были, конечно, дети: военная романтика! Мальчишки учились стрелять, девочек обучали оказывать первую медицинскую помощь. Я не хотела отставать от мальчиков, поэтому уже во втором классе записалась в стрелковый и авиамодельный кружки. Правда, стрельнуть мне ни разу так и не дали. Одну авиамодель я с грехом пополам все-таки смастерила — это тоже считалось подготовкой к грядущей войне.

Может быть, все эти навыки были бы и бесполезны: ведь СССР тогда на самом деле был на пороге колоссальной войны. С кем война, с какими перспективами, об этом тогда опасались не только говорить, но даже и думать.

С кем бы то ни было, но война будет непременно победоносной для СССР: «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим... Полетит самолет, застрочит пулемет, загрохочут железные танки, и линкоры пойдут, и пехота пойдет, и помчатся лихие тачанки!»

Тем временем, обнаруживались приметы более серьезной подготовки к близкой войне, чем конструирование игрушечных самолетов с резиновыми моторчиками или ползание на пузе. Неожиданно, во всяком случае, для меня, всех учеников моей школы № 1 перевели из нашего здания в другое помещение, где уже располагалась школа, армянская, работавшая в две смены. Моя школа стала работать там же, в третью смену. Зачем? почему? а в нашей что будет? Поползли слухи, что в школе № 1 будет расположен военный госпиталь, и пока ее к этому готовят: надо ведь классы переоборудовать в палаты для раненых, в большом зале будет размещаться хирургическое отделение. Действительно, началось перестраивание школы. А мы стали бегать в третью смену за несколько кварталов от нашей школы. Ужасно интересно! Какие раненые? Откуда они возьмутся в Харькове, глубоко тыловом городе, вдали от любых возможных театров военных действий — что от Халхин-Гола, что от панской Польши? Может, и нас допустят к уходу за ранеными героями?

Конечно, ни наша школа, слегка перестроенная, продезинфицированная, ни мы, романтические патриотки, со значками БГТО, думаю, как и большинство взрослых сограждан-харьковчан никаких раненых тогда так и не увидели. Откуда пришла информация, что началась война с Финляндией, — из газет ли или из черных радиорупоров, висевших в каждой квартире, я твердо не помню, как объясняли гражданам причины этой войны, кто ее начал, СССР ли или Финляндия. Помню только, что финнов называли сразу же не иначе, как «белофинны» — приставка «бело» свидетельствовала о том, что их надо трактовать как агрессоров: по аналогии с «белогвардейцами», которые, как известно, с начала «той единственной гражданской», когда империалисты с «шестнадцати разных сторон» пытались задушить молодую советскую республику, но их попытка,

к счастью, не удалась. Стало быть, и белофиннов ждет скорый сокрушительный разгром. Не поможет им ни «Линия Маннергейма», созданная ими специально для нападения на близкий Ленинград, колыбель революции. Не поможет ни коварство, ни военные хитрости — они ведь специально напяливали белые маскхалаты, чтобы неприметно по снегу подкрасться на лыжах к красноармейцам, ни снайперы, прятавшиеся на деревьях, и оттуда подбивавшие наших героев- бойцов. — Здесь я коротко пересказываю содержание тоненьких книжиц для детей, которыми я — и не только я, а вся моя детская компания — зачитывалась. Мы, конечно, были убеждены, что хитрые, коварные, подлые агрессоры — белофинны будут разгромлены, но чего же для этого пока не хватает? Что касается лично меня, я считала, что не хватает моего собственного участия — я ведь могла бы быть не только разведчицей (как моя ровесница из очередной брошюры-агитки), но и метко стрелять научилась бы, хотя пока не приходилось попробовать, и на лыжах могу проехать метров двадцать, примерно таких размеров была лыжня в нашем дворе. Любимой моей песней в эту пору была песня из фильма «Остров сокровищ», что ли? — «Если ранили друга, перевяжет подруга горячие раны его»,... «Если ранили друга, сумеет подруга врагам отомстить за него!»

Однако ж среди всех этих бредней меня иногда посещали здравые вопросы: почему это могучая Красная Армия так долго чикается с крохотной Финляндией, которую и на географической карте едва разглядишь? Почему было не сшить белые маскхалаты для наших красноармейцев? А что, на лыжах бегать никто у нас не умеет, что ли ?

Впрочем, на эти зловредные вопросы, которые у меня хватало ума не задавать взрослым, я самостоятельно нашла простенький ответ. Понятно, белофинны-то готовились нанести удар, а мы ведь мирные люди, зачем нам лыжи, если мы ни на кого нападать не собирались.

Закончилась кампания как-то незаметно для меня. Насколько я помню, ее считали победоносной для СССР — ведь «белофинны» были вынуждены подписать мир на наших условиях, отдать Карелию, из которой образовалась еще одна советская республика, Карело-Финская ССР. Значит, мы таки победили!

В 1959 году я поехала в Ленинград на лингвистическую конференцию. Поехала самочинно, без доклада, просто так, мне очень

хотелось хоть увидеть, хоть послушать доклады лингвистов, чьи работы я читала. Ни одного человека из участников конференции я не знала, Ленинград тоже увидела впервые в жизни. И вот однажды на доске объявлений в ЛГУ прочитала примерно такое объявление: кто хочет пойти в поход на Черную Речку — записывайтесь на этом листе — фамилия, размер обуви. Я записалась так, как было указано. И в объявленный день и час отправилась на сборный пункт, по-прежнему не зная ни души и не предполагая, что наступил поворотный момент моей жизни. В углу, где толпились походники, рыжий малый в брезентовой куртке раздавал желающим походные башмаки: участницы-то приехали на конференцию — кто в туфельках, кто вообще в лакированных — в обуви, непригодной для походов. И рыжий, это был Игорь Мельчук, его имя мне встречалось в лингвистических журналах, на конференции он уже читал доклад, вот в том, в чем был сейчас, в брезентовой куртке. Он повел нас на Черную речку, по ходу дела рассказывая о том, о сем — о дуэли Пушкина... «А вот здесь, — говорит он, — проходила знаменитая «Линия Маннергейма», откуда белофинны собирались брать Ленинград... — и понес всю ту ахинею (надо сказать, что Мельчук — в точности мой ровесник, стало быть, прошел такую же идеологическую обработку, как и я), с которой я распростилась к своим 19 годам. Мы с ним маленько поспорили. Не помню, кто в этом споре одержал верх, да это, по-моему, теперь и неважно. Этому же походу я обязана одним из ценнейших достижений моей жизни — знакомством, а потом и дружбой с Симой Никитиной, мне кажется, мы ней сошлись по душевному родству. Об этом я, может быть, более подробно расскажу в другом месте.

Дальше произошел разговор, не имеющий отношения к финской войне, для меня же сыгравший колоссальную роль. Игорь спросил: «Так Богораз — это Вы? А я все думал — мужчина или женщина?» Я ответила: «Легко могли догадаться — там же указан номер походной обуви 37» Мое объяснение произвело на Мельчука такое впечатление, что он впоследствии всегда покровительствовал мне в лингвистике: рекомендовал на кафедру структурной лингвистики в Новосибирский университет, где я благополучно работала три года; наверное, помогал бы и сейчас, если бы я по обстоятельствам моей жизни не оставила бы науку навсегда, о чем до сих пор жалею.

ЭВАКУАЦИЯ

Лето 1941-го застало меня и сестру Аму в Москве, вернее, под Москвой, на даче у тети Эти. Отправив нас, мама осталась в Харькове на неделю — другую. Она должна была еще доработать до отпуска. Мы с Амкой и Леной участвовали в перевозке вещей, в пригляде за Ирккой, которой было тогда около 2-х лет. А еще тетя Этя отправила меня с Амкой в справочную на Лубянке — может, удастся что-нибудь разузнать об Амкином отце — дяде Яне; о нем после ареста ничего не было известно. Про тетю Рахиль мы знали, что она из ростовской тюрьмы отправлена как ЧС в ссылку в г. Абан (это где-то под Красноярском). Про дядю нам сказали, что он умер «от разрыва сердца». Ни где, ни когда — ничего этого не сообщили. И даже никакой справки не выдали — так, на словах сказали. И все. Амка была в таком шоке, что и не могла задать еще какие-то вопросы. Да и все равно они остались бы без ответа. Вскоре после этого Амку отправили к матери в Абан, где она планировала провести летние каникулы. Приехала моя мама, и буквально на другой день после ее приезда объявили, что началась война. Тут же взрослые, всполошившись, собрали вещи и отправились обратно в Москву. Я-то, какой с меня одиннадцатилетней спрос — в душе все время распевала «Если завтра война... ..весь советский народ, как один человек, за свободную родину встанет» — и, конечно, себя видела этим самым «одним человеком». Но даже взрослая моя мама засобиралась в Харьков — не думаю, что она предполагала быть чем-то необходимой и полезной в этом «смертном бою». Хотя — как знать, одним из ее аргументов в пользу возвращения был тот, что «какие сейчас могут быть отпуска? Я хочу и должна быть вместе со своими учениками».

В итоге мы попали в эвакуацию на Волгу, в Сызрань. Почему-то не переименованный большевиками, как он был Сызрань, так и остался. Я была очень активной пионеркой. Еле дождалась, пока мне исполнится 14 лет, чтобы вступить в комсомол. Тогда в 14 принимали. И была очень активной комсомолкой. Хорошо помню, как испытывала невероятное напряжение патриотических чувств. Просто острое такое ощущение, что вот если бы я была сейчас на Украине, я бы ушла в партизаны. Сделала бы я это или нет, неизвестно, конечно. Но вот порыв такой был.

Первое, что мы сделали, еще с другими девочками, одноклассницами, в свои 12 лет — мы пошли в райком комсомола и сказали — дайте нам задание тимуровское. Мы его выполним. И эти идиоты дали нам задание. Нас послали за 8 км от города, к аэродрому, где жили семьи военных летчиков. Пойти узнать, что с такой-то семьей.

Первая военная зима была невероятно суровой. Мы, все эвакуированные, — совершенно раздетые. И вот мы раздетые перли по морозу, не зная дороги, приезжие ведь. Обморозилась и я, и другие девочки тоже. С тех пор у меня обмороженные ноги, руки. Я уже не говорю о щеках.

Я приехала из южного города. У меня никогда не было валенок, в Харькове валенок не носили. У меня были резиновые ботики, из которых я уже выросла к тому же. И я их носила на босу ногу. И вот в этих резиновых ботиках я эти 8 км по приволжской степи в 42-градусный мороз. Тех, кто нам дал это поручение, совершенно не интересовало, можем ли мы его выполнить. Причем, как потом я узнала, на этот аэродром ходила машина.

Когда мы туда пришли, — мы заблудились, конечно. Школа тогда работала в три смены, мы пошли после третьей смены... Пока мы дошли, мы оказались в полной тьме и не знали, куда идти. Причем в какой-то момент мы увидели — где-то горит огонек, пошли туда на огонек, а там собаки привязаны. Мы не смогли даже подойти к дому. После чего мы все трое — нас три девчонки были: одна девочка из Киева, одна из Смоленска и я — мы просто разревелись, у нас слезы замерзали на щеках. Но все-таки дошли до аэродрома. Оказалось, что наша помощь абсолютно не нужна. Там, действительно жила семья летчика — трое детей и жена. Жена умерла. Трое детей. Они говорят — так неужели же дети останутся без призора, они же не на улице остались, в своей же части остались. Нас посадили в машину, укутали какими-то тулупами и отвезли обратно в город.

И тем не менее, вот этот вот порыв к общественной работе очень долго во мне сохранялся. Активность общественная, видимо, была в крови. Ощущение связанности своей с обществом, и ответственности за то, что происходит в обществе. Это очень рано проявилось. Другое дело, куда оно было направлено, как и кем использовалось.

Вот появляется из комитета комсомола какая-то барышня лет 18-20, наверное, и говорит нам, девчонкам-пятиклассницам: надо

идти разгружать баржу с лесом на реке. И мы разгружали и очень гордились этим. Тогда же ребяташки моего же возраста работали на военных заводах. А я гордилась просто тем, что я справляюсь с этим делом. Может быть, оно было и не по силам, но дело в том, что у нас в роду папином физическая сила — это родовое.

Это повторилось, когда я оказалась в ссылке. Оказалась грузчиком. И я очень была горда тем, что я справляюсь с этой работой. Но это был долг силе и выносливости. Вот, значит, баржу разгружали, я уже не говорю про то, что нас посылали пропалывать поля, которые, конечно, бессмысленно было пропалывать. Ну, поле не прополешь. Можно грядку прополоть. А то, значит, пропалывать поля. Потом на уборку вязать снопы, чего я совершенно не умела — городская девочка. Пожалуй, зародилось именно тогда сомнение какое-то... Зачем посылают делать заведомо дурную работу? Но осознано оно было значительно позднее.

Мои университеты

ХИРОСИМА

В 1945 в начале лета в Харьков приехал из Воркуты папа — как я позднее узнала, приехал тайком: ведь у него были «минусы». Это значит, что не только проживание, но даже въезд в некоторые города ему был запрещен, хотя он уже давно освободился, стал вольняшкой. Но вот «минусы» сохранялись. Его приезд был рискованным предприятием. Когда два года спустя таким же образом в Киев поехал Каплер, его таки отловили, и он получил новый срок. Тем не менее, папа пошел на этот риск: в августе мне исполнялось 16 лет, и он хотел познакомиться со мной — взрослой девушкой, я как раз закончила школу и решала, чем заняться дальше.

Лет-то мне было уже достаточно, чтобы считаться сознательным человеком, но в голове и в сердце гулял ветер. Я не понимала и не осознавала, какой опасности подвергал себя папа, ни он, ни мама не посчитали нужным просветить меня на этот счет. Мы с папой много гуляли по Харькову, заходили в большие магазины, наверное, папа хотел подыскать мне подарок ко дню рождения. В это время в Харькове на людных улицах часто проводились облавы, толпу оцепляли, у всех проверяли документы, я видела, что папа постоянно настороже, чего-то боится, однажды он у меня на глазах вынырнул из оцепления и юркнул в ближний подъезд. Меня такое поведение отца шокировало, я посчитала отца трусом. Трусость я считала позорным качеством, еще во мне было живо чувство стыда, мучившее меня с начала войны — другие отцы воюют на фронте, а мой отсиживается где-то в безопасной Воркуте. «Вообще эти евреи умеют устраиваться»...

И я стала избегать прогулок по городу. И тогда папа отменил их, видимо, решив, преподнести мне подарок сосем другого свойства — как я позже стала понимать, отнюдь не более безопасный для

себя. Он купил нам обоим билеты в консерваторию на фортепианный концерт, помнится, Рихтера. К музыке я всегда была абсолютно равнодушна, поэтому подарок приняла без восторга.

Концерт должен был состояться 6 августа. Зал был переполнен, я не столько слушала музыку (даже не помню, что исполнял маэстро), сколько смотрела на черный лакированный рояль, на летающие над клавишами белые руки – зрительное впечатление оказалось действительно очень сильным. Тогда я впервые поняла, что воспринимать музыку могу, но не как все люди, а только глазами. Я замороженно глядела на кисти музыканта, отраженные черным зеркалом рояля, как вдруг и картина исчезла, и музыка прекратилась. Перед роялем появился какой-то человек в обычном, деловом костюме, взмахнул руками и возгласил приблизительно следующее: «Чрезвычайное сообщение! Сегодня США сбросили мощную бомбу на японский город Хиросиму!» Он говорил еще что-то, совсем немного, что-то об атомной бомбе и что город разрушен дотла, в живых не осталось ни одного японца; в первые минуты зал замер, а потом, как мне кажется, разразился аплодисментами. Мне тогда показалось, так вспоминается и сейчас: аплодисменты выражали восхищение и торжество. «Так и надо самураям, японским фашистам!» – эти чувства зала, тогда разделяла и я. Только некоторое время спустя, когда стали известны (из газет и по радио) некоторые детали происшедшего – мое отношение к этому событию стало меняться, не сразу, а постепенно. когда стало известно, что в большом, густо населенном городе от людей остались лишь тени на стенах. Я так живо почувствовала, мне казалось, сама увидела эту страшную картину; и сейчас, вспоминая о Хиросиме, кажется, вижу этот враз опустевший город, населенный только теньями. К тому же в официальной пропаганде прорезались две трактовки причин, для чего Америка предприняла эту страшную акцию: 1) чтобы испытать возможности нового оружия, 2) чтобы не дать СССР войти в число победителей на Востоке. А так – японский фашизм побежден Америкой, которой, мол, нужны эти лавры победителя, и СССР тут не при чем. Я, как уже говорила, вполне доверяла официальной пропаганде. Позднее я услышала объяснения противоположной стороны: мол, да, жертвы колоссальны, но если бы не атомные бомбы, жертвы были бы еще большими.

Но никакие трактовки и объяснения никогда не могли стереть из моей памяти представление, о котором я сказала выше. Может быть,

именно под его влиянием у меня возникла четкая, оставшаяся навсегда убежденность: никакими стратегическими, тактическими, а тем более, политическими или арифметическими подсчетами нельзя оценивать решение проблем, решение, ведущее к массовой гибели людей.

ИНТЕРВЬЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ»⁴

Вы спрашиваете, какое событие в моей жизни наиболее кардинально повлияло на мое мировоззрение.

В этом отношении наиболее сильное впечатление на меня произвела поездка на Воркуту в феврале 1947 г. Именно она буквально перевернула мое сознание.

До этой поездки я была вполне стандартной советской девушкой: «враги народа», «пятая колонна», «если враг не сдается — его уничтожают», «лес рубят — щепки летят». Эти формулы заполняли мой лексикон и мое сознание. Их безусловная истинность, единственная на все времена и на все жизненные коллизии не вызывала у меня ни малейшего сомнения. Сомневаться ни в чем не хотелось — не было нужды, да и, вероятно, я инстинктивно чувствовала, что задумываться опасно: ведь рискуешь тем, что выпадешь из монолитных рядов народа.

Мне тогда еще не было 18-ти лет, и весь мой жизненный опыт исчерпывался школой и патриотическим подъемом Великой Отечественной войны.

А на Воркуту я поехала после первого семестра в университете — в гости к моему отцу Иосифу Ароновичу Богоразу. Он там отбывал свой пятилетний срок заключения. После окончания срока он остался там же на положении вольнонаемного — начальником аптекобазы Воркутлага. Там он познакомился и женился на Ольге Григорьевне Олсуфьевой (Алле Зиминной — это ее литературный псевдоним). Она, как и отец, отбыла свой срок заключения и осталась на Воркуте: возвращаться-то обоим было некуда.

И вот я, рьяная комсомолка, попадаю в дом «ушных» лагерников. Казалось бы, у нас не может быть никаких точек соприкосно-

⁴ 17 сентября 1998 г., рубрика «Анкета».

вения. Отец и мачеха проявили максимальный педагогический такт. Они ни в чем не стали меня переубеждать, не спешили перекрестить в свою веру, навязать мне свой жизненный опыт. Возможно, оба вспомнили каждый свою молодость, может быть, такую же бездумную, как у меня.

В их дом, дом благополучных на тот момент «вольняшек» приходили их друзья — и такие же вольняшки, как они, и расконвоированные заключенные. Среди последних я помню киносценариста Алексея Каплера — автора сценариев знакомых мне фильмов «Три товарища», «Ленин в Октябре», «Ленин в 18-м году» (правда, я знала эти фильмы без имени сценариста). На Воркуте Каплер заведывал фотографией и там же и жил. Таким же бесконвойником был художник воркутинского театра, и его закуток в театре был увешан его работами. Бывал у отца его лагерный друг, 90-летний аптекарь откуда-то из западных областей, присоединенных к СССР в 39-м году. Он говаривал: «Советская власть своим приговором продлила мне жизнь — к моим 90 годам прибавила 10 лет срока; и я ведь должен подчиниться приговору!» Чаше других заходил бывший коммунист из Австрии Финик. Финик (домашнее прозвище) рассказывал, как ехал в СССР в эмиграцию — с несколькими чемоданами хороших своих вещей, и в поезде подбадривал других эмигрантов-попутчиков, одному обещал по приезду отдать один костюм, другому — другой, третьему — теплые белье, необходимое в холодной России; а сам вскоре оказался в лагерном бушлате. Все это рассказывалось с юмором по отношению к себе самому. Только что освободившаяся заключенная Женя — ч/с (член семьи, т. е., жена «врага народа»). Женя со страшным волнением готовилась к встрече со своим сыном, которого во время ее заключения воспитывала ее сестра: каким он вырос? захочет ли признавать родную мать? Именно поэтому она присматривалась ко мне, к моим отношениям с отцом. Потом я узнала, что волновалась она не напрасно. Сын не захотел не только жить с матерью — да и где? Где-нибудь за сто-первым километром от Москвы. Он, встретившись, не стал с ней даже разговаривать. Даже когда она тяжело заболела, не навестил ее, не простился перед ее смертью.

Еще мне довелось познакомиться — правда, довольно бегло — с красавицей-китайкой, комсомолкой Ли, и с негром из США, тоже эмигрантом. Ли была даже не бесконвойница, а заключенная,

она работала на аптекобазе лаборанткой, и на работу ее доставлял конвой. Я увидела, как в театр доставляют под конвоем артистов-заключенных. Однажды мачеха повела меня в театр на премьеру «Травиаты». Роль Травиаты исполняла жена какого-то большого лагерного начальника, холеная, сытая, пышущая здоровьем дама, которую даже грим не мог превратить в страдающую туберкулезом героиню. Альфреда же, ее ветреного возлюбленного, играл впервые появившийся на сцене, только что освобожденный от общих работ на шахте, изможденный, буквально зеленый, еще наголо остриженный (наверное, ему еще не успели подобрать подходящий парик), известный тенор какого-то московского театра, «подзалетевший» одновременно с Руслановой, что ли. И смех, и грех было видеть, как пышнотелая Травиата пылко кидается к возлюбленному, а тот робко отступает, испуганно косясь на зал, где в креслах восседает прибывший на премьеру супруг актрисы.

После спектакля артистов, снова под конвоем, отправляют обратно в зоны. Не все из них были «политики». Немало талантов обнаружилось и среди уголовников. Алле Зиминной, которая работала с ними, пытаясь вытравить из них уголовные манеры, специфическую жестикуляцию и преувеличенную «артистичность» исполнения, обучить правилам хорошего тона — приходилось нелегко. Среди актеров театра были и совсем вольные люди — прямой была Глебова, жена вольнонаемного ленинградского инженера-электрика Шварцмана, который добровольно завербовался работать на Воркуте. Пестрая была компания!

Но однажды на улице города я увидела и колонну каторжников с бубновыми тузами на телогрейках — вырезанными на спинах телогреек большими ромбами, залатанными материей другого цвета («на спину б надо — бубновый туз!» — А. Блок, «Двенадцать»). С дореволюционных времен это делалось для того, чтобы затруднить побег с каторги. Колонна состояла из заключенных недавнего, послевоенного набора — власовцев, военнопленных из фашистских концлагерей. Едва освободив их, на всякий случай их погнали в наши лагеря — на «фильтрацию» — не завербован ли разведкой, не служил ли немцам? Некоторых освобождали довольно скоро, а некоторым довелось провести в наших лагерях долгие годы: комсомолец? коммунист? политработник? почему тебя там не расстреляли?! еврей — не сожгли в крематории?!

Вот этих людей я и увидела с бубновыми тузами на улицах Воркуты.

Нет, не то, чтобы я моментально изменила свое представление о жизни в Советском Союзе. Но я начала задумываться и сомневаться. И не с чужих (папиных, маминых) слов, а согласно собственному разумению.

ПАВОЧКА

*Друзья мои, прекрасен наш союз!
Он, как душа, неразделим и вечен —
Неколебим, свободен и беспечен
Срастался он под сенью дружных муз...*

А.С. Пушкин

Летом 1946-го, в год моего поступления в университет, непосредственно перед началом занятий, во всех центральных газетах был опубликован доклад А. Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Ну, Жданова, так Жданова, я этого тогда почти и не заметила, скорее всего, не знала ни кто такой этот самый А. Жданов, ни что это за журналы, мне в основном были незнакомы и имена упоминавшихся в докладе поэтов и писателей. «Мы этого в школе не проходили». Но вскоре началась свистопляска. Во-первых, начался разгром упоминавшихся в докладе писателей: их перестали публиковать, навесили на них позорные ярлыки, выжимая таким образом покаянные заявления. Уж не помню, что было с журналами; «Ленинград», кажется, вообще закрыли.

Во-вторых, принялись за поиски и разоблачение таких же зловредных личностей на местах, т. е., в других городах и всяях. Харьков, культурный центр Украины, должен был не отстать в этом деле. Не помню уж, кого у нас проклинали. Кажется, у нас жил такой писатель. В дальнейшем при знакомстве он рекомендовался так: «Здравствуйте, я — пошляк Хазин».

В-третьих, как всегда в подобных кампаниях, надо было заручиться всенародной поддержкой, хотя бы поддержкой коллег по ре-

меслу. Для этого проводились собрания в соответствующих учреждениях – союзах писателей, театральных коллективах и, конечно, в учебных заведениях соответствующего профиля. Вот и к нам на факультет спустили из парткома указание: провести на всех курсах и отделениях открытые комсомольские собрания с «обсуждением» доклада Жданова.

Я тогда только что была избрана комсоргом курса: вчерашняя школьница, значит, легко управляемая, к тому же золотая медалистка. Известное дело – Партия сказала «Надо!», комсомол ответил «Есть!» После нескольких моих неудачных попыток завербовать для этого собрания докладчика посOLIDнее пришлось взяться за дело самой. И я повесила в нашей аудитории объявление: «такого-то числа состоится открытое комсомольское собрание – обсуждение доклада Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Явка всех комсомольцев обязательна». При этом я ни минуты не сомневалась, что обсуждение смогу провести. А чего сложного? В докладе сказано все, что надо. Пересказать доклад как-нибудь сумею...

Тут ко мне обращается сидевший рядом незнакомый студент. Какая-то мрачная личность в солдатской шинели с рукой на перевязи (это был Юлий Даниэль, приехавший из Москвы недели через три после начала занятий, поэтому ни с кем не знакомый): «Какой это дурак будет проводить обсуждение?» – «Это я». Он продолжает спрашивать: «А Вы читали Ахматову?» – Я честно отвечаю: «Нет, не читала» (А зачем читать-то? У Жданова, наверное, про нее все написано, как вот про Некрасова или, там, Льва Толстого или Островского в учебнике есть все, что надо знать, – «луч света в темном царстве», «зеркало русской революции» и что Маяковский – «лучший, талантливейший поэт...» и что «Девушка и смерть» – «штука посильнее Фауста Гете», и т. п.) – «А Пастернака читали?» – «Не читала». «А Зошенко?» – «Зошенко кое-что читала» – «Хотите почитать Пастернака?» – «Да, хочу». На мой ответ повлияли, наверное, уважение к раненому фронтовику, его романтический вид (вот случай продолжить знакомство с этим типом) и обыкновенное детское любопытство.

На другой день он принес небольшой серый томик. Прочитав несколько стихотворений, я окончательно растерялась. Я в них ни строчки не поняла: какая-то «намокшая воробышком сиреневая ветвь», «Призрак с ружьем на разливе души... Целься, все кончено,

бей меня в лет», «Талон на место у колонн» и т. д. (что могут значить эти непонятные цепочки слов?) Впрочем, звучат завораживающе-красиво.

Мое поэтическое образование заканчивалось Некрасовым (и то в пределах школьной программы и по школьному учебнику), да еще я знала со слов моей няни есенинское «Ты жива еще моя старушка»... и «Смерть пионерки» Багрицкого из хрестоматии старшей сестры. Перескочить от этого скудного багажа к Пастернаку мне оказалось не по силам. Но я самостоятельно пришла к выводу, что доклад Жданова не имеет никакого отношения к этим непонятным стихам. Да уж поздно было. Собрание объявлено, значит, придется его проводить.

Вначале я пролепетала что-то совершенно беспомощное, даже пересказать проклятый доклад уже не могла. Безжалостный мрачный тип (Даниэль) на пару с еще одним фронтовиком (Яном Горбузенко) буквально размазали меня вместе со Ждановым по стенке, а поддержать меня оказалось некому. Одни не хотели, другие знали не больше моего.

Примечательно, никто все же не донес ни на Даниэля, ни на Горбузенку. А ведь их легко могли обвинить в срыве комсомольского собрания и важного общественного мероприятия, и тогда это могло кончиться для них наихудшим образом, Хотя Даниэль не был комсомольцем, а Горбузенко вообще был членом партии, (впоследствии он стал даже парторгом курса). Юлик, конечно же, понял всю меру моего невежества⁵, которое я, впрочем, и не особенно скрывала и предложил мне вместе почитать Пастернака и других поэтов.

⁵ Наверное, возникает вопрос: при такой дремучей поэтической (но и с прозой дело обстояло не лучше) неграмотности — что привело меня на филологический факультет университета. В моем выборе сыграли роль несколько обстоятельств: во-первых, обыкновенное упрямство, стремление решать все самостоятельно, а не так, как хочет мама. — Мама настаивала, чтобы я поступала в архитектурный институт. Школьные учителя прочили мне научную карьеру в математике, кстати, математика все годы была моим любимым предметом. А вузовские десанты, присматривавшие именно в нашей школе, лучшей школе города, наиболее перспективных студентов для своих вузов, отобрали меня в юридический институт и на мехмат университета. Конечно, мне это было чрезвычайно лестно и приятно (я и сегодня этим горжусь), но в выборе сыграло скорее отрицательную роль. И все-таки, почему именно филфак, а не, скажем, химфак или медицинский? Литературу я не любила и не знала (пожалуй, при том же осталась

И я с головой нырнула в стихию стихов.

С этого собрания началась наша студенческая компания. Это была обычная студенческая компания. Состав ее был более или менее стабильным: Ян Горбузенко; Юлий Даниэль, мой наставник в поэзии; Юра Финкельштейн – тоже парень не со школьной скамьи, помнится, до филфака он учился в каком-то техническом вузе; Римма Белина, я – обе вчерашние школьницы; Лида Шершер – девушка постарше нас, она жила вполне самостоятельно, училась и работала, во всяком случае, подрабатывала; еще к нам прочно приклеился Володя Зархин, тоже фронтовик, в общем-то, человек чуждый нашей компании, но проводивший с нами время и сидевший в аудитории на одной с нами скамье (лавке), вместе с нами сбежавший

на всю жизнь, только что пообтерлась в окололитературной среде, читала очень мало, хотя и вне рамок школьной программы; никогда не представляла себя, скажем, актрисой или поэтессой, даже не писывала ... стихи в альбомы нежных дев. Правда, у меня были любимые писатели – Пушкин и украинская поэтесса Леся Украинка, да еще Марк Твен. Этих писателей я читала и перечитывала, многое знала наизусть, никогда не заучивая на память, что знала в детские годы, то помню и до сих пор. И мысленно сыграла в своей жизни две роли – Мавку, русалку из «Лісової пісні» Леси Украинки, и пушкинскую барышню-крестьянку. Неточно было бы сказать, что я мысленно сыграла эти роли – я просто была ими, дополняя и дописывая сюжеты в своем воображении. Итак, литературу как школьный предмет я не любила, зато я любила – просто до влюбленности нашу преподавательницу литературы, у которой до войны была любимая ученица Дина. Рахиль Лазаревна часто вдохновенно рассказывала нам о ней – как эта девушка хотела быть учительницей и преподавать литературу в школе. Дина во время войны добровольно пошла в армию и погибла, оставив по себе в сердце бездетной Рахили Лазаревны незаживающую рану. Не думаю, чтобы я просто ревновала к Дине, но я, видимо, надеялась заменить ее и тем утешить Рахиль Лазаревну. Во всем сравняться с Диной мне, конечно, не удастся, да и война-то кончилась, но я могу повторить ее хотя бы до гибели. А для этого надо пойти на филологический факультет, чтобы стать учительницей и сеять разумное, доброе, вечное...

Вот такая романтическая, насквозь придуманная судьба воображалась мне. Поступить на филфак мне, золотой медалистке, было вовсе не трудно: прием гарантирован без вступительных экзаменов. Кстати, я и тогда понимала, что медаль мне, как говорится, «натянули». Причем, именно по литературе: наверняка, мое выпускное сочинение дотягивало до пятерки, может быть, даже и до четверки. Правда, я писала абсолютно грамотно и по-русски, и по-украински. Потом, когда я сама стала учительницей, я поняла, что такой феномен – абсолютная, врожденная грамотность, как и абсолютный слух, иногда встречается, и не свидетельствует ни о начитанности, ни об общей культуре...

со скучных лекций. Мы сами называли себя «Лавочка», так нас называли и другие студенты.

Мы не были замкнутой группой — к нам нередко присоединялись и другие студенты, даже и с других курсов и отделений: Шурик Дун, очень эрудированный в филологии парень, серьезная Неля Лейкина, совсем взрослая полька Сара Рейнгольд. Она была польской комсомолкой и, когда их оккупировали фашисты, вместе со своими друзьями перешла через границу в СССР и сразу же попала в советские лагеря, а после них ей как-то удалось зацепиться в Харькове и поступить в университет. Это была молчаливая девушка, о лагерях она никогда ничего не рассказывала. Вместе с нами часто прогуливала лекции Мара Габинская, обычно она присоединялась к нашей компании со своим другом студентом 2-го курса Стасом Славичем-Приступой, который потом стал очень неплохим писателем в Крыму; я дружила с Ирой Немировской, с Симой Трескуновой, студенткой с классического отделения, с которой я прежде училась в одном классе школы — в общем, почти у каждого члена «Лавочки» был свой собственный небольшой кружок знакомых и друзей, и все они так или иначе приклеивались к основному составу Лавочки. Третьекурсницу Марлену Рахлину прочно «зачислили» в ее состав. Сейчас, когда я всех перечисляю, стараясь никого не пропустить, я понимаю, что мои старания безнадежны: пришлось бы назвать почти всех студентов филологического факультета тех лет, со всех курсов и русского, и классического отделений, а некоторых и с украинского отделения, и даже с других факультетов. Так, мы были дружны с парнем с физфака Мусиком Кагановым — сыном нашего любимого преподавателя Исаака Яковлевича Каганова. Но Лавочка, семь человек, названных здесь в самом начале, оставалась центром общего притяжения.

Что же нас объединяло? Почему к нам тянулись многие другие?

Во всяком случае, не общие научные интересы. Их ни у кого из нас не было, кроме Шурика Дуна, да и ему не с кем было их разделить, и поэтому его рассуждения на теоретические или исторические темы оставались монологами и обычно не вызывали никакого отклика. Меня, правда, уже тогда интересовала общая, теоретическая лингвистика, но я так мало знала хотя бы что-то из этой области, а, по правде сказать, и не старалась узнать побольше, была настолько невежественна (и сама понимала это), что боялась рот рас-

крыть, ощущая заранее, что бродившие у меня в сознании в полном беспорядке вопросы ни у кого не вызовут ни малейшего интереса, разве что недоумение: «Подумаешь — фонемы, морфемы! Да кому и зачем это все нужно?»

Конечно, в нашем объединении немалую роль играли романтические отношения: парочки возникали, распадались, образовывались новые. Иногда невозможно было понять, кто с кем «дружит», как теперь говорят, кто на кого «глаз положил». Тут тоже были свои центры притяжения: дамский угодник Юлий Даниэль; Юлюня Кривых, красивый, как молодой бог; среди девушек окутанная притягательным романтическим флером поэтесса Марлена Рахлина (ее жених поэт Борис Чичибабин в это время сидел в лагере — за стихи).

Все в нашей компании тянулись к поэзии: кто-то сам сочинял стихи, кто-то знал много стихов тех поэтов, чьи имена были под запретом или полузапретом (можно — от сих до сих), кто-то знал хотя бы сами эти имена,

Но дело не в запретности тех или других стихов, а в самих стихах. С одинаковым вдохновением читали и признанных советских поэтов — Тихонова, Алигер, Асеева, Багрицкого, Светлова; меньше — Гумилева, Есенина, Ахматову, Блока, больше, Цветаеву, Пастернака; почти не читали Мандельштама: ритмы не те, для этих стихов нужна более камерная, более интимная обстановка, мы же читали стихи, бродя по улицам, по университетским коридорам, нередко вместе, можно сказать, хором, один начинал, кто-то подхватывал. Как песню пели...

Нам было мало широких пустых ночных харьковских площадей и улиц, но недолго доехать трамваем до парка, до лесопарка, только подалее от входа, от казенной бодрой музыки. Где-нибудь перемахнуть через забор и вдруг выйти на лесную поляну: «Марта, Марта, надо ль плакать, если Дидель ходит в поле, если Дидель смотрит в небо,... свищет птицам и смеется невзначай...» «Здесь тьма и лень, здесь полон день весной и тишиной...». Нам принадлежал еще и зоопарк в самом центре города, куда мы смывались с лекций. «...Лошадь, не надо, послушайте, лошадь... Знаете, все мы немного лошади...». Иосиф Гольденберг, третьекурсник, по прозвищу Граф, подходя к тесной клетке, картавил: «Как зве'ей соде'жат, сволочи...»

В стихах была и несостоявшаяся Испания, и неведомая Эллада.: «Плещет на бреге морском волна голубым перламутром. Древнее

море Гомера в сказочный пурпур одето...», «Вышла из моря младая с устами пурпурными Эос...».

Ах, эти стихи! «По рыбам, по звездам пронесит шаланду...», «...Или, бунт на борту обнаружив, из-за пояса рвет пистолет, так, что сыплется золото с кружев...», «Мы разучились нищим подавать, дышать над морем высотой соленой...», «А в походной сумке спички да табак, Тихонов, Сельвинский, Пастернак!», «Закат поднимался и падал опять, и лошадь устала степями скакать...», «Гренадская волость в Испании есть...»

В стихах была свобода, вольное дыхание, восстановленный единый мир – пространства и времени.

Если бы мой друг Толя Якобсон прочитал это, я знаю, он зарорал бы: «Ну, старуха, охренела ты, что ли?! У Багрицкого, у Тихонова – свобода, вольное дыхание?! Особенно в этих строчках: – «Он расскажет своей невесте о веселой, живой игре, как грошил он дома предместий с бронепоездных батарей»; или в этих: «А век поджидает, как часовой, иди, и не бойся с ним рядом стать... И если он скажет «Солги!» – солги, и если он скажет «Убей!» – убей.»

И все-таки, и все-таки... Даже теперь, лет через двадцать после того, как я прочитала статью А. Якобсона «О романтической поэзии»⁶, статью в которой автор акцентирует внимание именно на этих, приведенных выше цитатах – даже и теперь я снова повторю: «в стихах была свобода, вольное дыхание». Более того, я думаю, что Тоша, выслушав мой панегирик, согласился бы со мной и даже объяснил бы, в чем моя правота. Но Тоши, увы, уже нет, значит, придется мне самой в меру собственного понимания справляться с этой задачей:

Конечно, вольное дыхание мы – во всяком случае я – чувствовали не в этих словах (в которые мы не очень-то вслушивались и, тем более, не вдумывались), а в особом строе стихов этих поэтов. В их ритмах, в своеобразном мире каждого из них. Пожалуй, более внятно я не умею объяснить свою мысль.

Здесь придется сделать небольшое отступление от воспоминаний о лавочке, включить в них отрывки, относящиеся к совсем дру-

⁶ Вначале я узнала эту статью отдельно, саму по себе, позднее она вошла в книгу о Блоке «Конец трагедии»(...) под названием «О романтической идеологии», а теперь опубликована в первоначальном, более полном варианте и в книге «Почва и судьба».

гим временам. Помню, как, едва познакомившись с Раисой Борисовной Лерт, я как-то просидела у нее всю ночь — мы обе совсем отвлеклись от «дела», которое нас свело, а наперебой читали стихи этих самых поэтов.

А теперь надо сказать, в чем же прав Тоша, неместно говоря об этой поэзии. Вместе с энергичными ритмами, с киплингианством в души пролезала и поселялась там — поскольку это место, наверное, было пусто — романтическая, р-р-революционная идеология, в которую метил Тоша. Происходила незаметная подмена ценностей.

Мой старший сын, Саня, хоть и принадлежит к другому поколению, но от меня и от отца перенял, наверное, наше отношение к той литературе, которая больше или меньше сформировала нас. Мы, конечно, подсовывали ему книжки, которые оказали на нас наибольшее влияние в нашем детстве. Помню, когда он попал в больницу с подозрением на аппендицит я передала ему роман Войнич, «Овод», слава Богу, не «Как закалялась сталь» и не «Молодую гвардию». Артур, герой Войнич, был кумиром моего поколения. Мне тогда не случилось поговорить об этой книге с Саней. Но, кажется, он воспринял «Овода» так же, как воспринимала его я. А через двадцать лет, когда Паше, младшему моему сыну, тоже было лет девять, я проделала с ним тот же номер. Но с ним этот номер дал прямо противоположный задуманному эффект.

Вот как-то едем мы — Саня, Паша и я — в электричке из Александрова в Москву — и старший брат ведет с младшим поучительный разговор: мол, что читаешь? — «да вот, только что прочитал «Овод». — «Ну, и что ты думаешь о книге, о герое?» — «Да мне Артур очень не нравится.» — «Как?! Почему? Ведь он вон какой героический, мужественный юноша!» — «Он мне не нравится: он ужасно жестокий. Мучил Джемму, не пожалел и отца». Саня пытался объяснить жестокость Артура обстоятельствами места, времени, его жизни, а Паша, игнорируя аргументы, только повторял: «жестокий, жестокий»... Вот так сталкиваются мировосприятия поколений, непосредственно следующих друг за другом.

Да ведь и романтическому Багрицкому, тому самому, который писал: «Арбуз с нарисованным сердцем берет любимая мною рыбка. И некому здесь надоумить ее, что в руки взяла она сердце мое»; — ему же принадлежит и хрестоматийная «Смерть пионерки»:

*«Не противься, Валенька,
он тебя не съест,
золоченый, маленький
твой крестильный крест.
...На больничный коврик
упадает крест.
А внизу склоненная
изнывает мать.
Детские ладони
ей не целовать»*

Эта Валенька — чем не российский Артур двадцатого века? «Гвозди бы делать из этих людей!»

Но, признаться, и во времена моей влюбленности в Багрицкого эти строчки как-то смущали меня, царапали сердце, что ли. Так же, как еще году в 45-м, с вечера, посвященного молодогвардейцам, я ушла возмущенная: там выступали матери Вали Борца, Олега Кошевого и других — и говорили, как они гордятся героической гибелью своих детей. Это было так античеловечно, так омерзительно, что проняло даже меня, абсолютно правоверную комсомолку.

Недавно, прочитав изданную «Мемориалом» книжку «Мы предчувствие... предтеча...» (Л. Поликовская, Москва, 1997) о чтении стихов в Москве, на площади Маяковского в 50-х — 60-х годах, я поняла, что у нас в Харькове то же явление имело место гораздо раньше, еще в конце 40-х — начале 50-х. Наверное, можно говорить не только о сходстве, но и об отличиях этих двух параллельных явлений: мне кажется, что стихи, привлекавшие нас в Харькове, были менее политизированы, чем те, что собирали любителей поэзии на Маяковке; и, по-моему, они были более высокого поэтического уровня — и не только Гумилев или, скажем, Светлов, Багрицкий, но и вполне самостоятельные, но уже состоявшиеся к тому времени Рахлина, Чичибабин, Герасименко (он писал стихи на украинском языке — по-моему, очень талантливые). Словом, то, что происходило на Маяковке, «мы уже проходили». Может быть, поэтому Маяковка прошла совершенно мимо моего внимания, не оставив о себе никакого впечатления. «Ну, собираются и бузят какие-то графоманы», вот «были люди в наше время — не то, что нынешнее племя...»

Читали не только стихи. Алик Басюк шпарил наизусть Писарева. Впрочем, его мало кто слушал.

Конечно, прав будет тот читатель, который, прочитав описание нашей жизни в 1946-м – 47-м гг., скажет: «Свежо предание, да верится я трудом... Ведь я наслышан о подавлении всяческой свободы в те годы».

Современному читателю, может быть, странно будет прочитать, что нас объединяло еще одно, отграничивая собственно Лавочку от всех других, примкнувших к ней: **МЫ ВМЕСТЕ ЕЛИ**. Не то, чтобы ходили в столовку – даже не помню, были ли тогда какие-нибудь общедоступные столовые. Просто в один из перерывов между занятиями доставали свои сумки, разворачивали принесенную из дому снедь, кто-нибудь поднимал очередной бутерброд: «Кому?» – «Лидочке!» И Лидочка получала этот уже обобществленный бутерброд, точно такой, какой принесла с собой сама. Надо сказать, что наша пища не отличалась ни изысканностью, ни разнообразием. Иногда это был кусок хлеба со шматом сала, и каждый день, у каждого, хлеб, намазанный толстым слоем сливового повидла. Дело в том, что в нашем все-таки южном городе во всех семьях по осени готовили припасы на зиму. Как правило, ведрами варили повидло из «угорки» – это такая слива с хорошо отделяющейся косточкой. Расчет простой: слива на юге дешевая, ее продают прямо на улицах ведрами. Для повидла требуется мало сахара, и оно в глиняных глечиках-кувшинах сохраняется всю зиму без всяких там холодильников (их тогда ни у кого еще не было). Такой припас был буквально в каждом доме. Это и был наш обед. Изредка выпадали и пиршества. Дядя Юлика Даниэля работал мастером на кондитерской фабрике, и когда Юлик приходил к дяде на работу, сердобольные работницы насыпали студенту-фронтовику полную сумку шоколадного лома. Юлик доставал эту свою полевую сумку и вываливал ее содержимое на клочок бумаги. А отец Алика Басюка тоже где-то такое работал, и у него дома скапливались обувные заготовки, кожаный раскрой. Конечно, до того, чтобы есть его, как таковой, не доходило. Но если Алику удавалось стащить у отца пару заготовок, он загонял их подходящему человеку, и тогда – «Айда в пивную!». Он скупал все жетоны на пиво и поил всех желающих, т. е., фактически весь факультет. Пивная на некоторое время становилась недоступной для простых смертных: жетоны-то все скуплены – студенты пируют! И еще раз в

месяц, в день получения стипендии мы все гуртом отправлялись в кондитерскую, покупали на всех «гаспароны», это такие шоколадно-вафельные конфеты, производства местной кондитерской фабрики, вероятно, что-то вроде нынешних сникерсов, что ли. Само название чего стоит — гаспарон! Тоже напоминало Испанию.

Смысл и значение таких вот совместных трапез еще не исследован — вероятно, они ведут начало с первых христианских общин. Это явление на практике хорошо знакомо нынешним заключенным и, наверное, солдатам. А интересно бы понять, в чем тут дело. Ведь недаром же в израильских кибуцах такое значение придается коллективному, в общей столовой, приему пищи.

Вот так: стихи, бутерброды с повидлом, юношеские романы — все это вместе определяло особую атмосферу моих студенческих лет. Но, думаю, главное, что многих притягивало к нам, — это дух вольницы, своего рода казачья атмосфера. Никто не главный, нет никаких указчиков. Конечно, были обычные студенческие проказы (так, однажды кто-то из парней влез на отполированный мраморный цоколь памятника Шевченко на главном парке в центре города и вставил в руку бурлака, лежащего на постаменте в позе страдания, пустую водочную бутылку — она, как отмеренная, поместилась между ладонью и открытым ртом шевченковского героя; а кто-то другой накинул на плечи несчастной Катерины, поверх гранитной шинели, свою старую шинелку. «Наконец нашелся отец байстрюка!» (незаконного ребенка Катерины) — воскликнул кто-то. В другой раз наши парни гуляли не в университетской пивнушке, а в подвальчике на Сумской. И вот открываются двери подвальчика, и процессия выносит на плечах Мусика Каганова, а Юра Финкельштейн басом поет над его телом отходную.

Иногда подобные шутки все-таки заканчивались довольно серьезно. На комсомольском собрании 2-го курса — к счастью, не нашего — разбирали «хулиганскую выходку» студента-комсомольца Славича-Приступы. Возвращаясь откуда-то поздним вечером со своей девушкой, Марой Габинской, он повстречал троих солидных мужчин. Ему показалось, что они как-то «не так» на Мару посмотрели. И он им скомандовал: «Ложись!» Трое здоровых мужиков легли на грязный, мокрый ввечеру тротуар Совнаркомовской. Это оказались преподаватели марксизма из соседнего института. Им удалось установить личность хулигана. Стас оправдывался: «А чего ж они легли?

Я пошутил. Их же трое, а я — один». Весь курс хохотал. А потерпевшие, спасая свою репутацию перед собственными студентами, отказались от претензий. Стасу не вынесли даже выговора. Комсомольский выговор — наказание достаточно серьезное, а уж, не дай Бог, исключат из комсомола, тогда — однозначно — выгонят из университета «с волчьим билетом», т. е. без права учиться в любом другом вузе.

Помню еще одну комсомольскую разборку на украинском отделении. За какой-то проступок осуждали студента Мушника. По ходу дела ему задают вопрос: «Які ж у Вас, радянського студента, погляди?» Он, перепуганный, отвечает: «Та я взагалі ніяких поглядів не маю» («Я вообще не имею никаких взглядов»). Кажется, эта странная самохарактеристика тоже не имела необратимых последствий. Но слова Мушника «ніяких поглядів не маю» вошли в факультетский фольклор.

Бывали и шутки более интеллектуального свойства. Как-то в Харькове происходил велосипедный кросс, и харьковская газета объявила по этому случаю конкурс на «кращій літературний твір». Юлик Даниэль решил принять участие в этом конкурсе, но только так, чтобы было посмешнее: сочинил акростих, в котором прочитывалось «мерзкая и дикая халтура». В свой хулиганский замысел он посвятил нас. Подал свой «твір» на конкурс, я помню только его начало: «Машины легкой вспыхивают спицы, Ездок проворный весел и плечист, Рукою тронут руль засеребрится...» Дальше — забыла. Вот смеху-то было, когда этот «вірш студента університету» был-таки опубликован в газете и на конкурсе занял второе место. Наглец Даниэль еще и возмущался: «Как это?! Почему не первое?!» Его награду, помнится, рублей 300, — это чуть больше студенческой стипендии — мы дружно проели на гаспаронах или пирожных. Но тем дело не кончилось. Его почин завел всех остальных, и мы принялись сочинять стихи-пародии на велосипедную тему. Мы знали и любили сборник пародий «Парнас дыбом», одним из авторов которого был наш преподаватель общей лингвистики А.М.Розенберг. А мы чем хуже? Действительно, некоторые наши пародии были, пожалуй, не хуже тех, классических. Получился сборник «Велосипедная эпопея». К сожалению, в перипетиях нашей жизни он бесследно затерялся, а в моей памяти застряло несколько случайных строчек. Например: «Светлым видением стали Встал предо мною вело...» (Северянин?)

«Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед». — Раз-ве можно ездить задом наперед? Совершенно ясно, что Чуковский врет. Врать и мы сумеем, и не так загнем: белое чернеет, солнце меркнет днем, кушать нужно мало, а побольше спать...» и т. д.

Кроме того, мы все вместе подрядились приводить в порядок библиотеку какого-то харьковского института: во время войны большая часть институтских библиотек была варварски разграблена, в остальных книги перепутаны, каталоги сожжены, Мы должны были составить заново каталог и расставить уцелевшие книги в правильном порядке. Бригадой руководила Лида Шершер — библиограф со стажем, такой работой она занималась еще до университета. Несмотря на свойственную всем остальным безалаберность, под руководством Лиды мы добросовестно справились с задачей. Работу завершили в конце осени 47-го года. Приблизился вожделенный день получения заработанных денег, и тут поползли слухи о грядущей денежной реформе. Граждане ринулись в магазины — скупать все, что можно было еще найти на полках, — часы, картины, продукты. А когда нам наконец-то выдали деньги, все магазины и барахолка были абсолютно пусты. Купить оказалось возможно только абонемент в филармонию, на полгода. Что мы все и сделали. Таким образом, и я стала обладателем абонемента на все имеющиеся быть концерты. Для меня это было, как говорится, что рыбе зонтик: до этого в жизни я не посетила ни одного концерта, и даже «Чижики-пыжика» распознавала с трудом. А тут пришлось ходить на концерты. Мне запомнился и понравился единственный концерт, на котором исполняли «Ракочимарш» Берлиоза, не столько музыка, сколько антураж концертного зала: музыканты в белых манишках, дирижер, извивающийся перед ними и энергично взмахивающий палочкой. Но друзьям сознаться в том, что я полный профан в музыке (каковым осталась и по сей день), я так и не посмела.

Ну, ладно. Стихи, работа, студенческие проказы — а как же с гранитом науки?! Нам и в голову не приходило грызть его. Осмелюсь утверждать, что никакими науками никто из нас вообще не занимался. Ребята постарше знали художественную литературу, думаю, лучше большинства наших преподавателей. А темные валенки вроде меня ловили обрывки знаний из их разговоров, не сознаваясь в собственном невежестве. Я слушала курс общей лингвистики в изложении Александра Моисеевича Розенберга, русский язык (все разделы

этого курса) у нас читали Баженов и Финкель, авторы учебника. По правде говоря, довольно посредственно читали. Не прогуливая я также курс античной литературы — его читал на украинском языке наш декан Вербицкий — просто мне нравилось, как красиво, артистично он читал лекции. И вся Лавочка дружно посещала лекции по западной литературе, которую превосходно читал Исаак Яковлевич Каганов. Нередко, прогуливая лекции, мы паслись в кабинете западной литературы, которым заведовала Вера Алексеевна Пычко, взрослая, замужняя женщина, но тем не менее почти что член нашей компании. Остальные преподаватели были безнадежно серыми людьми, некоторые стали героями факультетских анекдотов. Например, о преподавателе фольклора Кнейчере рассказывали, что в периоды любых идеологических кампаний он пристраивался в сумасшедший дом в качестве пациента, тем и спасался от «чисток». Но и лучшие преподаватели факультета вынуждены были сообразовываться с общим весьма низким уровнем студентов. Приблизительно третью часть нашего курса составляли пышнотелые, разодетые в крепдешиновые платья генеральские дочери, поступившие в университет, скорее всего, по благу.

Поэтому чтение любого литературного курса сводилось обычно к тому, что преподаватель пересказывал содержание того или иного произведения — «Отцов и детей» Тургенева, «Ромео и Джульетты» Шекспира и даже Достоевского и Пушкина.

Вот и вся наша наука.

Но все же, так или иначе, доходило дело до сдачи зачетов и экзаменов, до написания курсовых работ. Эта студенческая страда проходила обычно так.

У студентов-старшекурсников добываем старые конспекты (каждый год читается одно и то же, иногда даже в тех же словах и выражениях). Собираемся все вместе дома у кого-нибудь, а в хорошую погоду на старом заросшем городском кладбище. Вокруг этого кладбища понастроены студенческие общежития разных институтов. Сначала кажется, что кроме нас здесь никого нет, только над кустами висит какой-то неясный гул. Постепенно улавливаем — на соседней могилке студенты-технари долбят свой сопромат. Из-за другого куста доносится звучная латынь. Наши?! Нет, это готовятся к экзамену медики. Нам тоже сдавать латынь, но по другому учебнику и другой хрестоматии. Объединиться с медиками не удастся.

Приступаем к фольклористике. При всем нашем желании из конспектов вычитать ничего не удастся, кроме общих фраз, и тогда применяем другую методику: узнав, что существуют такие фольклорные жанры — частушки, поговорки, сказки и т. п., мы принимаемся сочинять то, и другое, и третье. Чем не фольклорные произведения? Народ в данном случае мы и есть. Главное — чтобы было современное содержание. Ну, что-нибудь про нерадивого колхозника, про высокий урожай, осторожно можно и про районное начальство. Завтра блеснем перед Кнейчером своими познаниями в современном фольклоре, и он, удовлетворенный, поставит всем нам пятерки.

Так, теперь можно приняться за логику. Находим в учебнике какое-нибудь определение чего-нибудь. Главное, чтобы оно было из классиков марксизма, со ссылкой на том и страницы. Все дружно его заучиваем. А на экзамене происходит вот что: преподаватель с изумлением слышит, как семеро студентов (надо только постараться, чтобы наша компания шла вразбивку), что бы ни значилось у кого в билете, начинают свой ответ с одной и той же фразы «Ленин сказал, что дать определение это значит — подвести данное понятие под другое...». И т. д. Далее том и страница, некоторые особо старательные, добавляют еще и какое издание. Затем, «исходя из сказанного,...» дальше можно переходить уже к первому вопросу любого билета. Обалдевший преподаватель все равно уже ничего не слышит и только бормочет: «Следующий вопрос...». Значит, снова та же цитата, том, страница. И так до трех раз. Всем по пятерке.

С педагогикой и того легче: Полунск сам из года в год читает по одному и тому же своему конспекту: «Тогда Жан Жак... м-м-м...» «Руссо!» — подсказывает аудитория, сверяясь с чужим прошлогодним конспектом. — «Руссо уехал на Братские острова» — «На Британские» — уверяем мы его. — «На Братские!» — упрямо вычитывает он из своих записей. — «Ну, ладно, если Вам так больше нравится, пусть будет на Братские»

Когда дело доходит до чего-нибудь посерьезнее, выясняется, что больше всего нам хочется спать. Чтец читает из старого конспекта страницу за страницей, Римма и я уже спим. «Римка, повтори!» — строго требует чтец. Римма, даже когда спит, умеет повторить последнюю прочитанную фразу. Скоро этому выучиваюсь и я. А если не повторишь, станешь следующим чтецом.

Конечно, и такое наше обучение, и само преподавание иначе, чем халтурой, не назовешь. Но все же я благодарна этим годам и не считаю их потраченными впустую.

Пожалуй, стоит рассказать еще только один эпизод из этого периода, как я сдавала экзамен по русской литературе второй половины XIX в. Честно говоря, и половины требующейся литературы я не читала ни тогда, ни сейчас. Курс у нас вел слепой преподаватель Илюхин, один из самых серых наших преподавателей. Этот экзамен я сдавала вместе со своим курсом. Конечно, нехорошо сдывать при слепом преподавателе. Я и не собиралась. Ну, как сдам, так и сдам, а не получится, так пересдам.

И вот из аудитории, где мы экзаменовались, зачем-то отлучился его ассистент. Остались Илюхин и несколько студентов, которые, как и я, уже получили билеты и готовились отвечать. Рядом со мной оказался некто Невзоров, странноватый парень. Гляжу — прямо перед ним, открыто, не под столом, а на столе лежат две внушительные стопки тетрадей. Конспекты! И он время от времени в них заглядывает. И я тоже соблазнилась. Дай, думаю, сверю то се, ну, там какие-нибудь даты, имена литературных персонажей, я их всегда плохо запоминала. Протянула руку, взяла верхнюю тетрадку, Стараюсь громко не шелестеть листами. У Невзорова законспектированы все нужные произведения. Но как! Из каждого выписаны все героини, и которая из них что сказала. Но и это выборочно — выписано, если героиня что-то говорит о главном действующем лице, предрекая ему славное будущее. И больше в этих конспектах нет ничего. Уже из чистого любопытства я пролистала все тетради — во всех то же самое. И тут я вспоминаю, чем же этот парень казался странным. Он рассылал всем девушкам курса записки, в каждой из которых сообщалось, что он, Невзоров, великий писатель, великий человек будущего. Он, правда, еще ничего не написал, но уже придумал себе псевдоним — МЭЛС (Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин), а когда Мэлс напишет свою книгу, весь мир ахнет, его будут читать все радиостанции мира, издадут все издательства. А поскольку женщины первыми признают всякого великого человека — это доказывает вся мировая литература, он и обращается за признанием к Неле, к Симе, к Норе... и т. д. Невзоров приносил каждой из нас стул в аудиторию (стульев-то не хватало). Мы хихикали, читая друг другу его записочки. Ну, думали, парень придумал такой способ ухаживания... Тем временем,

он начал отвечать по билету и понес ту же ахинею. При этом выяснилось, что прочел он всю требующуюся литературу, но все именно с такой своей точки зрения — о признании гения женщинами. Если в произведении содержались еще какие-нибудь мысли, он их просто не замечал. Илюхин в недоумении — какую же оценку ему поставить? Двойку — так ведь прочел все по списку! Ни с кем этого не было. «Ставлю Вам тройку», — сказал он со вздохом. Невзоров оскорбился: «Конечно, тройку!» — и запахнулся в свой клеенчатый черный дождевик, изображая Чайльд Гарольда — но ведь Илюхин этого не мог видеть, но мог догадаться по саркастическому тону: «Будущее покажет, кто из нас прав!» И ушел. Кое-как я сдала экзамен, наверное, на тройку же.

А дело Невзорова имело продолжение. Несколько студенток пошли к декану, утверждая, что это сумасшедший. «Дівчата, та, може, він в вас закоханий?»

Невзоров же, следующим объектом «коханья» избрал самого декана и... партком. В обе инстанции он написал письма-заявления, где сообщал о великом писателе Мэлсе, ездившем в Москву, которую он вскоре покорит своим талантом. В Москве он, как человек будущего, питался одними витаминами (в таблетках), не из экономии, а приучая себя к светлому грядущему. В результате такой диеты он потерял сознание, его подобрала милиция и отправила к месту жительства. И вот теперь он просит назначить ему повышенную стипендию, чтобы он мог начать и в короткий срок завершить свое гениальное произведение, за которое он безусловно получит Сталинскую премию — хотя, впрочем, у него есть два конкурента — Эренбург и, кажется, Шолохов. И тому подобная дребедень. Это бы все ничего, сдает парень сессию за сессией, и слава Богу. Но к этому в заявлении в партком он добавляет, что просит принять его в партию — ибо какой же лауреат, если беспартийный? Вот теперь дело принимает скандальный оборот, начальство бросается в психдиспансер, где выясняется, что да, этого больного они знают, он у них уже лет пять состоит на учете. Когда он учился еще в 9-м классе в школе, он сочинил такую логическую схему: каждая правящая партия начинала свое восхождение с подполья, стало быть, любая подпольная организация рано или поздно автоматически придет к власти. Он и создал подпольную партию, единственная цель которой — получить власть. В эту ор-

ганизацию он на вербовал девчонок-одноклассниц и вместе с ними загремел известно куда. Невзорова признали невменяемым и после короткого пребывания в психушке освободили. А девчонки-то не психи — и пошли по лагерям. «Так чего ж вы от нас хотите? — говорили доктора запаниковавшему университетскому начальству. — Наша задача — адаптировать больного к нормальной жизни. А ваш студент больше ведь не уходит в подполье, так ведь? Учится достаточно успешно, так? А что подал заявление в партию, так ведь это говорит лишь о сильной идеологической работе у вас. Остальное — ваши проблемы». В партию Невзорова все-таки не приняли, так что лауреатом он так и не стал. Но и из университета не отчислили, вроде как не за что было. Ах, сумасшедший? Как же он у вас три курса-то проучился?!

Он и дальше продолжал писать записки девочкам, приносить им стулья, подавать туда-сюда свои заявления... В конце концов он стал физоргом (спортивным организатором) курса и примелькался. Все к нему привыкли и перестали обращать на него внимание. Я о нем рассказываю только потому, что, на мой взгляд, в его анекдотичной истории есть несколько характерных для того времени деталей.

Мы перебираемся через сессию, почти все отличники, с повышенной стипендией. И после коротких каникул снова стихи, стихи, те, которых, конечно же, нет в программе.

Но и безделье приедается. Сначала некоторые из нашей компании (в том числе и я) попробовали в качестве вольнослушателей ходить на лекции по истории искусства в театральный институт. Но, убедившись, что и там все, как у нас, только плюс слайды, и узнав какой-то минимум о крито-микенской культуре, бросили это благое дело. А я стала ходить на занятия по французскому языку в институт иностранных языков. Но то ли часы занятий совпадали с интересными лекциями в alma mater, а скорее всего из-за того, что «труд упорный ему — т. е., мне — был тошен», бросила и эти занятия, набрав французского ровно настолько, чтобы без затруднений сдавать до конца университета внеаудиторное чтение. И тогда я решила сократить срок обучения на год. Перешла со своего третьего курса на заочное отделение. И за первые полгода сдала все зачеты и экзамены, и за четвертый, и за пятый курс. Ей-Богу, это было совсем нетрудно. Читатель, познакомившийся со всем вышесказанным, поверит мне.

Оставалась только курсовая работа за пятый курс, госэкзамены, дипломная работа — и тогда, прощай, университет!

За те четыре года, что я «училась» в университете, в стране прошло несколько идеологических кампаний, некоторые имели отношение и к филологии.

Лингвистические курсы у нас читали, как я уже говорила, Розенберг, Финкель и Баженов. Все трое — марристы. Впрочем, тогда теория Марра господствовала в лингвистике, даже и помыслить было невозможно, что бывают разные подходы в одной науке. Скажем, один профессор — маррист, а другой антимаррист. Нет уж, либо марристы все, как один, либо все подряд борются с Марром и Мещаниновым. Я уже не помню, в чем состояла марровская теория и противоположная ей теория Чикобавы. И поскольку я писала курсовую по лингвистике, моя работа должна была утверждать единственно правильную, а именно, марровскую позицию. Впрочем, честно говоря, я ее тогда вполне искренне принимала (и только впоследствии, соприкоснувшись с настоящей лингвистикой, осознала, что в ней так же мало науки, как и в противоположной ей). Итак, вот работа написана, приближается июнь — время защиты диплома. А без последней курсовой ни к защите диплома, ни к госэкзаменам не допустят. Надо только получить отзыв профессора (либо Розенберга, либо Баженова, либо Финкеля). А как раз в это время в стране идет так называемая дискуссия по языкознанию. Решается вопрос — кто все-таки прав — сторонники Марра или его оппоненты. Дискуссия эта идет не в науке, а именно в стране: ни один человек не имеет права остаться в стороне от этой, в общем, вполне специальной, теоретической, далекой от повседневности, от политики, от жизни, от экономики, даже от идеологии проблемы. Да будь ты и негром преклонных годов, воспитателем или даже воспитанником детского сада (эта гипербола не так уж далека от реальности) — каждый обязан определить, на чьей он стороне, окончательную же истину провозгласит какой-нибудь Жданов или еще кто из ЦК. И горе тому участнику дискуссии, который занимал ошибочную позицию и неосторожно высказал ее: он рискует попасть даже в идеологические диверсанты. Вспомним другие научные дискуссии (например, вейсманистов-морганистов с лысенковцами). И поэтому можно понять Кнейчера, который в это время срочно пристроился в сумасшедшем доме.

А мне как раз надо спешно получить отзыв на мою курсовую работу по лингвистике — стыдно сказать, к настоящему времени я начисто забыла свою тему. Я уверена, что эта работа немногочего стоила, независимо от того, чью сторону занимал автор — Марра с Мещаниновым или противоположную. Но Баженов ко мне хорошо относился и, конечно, дал бы положительный отзыв — если бы не эта проклятая дискуссия. Беднягу-старика от меня буквально как ураганом снесло, когда я его настигла со своей идиотской просьбой. То же произошло и с Финкелем, соавтором Баженова. Все преподаватели от меня убегали как от зачумленной. Дело кончилось тем, что я просто сдала работу секретарю кафедры общей лингвистики, там она и пролежала до самой защиты диплома. Меня допустили к защите без всякого отзыва. Тем временем в дискуссии была поставлена точка — и не каким-то там Ждановым, а самим Иосифом Виссарионовичем («Товарищ Сталин, вы большой ученый, в языкознание знаете Вы толк...»). В центральных газетах были опубликованы некоторые материалы научной дискуссии, а вслед за ними статья Сталина. Кажется, она называлась скромненько: «И.В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания»: («я, конечно, не крупный специалист в лингвистике, но в марксизме кое-что смыслю»). После этого мне поставили пятерку, просто чтобы поскорее от меня отделаться. Вот и все.

Еще на первом году университетских занятий я поняла, что ошиблась в выборе будущей профессии, что в филологии я не только полный профан, но никогда и не стану мало-мальским специалистом, поскольку эта наука меня совершенно не интересует. Вместо того, чтобы конспектировать лекции, я их фиксировала с помощью схем-иллюстраций. Возможно, мама была права, что мне надо было поступать в архитектурный институт, где, по меньшей мере, оказалась бы востребованной моя любовь к рисованию. Но признать свою неправоту мне мешали самомнение и упрямство.

А поскольку я заканчивала заочное отделение, то, во-первых, меня отпустили на все четыре стороны, в вольное плавание — без направления на работу; во-вторых, своих друзей и сокурсников я обогнала на год, они еще только перешли на пятый курс. А также сдвинутым оказался весь порядок университетских работ. Госэкзамены пришлось не перед защитой диплома, а после защиты, они оказались последним этапом моего университетского образования.

Мне оставалось только защитить диплом, это далось мне без особого труда и, как говорится, без отрицательных эмоций. Дело в том, что тему диплома я выбрала сама «Язык и стиль «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. Во-первых, Салтыков-Щедрин был одним из моих самых любимых русских писателей. А к тому же таким, о котором я имела собственное мнение, отличавшееся от мнения известных мне литературоведов. Как раз незадолго до начала работы над дипломом я прочитала работу Эльсберга, которая мне не просто не понравилась, но с которой мне захотелось вступить в принципиальную полемику. Причем, для меня речь шла не только и не столько о Щедрина, сколько о сатире вообще (а сатира была и остается моим любимым литературным жаром). Тогда, если я не ошибаюсь, было принято трактовать сатирический стиль как хитрую и ловкую попытку обмануть жестокую цензуру, и вот, мол, вместо Истории России автор заменяет Россию на неведомо где находящийся город Глухов, и т. п. — а как иначе советский литературовед мог бы объяснить, что автора этого пасквиля не только не преследовали, но даже дали возможность стать генерал-губернатором. Вот с такой трактовкой мне и хотелось поспорить. Что для того, что для написания диплома неплохо бы почитать еще каких-нибудь литературоведов, кроме Эльсберга, не обязательно советских мне и в голову не приходило. Поэтому все время, остававшееся у меня до защиты, я потратила отнюдь не на работу.

Как раз тогда в Харьков из Москвы часто приезжал без особой на то нужды Юлик Даниэль. И все свободное его и мое время мы проводили вместе.

Тем не менее, мне удалось написать дипломную работу, даже, кажется, вовсе неплохую, и защитить ее.

Итак, диплом защищен, госэкзамены тоже мало-помалу сдаются, не так, чтобы успешно (по собственным моим ощущениям), но все-таки на пятерки.

Что же со всеми нами происходило в дальнейшем, в последующие 50 лет?

Если бы не пресловутый пятый пункт в анкете (национальность), многие студенты из нашей компании могли бы претендовать на место в аспирантуре, ведь их уровень был значительно выше, чем уровень большинства остальных выпускников. Но, зная заранее, что аспирантура им не светит, они даже не стали подавать документы,

а, получив свои дипломы и назначения, разъехались «кто куда — на долгие года», по указанным им комиссией по распределению районам и селам Украины. Нескольким удалось, обзаведясь какой-никакой медицинской (или иной льготной) справкой, остаться в Харькове, со своими семьями. Лида Шершер мне позднее говорила, что, мол, для получения работы в харьковской школе надо дать в РОНО взятку — несколько месячных зарплат. Не знаю, насколько это верно. Вот я, без взятки и без блата получила работу в Харькове за несколько месяцев до окончания университета — правда, меня взяли преподавателем не русского, а украинского языка в 5-х классах одной из самых хулиганских школ на окраине города; не всякий рискнул бы пойти туда работать. Продержалась я там всего лишь год, потом вышла замуж за Юлиа Даниэля и уехала к нему в Москву (он перевелся туда в пединститут после второго курса).

Пожились и другие наши парочки: Римма Белина и Юра Финкельштейн. У них двое детей, есть уже и внуки. Эта семья живет в Нью-Йорке, и Римма, и Юра преподают русский язык. Я была у них в гостях, когда в 89-м году ездила в США.

Некоторые из тех, кого я здесь называла, тоже эмигрировали, живут за границей: Ира Немировская, Сима Трескунова — в Израиле со своими мужьями, детьми и многочисленными внуками (у Симы, кажется, 18 или 19 внуков! обе ее дочери и зятя стали очень религиозными и что ни год наперегонки рожают новых потомков, как предписывает им иудаизм; с ними я повидалась, когда ездила в 95-м году в Израиль. Сима находит время для общественной работы — в Иерусалиме руководит чем-то вроде клуба для русских евреев. В Израиле мне удалось повидаться и с Яном Горбузенко, которого я застала тяжело больным, успела навестить в больнице буквально накануне его смерти, была даже и на его похоронах. Всего года два-три назад эмигрировала в Штаты и семья Мусика Каганова, конечно, без Исаака Яковлевича — он умер в Харькове задолго до отъезда сына. Из названных здесь моих земляков и коллег нет уже в живых еще нескольких: Веры Алексеевны Пычко, Юлия Кривых, Алика Басюка.

Конечно, следовало бы подробнее рассказать о судьбе Бориса Чичибабина. Но о нем — очень популярном поэте перестроечных времен теперь публика и так много знает; так что я расскажу о нем лишь пунктирно. Вернувшись из лагеря, он, конечно, не имел воз-

возможности ни преподавать, ни публиковать свои стихи. А на мой взгляд, он был очень талантливым поэтом. И тогда для того, чтобы издать хоть один сборник, он отобрал для публикации заведомо «проходимые» стихи, а менее «проходимые» переделал, сделав более приемлемыми для тех времен. В общем, порядком искалечил их. Так, вместо строчек «Мой дух возвращался в тюрьмах — этапных, следственных и прочих» в сборнике появилось следующее: «Мой дух возвращался в буднях, трудах строительных и прочих». А вместо «И подыхаю как поэт» напечатано «И побеждаю как поэт». Не знаю, не знаю, может быть, ради того, чтобы опубликовать действительно первоклассное стихотворение «Красные помидоры» автору и должно быть дозволено слегка покалечить несколько других. Я не автор, не мне судить. Но по мне, так достойнее было бы «при жизни быть не книгой, а тетрадкой». Но может ли поэт осуществиться без аудитории? В связи с этим философским вопросом расскажу эпизод, пересказанный Андреем Синявским со слов Бориса Пастернака.

Когда Борис Леонидович лежал в больнице, довольно привилегированной, и больные спрашивали друг друга: «А ты кто — т. е., мол, кем работаешь?» Борис Леонидович отвечал: «Я поэт». — «Пастернак? Что-то не слышал...» И Пастернака это довольно сильно огорчало. Самого Пастернака! Правда, огорчение не мешало ему немало веселиться, когда он рассказывал Андрею обычное продолжение своих больничных бесед. Обычно среди сопалатников — секретарей райкомов или обкомов находился кто-нибудь проявлявший участие к этому неудачливому поэту: «Послушай, вот скоро День Красной Армии или там, 8-е марта — ты сварганил бы что-нибудь этакое, подходящее к празднику. Я дам команду, и у нас в районной или областной газете опубликуют, вот народ и узнает поэта Пастернака».

Так вот, Чичибабину повезло-таки дожить до известности и даже славы. Издано много книг его стихов. И ему, наверное, для этого больше не приходилось заменять «подыхаю» на «побеждаю».

Впрочем, насколько я знаю, некоторым поэтам свойственно довольно бесцеремонно обходиться со своими творениями. Андрей Синявский рассказывал, какую борьбу он вел с Пастернаком, когда готовился к публикации его однотомник, к которому Андрей писал предисловие. Борис Леонидович хотел переписать чуть ли не каждое свое стихотворение — правда, не ради публикации, а просто потому,

что «теперь я написал бы иначе». Андрею приходилось доказывать, что он уже не имеет права так распоряжаться ими, они уже не только Ваши, они уже живут своей жизнью».

Вот Наталия Горбаневская настолько изменила отношение к своим ранним стихам (по-моему, очень хорошим), что просто не включает их в нынешние сборники.

А Чичибабин одно из стихотворений, посвященных мне (кажется, «Черная пчелка печали»), потом взял и перепосвятил другой женщине — а, может, до меня оно посвящалось еще кому-нибудь. Борис мог бы сказать: «Тогда я чувствовал так, а раньше — по-другому, а теперь еще иначе». Вообще моя долгая жизнь позволяет мне сказать, что не стоит воспринимать сказанное поэтом буквально. Тот же Борис написал в другом стихотворении: «...в Сибирь пойду понуро» — за мной, то есть. Саня, приехав ко мне в сибирскую ссылку, первым делом спросил: «А где же Борис?» Слава Богу, мне даже в юности доставало иронии, чтобы не принимать всерьез сказанного поэтом — ни Герасименко, ни Чичибабиным, ни даже Даниэлем.

Возможно, вспоминая умерших, я назвала лишь тех, о смерти которых имею достоверные сведения. Да будет земля им пухом!

Вообще же среди тех, кто в 40-е — 50-е сбирался под сенью дружных муз поэтами стали очень немногие: Борис Чичибабин, Марлена Рахлина, она и сейчас живет в Харькове, пишет, а теперь и публикует стихи (мне они, в общем, нравятся). Граф — Иосиф Гольденберг живет в подмосковном Пушкино, преподает студентам и школьникам русский язык и — всю жизнь пишет стихи (я об этом узнала года два назад).

Не могу не рассказать драматическую, на мой взгляд, историю Юры Герасименко. Он, парень из украинского села, писал прекрасные украинские стихи, учился в каком-то техникуме и посещал литературное объединение, где и познакомился с членами «Лавочки». Потихоньку-полегоньку его публиковали в харьковской газете. Все бы хорошо, и, может быть, сегодня мы имели бы талантливого украинского поэта. Но вскоре его приняли в «Спілку українських письменників», дали квартиру в Доме писателей. Ему объяснили, о чем и как надо писать — и пропал талантливый человек, стал толстый и важный. Писать сразу стал скверно. Совсем как в нашей студенческой песне: «пусть подскажет мне обком — мне теперь писать об ком, даст мне творческий совет и горсовет, и райсовет. То ли дело Лев

Толстой – жил в России крепостной. Кто ему мог подсказать, о чем писать и как писать?»

Об остальных не знаю; поклясться могу лишь в одном: я сама никогда не сочинила ни одного стихотворения, кроме двух (на украинском языке) еще в девятом классе – и то, выполняя домашнее задание по языку: составить несколько предложений, повествовательных, распространенных на тему «Зимний день». Мне скучно показалось сочинять просто так простые распространенные, я их и зарифмовала; к сожалению, совсем не помню, но уверена, что ничего выдающегося не сочинила. Еще сделала несколько неплохих стихотворных переводов с украинского на русский или наоборот. Возможно, я могла бы стать переводчицей, но, наверное, все-таки среднего уровня.

Вообще же поэзия со времен поздно охватившей меня страсти к ней стала играть особую роль в моей жизни. Я как будто уже однажды раньше, давно прожила эту свою жизнь. Что бы со мной ни случилось, я к случаю вспоминаю соответствующие строки из какого-нибудь стихотворения.

Кроме стихов, с начала моих студенческих лет на меня оказала, конечно, огромное влияние сама среда, в которую я попала: разные, по-разному проявлявшие себя, но при этом абсолютно толерантные друг к другу люди (а до того все казались на одно лицо, как китайцы для европейца – все почти одинаково одеты в школьную или пионерскую форму, и говорят все одно и то же, чуть не теми же словами).

Мир оказался такой разнообразный!

Так вот, встретившись много лет спустя (10 и более того) с некоторыми своими студенческими друзьями, я с немалой грустью и разочарованием обнаружила, что теперь многие из них производят на меня совсем другое – скучное, что ли – впечатление, чем в те, давно прошедшие годы. Не буду называть имен.

Вот, скажем, этот, тогда казавшийся мне таким остроумным, и довольно смелым человеком – как будто застыл на своем прежнем уровне – те же остроты, те же словечки из Ильфа и Петрова; жизнь за прошедшее время так переменялась – а он сохранил только прежние интересы. О чем с ним ни заговори – в ответ услышишь только: «Парниша, у вас вся спина белая», потом на полуфразе включит телевизор: сегодня играет «Динамо» со «Спартаком»! А эта – тогда

сюсюкала и прыгала на одной ножке, довольно сносно пародируя сама себя в дошкольном возрасте, и теперь, взрослой дамой, в Израиле — то же самое; просто неловко смотреть! А ведь вполне кто-то, быть может, так же думает и обо мне, когда я упоенно читаю вслух: «Бренгельских рощ прохладна сень...»

Но я все-таки повторю, хоть и с иной интонацией:

«Новые песни придумала жизнь!

Не надо, ребята, о песне тужить...»

Когда я перечитываю этот отрывок, вижу, что написала его в слишком патетическом стиле («что пройдет, то будет мило») и в романтическом свете — но ведь этот кусок моей жизни и был, пожалуй, самым романтическим для меня временем.

МАМИНА СМЕРТЬ

22 июня 1950 г. сдан наконец и последний экзамен. В приподнятом настроении я возвращаюсь домой, уже иду по нашей Каразинской улице, подхожу к нашему дому, смотрю на окно пятого этажа — открыто ли, дома ли мама. Меня догоняет женщина из нашего дома: «Лара, где же ты ходишь? Мама-то умерла!»

Мне ее слова кажутся абсолютно неправдоподобными. Как — умерла?! Утром она ходила на рынок, купила зелень и цветы, чтобы вечером принять своих друзей, приглашенных ею по случаю моего окончания университета. Ушла на работу — после экзамена я ей позвонила, сослуживцы сказали, что она уже ушла домой. Я еще пережидала сильнейшую грозу, после которой не торопясь пошла домой. Мама вышла из трамвая, когда грянула гроза, побежала под навес и — упала. Это видела наша соседка. Когда соседка подбежала к ней — помочь подняться. Мама была уже мертва. Ее отнесли не домой, а в рядом находившийся институт. Но и врачи констатировали смерть от инсульта. Маме было тогда 49 лет.

В это время мимо проходила моя школьная учительница химии Ольга Николаевна Фрейфельд. Она и проводила меня домой, Наверное, она же сообщила о случившемся кому-то из знакомых, и скорее они ко мне пришли. Вместе мы пошли в институт, в холле которого

лежала мама. И только тут я поняла, что она действительно умерла. Мне отдали ее сумочку и часики – они еще долго тикали. И губную помаду из сумочки я хранила, пока она вся не высохла.

А вечером стали собираться приглашенные мамой друзья. По случаю торжественного события (Марусина дочка закончила университет!) многие пришли с цветами, кое-кто с вином. Я не могла внезапно сказать этим немолодым и нездоровым людям, что мамы больше нет, пришлось сочинять что-то о больнице, куда будто бы забрали заболевшую маму. Похороны организовал исторический музей, где мама работала последние несколько месяцев, впрочем, в организации и расходах принял некоторое участие и Авиационный институт, откуда маму год назад уволили за то, что она будто бы говорила «с акцентом».

Через день, как раз к похоронам приехал Юлик. Он сказал: «Собери самое необходимое на первое время» И увез меня в Москву. Я тогда вовсе не думала, что уезжаю навсегда. А так, на некоторое, неопределенное время. У меня и в мыслях не было, что мы поженимся, хотя я была уже беременна. Юлик, я знаю, тогда тоже не помышлял о браке.

МАРКСИЗМ И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Эта лингвистическая тема настигла меня несколько лет спустя, уже после того, как я, закончив университет, поработала в школе и вдруг оказалась без работы – из-за «пятого пункта» в анкете. Педагогом я была не просто неплохим, а даже хорошим. Меня любили ученики. Но терпеть не могли административные работники, из-за строптивного нрава, наверное. Сама же я любила учить русскому языку, не любила и не умела преподавать литературу. Из-за неуживчивости, и по обстоятельствам жизни мне пришлось сменить три школы – одну провинциальную и две в Москве. Таким образом, я осталась без работы, во всех московских отделах народного образования, куда я обращалась, зная об имеющихся там вакансиях, везде, едва познакомившись с моей анкетой, мне говорили: «филологи нам уже не нужны». Я сунулась в академический Институт русского языка, я сказала, что готова работать лаборанткой, исполнять любую

техническую работу. Ответ я получила такой: «В наш институт мы берем на работу только носителей русского языка». Хотелось, конечно, спросить «А какого языка я носитель?» Но все было сказано ясно и недвусмысленно. Пришлось перебиваться разными случайными заработками: я шила для ателье вспомогательные детали, писала под чужим именем тексты для Литературной энциклопедии — спасибо ныне покойной Елене Михайловне Закс, она давала мне и Юлию Даниэлю такую работу, она же порекомендовала меня внештатным корреспондентом в редакцию только что созданного журнала «Дружба народов». Там меня и моего приятеля, тоже инвалида по пятому пункту, ныне покойного, Якова Горбузенко — нас обоих прикрепили к отделу «Хроника культурной жизни республик СССР». В отделе, кроме нас двоих, не было других корреспондентов, не было и денег на командировки в республики. Поэтому нам приходилось собирать эту самую хронику у оказывавшихся в Москве разных деятелей республик, имевших, по нашим соображениям, мало-мальское отношение к культуре. Потенциальных информаторов легче всего найти среди депутатов Верховного Совета в дни сессии. Выбор (из списка) производили мы сами: «Так, певица из Армении — годится; работница ковроткацкой фабрики из Белоруссии — пусть расскажет что-нибудь о народных орнаментах; председатель колхоза из Чувашии — культурная жизнь в глубинке — подойдет!»

Это был очень забавный опыт общения с народными избранниками — Конечно, и я, и Горбузенко сами знали, что депутаты — подставные фигуры, марионетки в грандиозном кукольном театре. Но люди-то все равно все разные, а тут нам представилась возможность увидеть их вживе. Расскажу об этом в другой раз.

Вот таким образом в списке будущих наших собеседников оказался действительный член Академии Наук Мордовской АССР, лингвист, специалист по финно-угорским языкам. По нашей просьбе он рассказал нам свою историю — чем, как занимается, как стал академиком, в чем видит свои обязанности депутата, такой вопрос мы задавали всем, с кем разговаривали, — естественно, не для журнала, а из личной любознательности).

Чем закончилась дискуссия по вопросам языкознания для Финкеля и Баженова, по моим воспоминаниям, первоначально марристов-мещаниновцев (а попробовали бы они в свое время быть кем-нибудь иным!), вероятно, их заставили покаяться и изменить курс

на 180 градусов (а попробовали бы они не перевернуться по команде «Кру-гом!»), а поскольку оба они – и Финкель, и Баженов были людьми умными и порядочными, если и были их покаяния, вероятно, не кровавого характера, без доносов на коллег, а только с прославлением великого и мудрого Иосифа Виссарионовича, который им, рядовым ученым, открыл глаза на их науку. Дон Кнейчер, выпивавшись из больницы, вернулся к своей фольклористике. Отнюдь не так мирно и бескровно закончился погром литературоведов-«космополитов» (1948-49 г.г.)

Что касается меня, то лингвистическая дискуссия заставила меня несколько глубже попытаться разобраться с некоторыми теоретическими вопросами языкознания, отвратило от традиционных направлений в науке и привлекло к зарождавшейся «новой лингвистике» – математической, структурной лингвистике. Полезно ли это было для меня? И нет, и да. Не полезно, а вредно: в результате я так и осталась недоучкой в своей любимой науке, не всю жизнь не хватало эрудиции во всех ее областях. Зато я познакомилась с молодыми учеными – Мельчуком, Зализняком и др. Не лично познакомилась, а с их работами. Оказалось, что это направление мне по-настоящему интересно. Им я и стала заниматься в короткий период своей научной жизни и достигла в этом не весьма значительных успехов, но все-таки почувствовала вкус к этим занятиям. Мне снова повезло.

Вернемся к тому, о чем я мельком упомянула: к встрече по заданию журнала «Дружба народов» с депутатом Верховного Совета СССР, академиком Мордовской Академии Наук, специалистом по финно-угорским языкам. Он рассказал Яну Горбузенко и мне свою научную историю. Он мордвин, учился в аспирантуре у Мещанинова, естественно, был мещаниновцем. Дальнейшее с его слов. Закончив аспирантуру, отправился в свой родимый Саранск. Ученой степени у него еще не было, хотя кандидатская работа была уже закончена. Как раз к его возвращению начали создавать в республиках (автономных) свои национальные академии наук. «Когда я приехал в Саранск, там уже не осталось ни одного мордовского ученого – кого посадили как врага народа, как националиста, чью отрасль науки прикрыли, чтобы не плодила новых врагов. Словом, вводить в Академию было уже некого, кроме меня. Мне велели поскорее защищать свою диссертацию – но тут грянула война, когда уже стало не до диссертаций, не до академий. Хорошо еще, что меня

не посадили: как-никак финно-угорский (т. е., венгерский!) язык. Я ушел на фронт, повезло — вернулся живым и здоровым. Снова взялся за диссертацию, писал, переписывал, чтобы была в духе времени. Стали почти невозможны контакты с венгерскими коллегами. Кое-как завершил работу, поставил точку. Уже назначена была и защита. А тут — «Марксизм и вопросы языкознания»! А у меня чуть не на каждой странице — ссылки на Мещанинова! учитель же мой! Вообще-то работа не имела никакого отношения к Мещанинову — просто конкретное исследование. Тем не менее: «Переделывай!» Ну, сел я снова за эту уже осточертевшую мне работу. А дело оказалось немалое: найти все вредные цитаты, вставить другие, из Сталина, да чтобы было не меньше, чем прежних. Сижу, одни выколупываю, другие вставляю. По сути, пришлось переписывать всю работу, а время-то идет! Год, два, три... Наступает 1953, а там и 56-й — доклад Никиты о «культе личности». Мне опять приказывают: «Переписывай!» Ну, тут уж у меня терпение лопнуло: «переписывать не буду, выводите из Академии, раз у меня нет степени!» И я же не член партии, по партийной линии не прикажешь. А других академиков пока еще не наросло, не ликвидировать же Мордовскую Академию. И мне присвоили звание не кандидата, а сразу доктора наук — «по совокупности научных трудов».

Хочу добавить, что он мне показался очень славным дядькой, и на наш контрольный вопрос о депутатских обязанностях отвечал откровенно и искренне, и держался чрезвычайно просто.



JA

Юлий Даниэль.
Рисунок Ларисы Богораз

Ли-бо



Б. Богораз

9.7/VIII-1957г.

Рисунок Ларисы Богораз

Дело Даниэля и Синявского

АРЕСТ И РЕАКЦИЯ НА НЕГО

Поворотным пунктом отечественной истории многие считают 1965 год. Я вернулась в Москву из Новосибирского Академгородка 12 сентября 1965-го. Это было незапланированное возвращение. Я тогда преподавала в Новосибирском университете, начала учебный год. В августе Юлик приехал ко мне, нас занимали дела сугубо семейные, они казались самыми важными в жизни. И вдруг, прихожу я домой с работы — Юльки нет, нет до позднего вечера, нет до поздней ночи. Появился он в 12-м часу, какой-то необычно серьезный, взвинченный, бледный — утром за ним приехали на машине и увезли в Новосибирское УКГБ — там целый день допрашивали. Хотя мы, конечно, предполагали, что когда-нибудь это произойдет; но не сейчас же, ведь мы еще не решили свои семейные дела, пришлось решать их впопыхах, под давлением внешних обстоятельств, перевесивших личные.

Что знает этот приехавший из Москвы полковник? Почему полковник — он что, в форме? Нет, перед ним тянется местный майор. Все-таки, что он знает? Более или менее это прояснилось в ближайшие дни. Он добивался признания, что Аржак — это Даниэль, а Терц — Синявский. Юлька, как они с Андреем договаривались, ушел «в глухую несознанку». Каждое утро за ним приезжали, увозили, привозили ночью. Но —почему-то не брали. Мы уже стали привыкать, что так будет и дальше. С Москвой по телефону не соединяли. Дня через четыре Юлька сказал, что ему предъявили показания одного из наших давних приятелей (Якова Горбузенко), который знал об юльковом авторстве и дал соответствующие показания. Подтверждать их Юлька не стал. Об Андрее мы по-прежнему ничего не знали.

Так прошло несколько дней. Приезжая в ночи, Юлька ничего не ел — здорово нервничал. Однажды, приехавши, сказал:

— Они требуют, чтобы я послезавтра возвращался в Москву. Там продолжают допросы.

— А билеты?

— Они сами купят. Завтра привезут, приготовь деньги — расплатиться.

Значит, не арест — подумали мы. Вот дураки-то. Мы и не представляли себе, что эта грозная контора — столь крохоборческая, что они хотят еще и деньги содрать за дорогу в тюрьму. Назавтра, действительно, какой-то приличный на вид юноша привез билет на самолет и взял деньги (одолженные, между прочим).

Я решила, что полечу с Юлькой. В один день оформила себе отпуск за свой счет «по семейным обстоятельствам». На рассвете, в день вылета, за Юлькой пришла машина. Я сказала, что тоже еду, не уточняя, куда. «Конечно, проводите». Саньке мы сказали, как обстоит дело:

— Мы пришлем телеграмму. Если будет подпись «мама, папа» — значит, все в порядке.

Приехали в аэропорт. Юлька стал в очередь на регистрацию, как обычный гражданин, я — за ним, если будут свободные билеты на тот же рейс. В машине с нами ехал эскорт. Бравые молодцы не отходили от нас и в аэропорту. Надо было видеть, как перекосилась физиономия того, кто дежурил около кассы, когда он увидел, что я беру билет. Он тут же слинял куда-то. Побежал звонить, поняли мы. Да где там! Ведь время — часов пять утра. Объявили посадку. У нас с Юлькой, конечно, оказались места не рядом. Я подошла к пассажиру слева:

— Не обменяетесь ли с моим мужем? Нам не повезло.

Мой сосед охотно перешел на другую сторону салона и, не подозревая худого, стал усаживаться в среднее кресло из трех, рядом стоящих. Его новые соседи дружно забеспокоились:

— Это место занято!

— А у меня билет, — сказал он, предъявляя бывший Юликов билет.

Подошло и прошло время отлета. Какая-то суета за окном, на летном поле. Проходит полчаса, сорок минут.

– Почему задерживаемся? – забеспокоились пассажиры. – Что случилось?

– Все в порядке, загружаем буфет, – отвечают стюардессы.

Через час с лишком за окном самолета мы видим одного из наших сопровождающих. Наконец-то самолет двинулся с места, покатил по дорожке. Конвоир бежит рядом, прощально машет рукой: «До свидания, мол, Юлий Маркович! Всего наилучшего!» Ни за что не поверила бы, что из-за Юльки, из-за меня могут поломать самолетный график. Однако же, те, кто сидят рядом с бывшим Юлькиным креслом, тоже суетятся, бегают по салону, пытаются обменять места. Не вышло! Уши у них растут, кажется, на затылке. Не зря беспокоятся. Пока что, за ревом моторов, мы наспех успеваем договориться об условном шифре (на всякий случай). Юлька поет – я не столько слышу, сколько угадываю: «зека Васильев и Петров зека». И еще он говорит мне:

– У нас дома – Терц и Аржак.

Солнце зависло за окном. В Москве мы тоже в шестом часу утра – по московскому времени. Встречающих почти никого. Нас-то встречать некому. Ничего не подозревая, мы входим в здание аэровокзала, направляемся прямо к телеграфу: «Санюшка, все благополучно. Мама, папа.» У выходных дверей сбоку втискиваются какие-то люди:

– Юлий Маркович, спокойно.

Зажав Юльку с двух сторон, ведут его к ожидающей наготове машине. Я рвусь туда же. Они распахивают передо мной дверцу:

– Садитесь, Лариса Иосифовна, мы вас довезем.

В машине я лихорадочно рыщу по своим карманам – но денег нет, все выгребла на билеты.

– Да не волнуйтесь, Лариса Иосифовна. Готовьте обед, к обеду мы привезем Юлия Марковича.

Около нашей остановки машина резко притормаживает, снова распахивается моя дверца. Едва я ступила наружу, как сбоку подкатываются еще двое. Теперь меня берут в клещи. Юлька сразу же рванулся из машины. По-прежнему приговаривая вежливо: «Юлий Маркович, Юлий Маркович...» – его весьма грубо запикивают обратно, а эти двое идут со мной, один несет мой чемоданишко. Я поворачиваю к папиросному киоску, снова непрошенная услуга – са-

ми бегут и покупают мне «Беломор». Чуть ли не лучше моего знают, куда мне сворачивать.

В квартире сразу же начинается обыск. По всей повадке видно, что они тут уже раньше побывали. Бегло листают книги с книжных полок.

— А здесь что у вас?

Потайная полка. Здесь-то мы и прятали то, что хотели спрятать.

— Понятия не имею, я полгода здесь не жила. (А в голове стучит: «И Терц, и Аржак у нас спрятаны».)

Я стараюсь увести их от кладовки в другую комнату — опять же довольно поверхностно смотрят.

— А в этом ящике — что?

— Здесь моя картотека к диссертации.

— Вы уверены?

— Да, конечно.

Выдвигают ящик, перекаладывают чуть ли не по одной карточке. Ничего, кроме карточек.

— Я же вам говорила.

У них на физиономиях — недоумение. Все-таки возвращаются к кладовке. И там ничего. Теперь недоумеваю, стараясь, чтобы это не было заметно, я. Так ни с чем и уходят. После них я начинаю собственный шмон. Ни Терца, ни Аржака. Что такое?

Потом Маша мне рассказала, что у них обыскали и квартиру, и дачу, даже золу из печки выгребали, даже бумажки в сортире по одной перебрали. И тоже, к Машиному изумлению, не нашли искомого. Некоторое время спустя мы узнали, что после ареста Андрея в мою квартиру пришел один знакомый, Гена Грицай, у него был ключ, и все осмотрел, нашел-таки Терца и Аржака (действительно, в ящике с моей картотекой) и дал перепрятать еще одной не слишком близко мне знакомой женщине, Ляле Семеновой. Через несколько месяцев я у нее забрала книжки и снова перепрятала. Видимо, на допросах у Юльки здорово допытывались: где же книги? Потому что где-то в ноябре-декабре, может быть, следовательно мне предъявил Юликову записку — «отдай ему книжки». И несколько слов, что он здоров, как мол, я. Но ведь мы в самолете сговорились о шифре. И я прочла: «не отдавай».

– Да я рада бы отдать, тем более, раз муж велит. Да вы же сами искали – понятия не имею, где они.

Что уж им так хотелось найти именно эти книжки?

Эта детективная история не так удивила меня, как другое неожиданное обстоятельство. По 30-м годам я помнила, что после ареста отца мамины друзья перестали бывать у нас, а мамина сестра докладывала на собраниях, что она с сестрой (т. е., с моей мамой) не поддерживает никаких контактов.

Теперь же все было абсолютно наоборот.

С Лялей Семеновой связан еще один замечательный эпизод. Придя домой, когда закончился суд, я обнаружила записку: «Лара, срочно передай Юлику: простое мыло...» не помню сейчас, что еще она советовала. Когда-то она сама сидела по уголовному делу в малолетке, и вот ее опыт пригодился. Да и все другие Юлькины и мои друзья и приятели не то, чтобы обходить за три версты мой зачумленный дом, наоборот, не таясь, приходили, чтобы помочь, кто чем. Мои прежние коллеги из института русского языка – еще до суда стали приносить собранные между собой деньги. И это продолжалось все время, пока сидел Юлик – пять лет, и пока я была в ссылке – тоже. Насколько я знаю, так же помогали и Маше. Так начинался самодеятельный Фонд помощи семьям политзаключенных.

Мои коллеги по Академгородку, приезжая в Москву, непременно заходили ко мне – хотя их там песочили на собраниях: «Потеряли бдительность! Кого терпели в своем коллективе!» Мой завкафедрой Кирилл Александрович Тимофеев, отважно вступался за меня: «Она у нас хорошо работала». У меня появился названный брат: Эмиль Любошиц, детский врач из Харькова, ходил со мной в юридические консультации, и, действительно, называясь моим братом, вел переговоры с адвокатами, когда пришло время искать защитника для Юлия. А еще другие наши харьковские друзья, Воронели, собирали после каждого судебного заседания у себя в квартире человек 10-12, я или Маша пересказывали, что было на суде, они записывали, так и образовалась почти стенографическая запись судебного процесса.

Я хочу лишь сказать, что в те дни проявилась неожиданная и для меня реакция нашего общества на политический процесс. Я уверена, что такой реакции не ожидал и всеведущий комитет государственной безопасности.

Помню собеседование, которое вел со мной и с Машей некий чин КГБ:

— Вы думаете, сейчас интеллигенция бурлит. Это скоро закончится. Просто люди думают, что начались сталинские аресты. Вот увидят, что мы сажаем только за дело — вот как ваших мужей, как Пеньковского — все успокоятся, замолчат. Судьба ваших мужей от нас зависит, и ваша тоже. Мы можем помочь вам изменить фамилии — как помогли жене Пеньковского...

Им, как и нам, было невдомек, что все только-только начинается, что дело Синявского и Даниэля стало детонатором бомбы замедленного действия.

Я не хочу создать впечатление, будто Маша и я сформировали эту позицию; может быть, нам удалось сформулировать, выразить ее раньше многих.

Правду сказать, реакция на эти слова бывала и неоднозначной:

— Ха-ха, ты хочешь сказать, что Юлька тайный писатель? Быть того не может! Как же это я и не знал, почему он мне не сказал?

А одна наша знакомая, переводчица Рита Яковлевна Райт, пристально глядя на отдушину в стене, выразительно продекламировала:

— Юлик не мог совершить ничего против советской власти.

— Да он и не совершал ничего против, он просто поступал вне ее, вне этих категорий.

— Нет, нет, не может быть; ведь это значило бы закрыть публикацию в «Иностранке» «По ком звонит колокол»; мы так долго ее пробивали, наконец, пробили. Теперь закроют.

Все так же, не отводя взгляд от отдушины, она не позволила мне позвонить с ее телефона Сане в Новосибирск: «Тут рядом, в 10-ти минутах, переговорная».

Другой наш давний друг, Яков Горбузенко, узнав, что я приехала в Москву, даже не зашел ко мне сказать, что его вызывали на допрос:

— Ты не представляешь себе, они все знают; они даже знают, как вашу собаку зовут, — оправдывался он, когда его привезли ко мне.

О вдруг обнаружившейся новой ситуации Юлик позднее написал: «Счет находок — на десятки, счет потерь — на единицы». Вдруг появился наш полузабытый приятель по университету Славич-Приступа (муж нашей сокурсницы Мары), с ним пришел вообще прежде никогда не виденный мною Вика Некрасов:

– Что я могу сделать для Юлия? Что ему нужно?

– Да что нужно – того нельзя; а к освобождению, пожалуй, нужна будет зимняя шапка.

– Прекрасно! Шапка за мной, – и позабыл, конечно.

А история с адвокатами! Когда мы стали искать адвокатов – Лунгины назвали нам Дину Исааковну Каминскую. А второго? Я сейчас не помню, кого назвали вторым – вернее, первым – для Андрея. Может быть, сразу Эрнста Когана. Или были еще варианты? Мы познакомились; и Коган, и Дина Исааковна, выслушав суть дела, согласились. Но довольно вскоре, нам передали, что Дина Исааковна просит нас зайти к ней.

– Меня не допускают к делу, – сказала она. – Председатель коллегии Самсонов требует, чтобы я под любым предлогом отказалась от дела. А я хочу вести это дело. Пойдите к Самсонову и добивайтесь, чтобы он подписал наше соглашение.

Мы с Машей пошли к Самсонову. Сначала он говорил, что Каминская не хочет брать это дело, что она занята в другом процессе.

– Нет, мы знаем, что она не занята и готова принять на себя защиту.

– Но она не может этого, у нее нет допуска.

– Мы ведь заключили соглашение. Что ж, она не знала, что нет допуска?

– Не знала! – Самсонов грохнул кулаком по столу и весь налился кровью, я думала, его тут же хватит удар. – У нее нет допуска с сегодняшнего дня. Я ее лишил допуска.

Самсонов и назвал нам Марка Кисенишского. Делать нечего. Обратились к нему. Итак, Коган и Кисенишский. Мы их предупредили, что, вероятно, на них будут оказывать давление. Кисенишскому я сказала, что адвокат, который будет дудеть в одну дуду с прокурором «виновен, но заслуживает снисхождения», – такой защитник нам не нужен. Но, сказала я, Даниэль откажется от защитника, если вы передадите ему этот мой совет. Надо сказать, что Кисенишский обрадовался такому варианту. Однако, видимо, такой поворот сценария не устраивал главных сценаристов – им нужен был процесс во всей форме, с адвокатами и прочими обязательными персонажами. Ведь за ходом этого процесса будет наблюдать весь мир. Незадолго до суда Кисенишский сказал мне:

– Пожалуй, не нужно Юлию отказываться – получится нехорошо. У Синявского будет защитник, а у Даниэля – нет.

– Но вы скажете «виновен»?

Короткое время спустя адвокаты нашли приемлемую формулу. Не говорить «виновен», но и, упаси Бог, не сказать «не виновен». Оба заученно произнесли юридически бессмысленное заключение своих защитительных речей: «Прошу суд принять все сказанное во внимание».

А с Дусей Каминской с того нашего первого знакомства мы стали близкими друзьями. С Самсоновым же она, напротив, навсегда рассорилась.

Вообще это время – следствия, суда и Юликовой отсидки – многое переменяло в моих дружеских связях и отношениях. Душой всех наших отношений всегда был Юлик.

Я, по характеру, не очень общительный человек. Теперь так получилось, что мне досталось поддерживать не мною завязанные контакты – они не только не ослабели, но, напротив, укрепились, возникали новые и новые. Ситуация способствовала этому: даже мало знакомые мне люди прибегали – не надо ли чем помочь; что и говорить о давних Юликовых друзьях. Я, пожалуй, и не припомню таких, кто отшатнулся бы. Думаю, что именно это время положило начало новой интеллигентской традиции – смыкаться вокруг людей, оказавшихся в беде. Политические репрессии перестали восприниматься как личная трагедия, а стали фактом общественной судьбы.

Это было ново и неожиданно не только для меня, но и для КГБ – началось довольно открытое противостояние общества этой организации, еще недавно наводившей мистический ужас на каждого в отдельности и на всех вместе.

С чего началось освобождение? То ли требования «сверху» оказались чрезмерными даже для homo soveticus того времени. Один из Юликовых школьных друзей, Борис Золотаревский, рассказывал мне, что когда в КГБ ему настойчиво «посоветовали» прекратить контакты с домом Даниэля, т.к. это опасно и может для него «плохо кончиться», он отказался:

– Я подумал, – говорил он, – что же я буду объяснять своим друзьям и детям. И вообще – ведь это не по-человечески.

То ли действие инъекции страха кончилось на поколении наших отцов. Я думаю, большую роль в возрождении сыграла не умиравшая традиция русского анекдота, для которого нет ничего святого. Сталин знал, что делал, когда сажал за анекдоты по 58-10. Но анекдот оказался сильнее, живучее, он первым стал разрушать насажденные в 30-е годы стереотипы сознания и поведения. Эту же благую разрушительную работу продолжили в 50-е – 60-е годы песни Юлия Кима, Александра Галича.

ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ

О том, что в Советском Союзе есть политзаключенные, я, к моему стыду, узнала только после ареста Юлия Даниэля (Николая Аржака) и Андрея Синявского (Абрама Терца), да и то – не сразу, а только после отправки их в политические лагеря, в зоны, находящиеся поблизости от столицы автономной республики Мордовии. К 1966 г. мы уже немало знали о лагерях и тюрьмах Сталинского периода. Когда я говорю «мы», то имею в виду среду людей, в которой я жила, т. е., среднюю, неименитую интеллигенцию. Знали и по докладу Н.С. Хрущева (хотя доклад и считался «закрытым», для внутреннего употребления особо доверенной публики), но большей части людей из этой среды эта тематика была знакома по рассказам дедов, отцов, друзей- сверстников – всех тех, кто «Север учили не сидя на парте, не пальцем водя по истрепанной карте», а «его ... узнали во мраке и в буре, своими боками, на собственной шкуре» (Алла Зиминая, моя мачеха). Конечно, рассказы были впечатляющими, не для слабоверных; впечатлениями делились те, кому удалось выжить, кому удалось вернуться «под отчий кров». Спасибо Никите Сергеевичу, вернулись тысячи (а может быть, десятки тысяч) вчерашних зека, в том числе мой отец и мачеха. И мы поверили, что в стране больше нет политзаключенных – т. е., не заключенных, севших за «политику», а тех, кто сидел вообще ни за что – за «язык» (анекдотчики), за лень («знал – не сказал»), да еще была большая категория ЧС – членов семей врагов народа и т. п.

Теперь, наверное, таких освободили – полагали мы. И политлагеря или стоят пустые, или заполнены уголовниками-блатны-

ми. Так представляла себе ситуацию я, многие мои друзья и знакомые, Юлий Даниэль, может быть, и Андрей Донатович. Некоторое сомнение поселил сам суд и приговор. Повесть Андрея «Суд идет» квалифицировалась как «клеветническая» — ее героев отправляют в лагерь: где ж это Вы, Андрей Донатович, сегодня видели приговоренных «за политику»? А самих-то Синявского и Даниэля — за что судят? Пусть не за политику, так за литературу.

И вот 1965-й, они арестованы. Февраль 1966-го, приговорены судом — «Юльке пять, Андрею семь, и двенадцать вместе всем». Куда ж их отправят? С кем нары делить придется? Неужели с блатными? — опытные сидельцы говорят, это был бы не сахар!

Вот такие были мысли, такие опасения одолевали. А когда Юлий и Андрей прибыли на место все-таки в политлагеря, в Мордовию, каждому из них пришлось сидеть отнюдь не в гордом одиночестве, оба лагеря были заполнены, как говорится, под завязку: человек 300 на 1-м, куда попал Андрей, а с Юлием, на 11-ом, сидели, как говорили, более тысячи человек! Я, конечно, не ручаюсь, но так говорили сами зеки. Теперь они сами себя называли на руссифицированный манер — не зека, а зек, зеки; слово «зека» еще несло на себе след своей этимологии: в бумагах, ведомостях и прочих документах писали «з/к», что значит «заключенный», а множественное число образовывалось тоже бумажным способом. Как пишут №№, так писали и «з/к з/к». В речи же эти самые «зека» не изменялись ни по родам, ни по числам-падежам, т.е. не склонялись. Вроде бы и не существительные вовсе, а так, неодушевленный инвентарь. Так вот, когда число этих самых з/к умножилось до такой степени, что их условными обозначениями можно было бы исписать не несколько строк («з/к, з/к, з/к, з/к...» — и так далее), а целые страницы, а, может, даже и тома, тогда слово вошло в обиход, одомашнилось, что ли. Если моя мачеха, сидевшая в конце 30-х, в своем стихотворении-песне написала так: «Идут зека, в глазах тоска...», то в наши, более простецкие времена сокамерник Даниэля Валерий Ронкин сочинил такой стих: «Раз, два, три, четыре, пять — вышли зеки погулять... Вот вернулся зек домой — оказался он живой»; впрочем, у него же: «Один зека пришел в ЦеКа.» Как видим, норма еще не устоялась⁷. Сам Ронкин

⁷ Чтобы закончить с лингвистическими эссе в этой области, вспомню еще отзыв старосидельца, кажется, Шаламова, а скорее, Солженицына на книгу Анатолия

безусловно чувствовал себя зеком, а Алла Григорьевна о себе сказала бы: «Я, зека Алла Зими́на» — в наши дни она была бы не «зека Зими́на», а обыкновенная зечка.

Так вот, оба лагеря, 11-ый и тройка, в 1966-м насчитывали, должно быть, тысячи полторы зеков, а ведь был еще и 10-ый, где сидели «полосатики», лагерь особого режима, где зекам полагалась полосатая форма, еще и женская зона, и лагерь для иностранцев, и Владимирка — крытка для политзаключенных, а, может, и еще какие-то, оставшиеся мне неизвестными. Кто же они были, эти полторы-две тысячи заключенных?

То-то и оно, что не уголовники (впрочем, и не без них, если ухитрились в своем «бытовом» лагере схлопотать еще и политическую статью), а в основном «политические». Досиживали свои двадцатипятилетние сроки те, кто не удостоился хрущевской амнистии — националисты, главным образом, прибалты и украинцы — «лесные братья», т. е., партизаны, жители Западной Украины. Новое, хрущевское пополнение состояло из тех же «националистов», молодые среди них отсиживали в большинстве «за флаг» — т. е., в некоторый праздничный день парень снял с официального здания красный флаг СССР, а вместо него повесил «свой» жовто-блакитный — символ незалежной Украины или желто-зелено-красный литовский. Когда мы приезжали к Юлию на свидания и зеков вели через проволочный коридор из жилой зоны в рабочую, мы видели в грязно-серой колонне немало таких знаменосцев — как правило, это были совсем юные ребята, студенческого и даже школьного возраста. Колонна производила весьма сильное впечатление, особенно ее последние ряды — старые зеки, досиживавшие «за войну»: некоторые из них брели на протезах, а иные и вовсе кто без ноги — на костылях, кто без руки (что такая инвалидная команда могла наработать в рабочей зоне?)

И вот однажды, стоя с внешней стороны колючей проволоки, на которой были развешаны таблички «Запретной зона» (перевода не требуется?) и «Тят сувся» (что можно вольно перевести с мордовского как «не суйся»); я хочу обратить внимание читателя на то, что эти запретительные надписи были исполнены на мордовском языке,

Марченко «Мои показания», только что появившуюся в Самиздате. В общем, оценка была весьма высокая, замечание же следующее: «У него (у Марченко) повсюду ошибка — он пишет «зек», «зеки», а надо «зека». и рецензент объяснил мне приведенную выше этимологию слова.

т. е., на языке той республики, чью территорию занимал интернациональный по составу и подопечных, и опекунов лагерь — кто скажет, что в СССР дискриминировались малые народы? Нет, как учил нас бывший великий вождь, сохранялась культура национальная по форме и социалистическая по содержанию. Так вот, стоя у этой витрины национальной и социалистической культуры мы увидели в колонне нелепую фигуру — высоченного, худого-прехудого зека, щеки которого, казалось, соединялись друг с другом позади торчащих вперед зубов, и вдруг это чучело кричит в нашу сторону: «Натуська!» Это он кричит нашей спутнице и другу Наташе Садомской. Наташа охватывает обеими руками свои щеки и бормочет: «Боже мой, Ленька! Как я могла позабыть?!» Потом она рассказала, что Леонид Рендель, выпускник исторического факультета МГУ, где училась и Наташа, загремел с несколькими друзьями — тоже историками — в лагеря за то, что они разрабатывали собственную независимую модель социализма, как теперь сказали бы «с человеческим лицом». Поскольку я сейчас только бегло описываю первые впечатления об этой колонне поначалу неразличимой серой массы, оставлю на «потом» рассказ о некоторых компаниях и их «делах», о которых мы мало-помалу узнавали подробнее.

В другой раз один из заключенных, который показался мне ровесником моего сына, худощавый невысокий юноша, подпрыгивает над колонной, взмахивает рукой и кричит: «Санька!» Ни Саня, ни я не знаем этого парнишку, познакомились и подружились потом, когда он после освобождения проезжал через Москву. На свидании Юлик рассказал нам, что это был Валерий Смолкин — один из «колокольчиков», выпускников Ленинградской Техноложки; эта компания издавала подпольную газету «Колокол», насколько я знаю, отнюдь не к топору призывавшую Русь, а просто честно рассказывавшую, как эта самая Русь живет. И еще они в своих тоже подпольных научных работах разрабатывали теорию «правильного» социализма.

Постепенно мы с Саней больше и больше узнавали коллег Юлия, вначале понаслышке, из его рассказов, а потом и вприглядку, видя их через колючую проволоку и пытаясь угадать, кто есть кто. Познакомились с их семьями, проезжавшими через Москву в Мордовию на свидания с мужьями, сыновьями. Юлий человек очень компанейский, как теперь говорят, коммуникабельный. И так образовался довольно широкий дружеский круг людей, объединенных

отнюдь не идейным родством, а просто симпатизировавших друг другу. Действительно, какие славные это были люди! Ну и что, что Ронкин был оголтелый марксист — зато мировой, совершенно свойский малый; теплый, я сказала бы, нежный. Юлий рассказывал о своих новых друзьях много занятных историй, вовсе не связанных с их деятельностью.

Героем забавных рассказов часто был Леня Рендель⁸ — вот некоторые. Леня донимал Юлия рассуждениями на политические темы; для Юлия все эти разговоры были, как говорят евреи, «бара-бир», он и слушал-то их вполуха. И вот однажды в середине какой-то Лениной тирады (о китайской модели общественного устройства, что ли; я думаю, что если бы Леня произносил свою пламенную речь по-китайски, Юлий понял бы в ней ровно столько же, сколько и по-русски. И вот Юлий вдруг говорит: «Леня, можно задать вопрос?» — «Да-да, конечно же!» — радостно затрепыхался Леня. Юлий: «Леня, а на свободе у тебя была девушка?» И вдруг Леня приосанился, скромно потупился: «В нашей компании я считался донжуаном!» Когда несколько зеков сбивались в бараке в уголок, чтобы написать на волю секретную ксиву или еще для какого-нибудь недозволенного действия, Леню обычно просили постоять «на атасе» — выводили его на крыльцо, усаживали на верхней ступеньке, объясняли, какой условный сигнал тревоги подать в случае появления в поле зрения надзирателя — и оставляли. Через некоторое время кто-нибудь из зеков выходил на крыльцо, раз пять переступал через Ленины длин-

⁸ С грустью и запоздалым раскаянием скажу: в 1989-м году он умер. За это время в Москве умерла его мать, а ему не дали даже последние месяцы пожить с ней: за сто первый километр! Сам он долго нигде не мог обосноваться, с большим трудом пристроился под Калинин (Тверью), жил там позаброшенный. Правда, материально ему помогали, но не такая помощь ему была нужна, больше всего он нуждался в общении, в возможности кому-нибудь излагать свои политические идеи, прогнозы, на мой взгляд, бредовые и неинтересные. Мне не хотелось стать его собеседницей, даже на правах оппонента.

Слава Богу, нашлась сердобольная, добрая женщина Неля, помнится, тоже историк. Она вышла за Леню замуж и взяла его к себе, когда ему в конце концов удалось получить вид на жительство в Москве по причине тяжелой болезни и инвалидности. Здесь он вскоре и умер, хотя и присмотренный Нелей — честь и хвала ей! — но позабытый друзьями и коллегами. Я навестила его в Москве всего дважды — на большее у меня не хватило доброты душевной — и в разговорах с ним не была ни терпеливой, ни терпимой.

ные ноги, возвращался в барак и докладывал: «Бдит!» Нет-нет, Леня не спал, просто он сидел, глубоко задумавшись, ничего и никого вокруг себя не видя. Так он сидел, пока компания не вываливалась из барака и не снимала его с поста. Однажды уже на воле он позвонил по телефону Наташе Садовой и начальственным тоном (в университете он был комсомольским функционером) распорядился: «Так, Натуся — достань мне Авторханова, Некрича, Сахарова...» — все это были в разной степени крамольные имена, а телефоны-то прослушивались. Наташа отвечает: «Что ты, Леня, я таких книжек не читала, читать не буду и тебе не советую» — «Наташка, ты что?! А-а, да-да, понимаю — по телефону нельзя!» Через некоторое время он усвоил, что не все можно говорить по телефону и надо соблюдать осторожность в заведомо прослушиваемой квартире. Приходит, скажем, ко мне: «Лариса, дай, пожалуйста, листок бумаги и карандаш». Даю. И он пишет какую-нибудь совершенно невинную чепуху, вроде того, что, мол, в соседнем гастрономе дают сардельки. И требует, чтобы я ему отвечала, тоже в письменной форме, не раскрывая рта. «Леня, я так не могу, да и зачем?» Он мне опять же пишет: «Сейчас научу», — берет мою руку, вставляет в пальцы карандаш и моей рукой выводит: «Запас карман не тянет»... Такой вот славный чудак; чудак, конечно, но такой славный.

Таким образом, Юлий в политзоне оказался вовсе не в одиночестве, и не в компании блатных-уголовников. В зоне Андрея была другая среда — религиозники разных конфессий. Он сам об этом рассказал в книге «Голос из хора». У Юлия же все свободное время уходило на дружеское общение. Собственно, если не считать некоторых специфических «неудобств» типа тяжелой, иногда непосильной работы и систематического попадания в карцер по фальшивым и ничтожным поводам, Юлий жил, в основном, в привычной ему среде средней интеллигенции, где было немало людей творческих — поэтов, несколько художников. Художникам не разрешали рисовать, поэтам читать на своеобразных вечерних посиделках свои стихи — русские, украинские, эстонские... Тем не менее все это происходило подпольно, с Леной Ренделем на атаке. Конечно же, начальству все это крайне не нравилось именно потому, что духовная жизнь даже в лагере не поддается контролю и управлению. Отсюда бесконечные наказания — лишения свиданий, карцеры, шизо (штрафные изоляторы) и т. п. Начальство пыталось посеять среди заключенных семе-

на раздора: «Даниэль, вы же интеллигентный человек, а якшаетесь с Футманом — он же уголовник, а такой-то украинский националист, все они антисемиты...» «Вы же, Роман, настоящий украинец, что вам до этого жида (Даниэля)?» И т. п.

Итак, сначала в узком кругу московской-ленинградской интеллигенции появились и стали распространяться достоверные сведения о политических лагерях и политзаключенных, круг пользователей этой информации становился шире, отдельные кружки объединялись между собой, и довольно скоро — за каких-нибудь два-три года возникла специфическая среда людей, объединенных общими судьбами и просто дружескими отношениями.

К тому времени, когда лагерная тематика стала неременной частью самиздатских, а вскоре и правозащитных информационных публикаций о политзаключенных и политлагерях, нам было известно довольно многое: и их состав, и конкретные «дела», и взаимодействие политзаключенных с лагерной администрацией, большей частью выражавшееся в конфликтах — от репрессий с одной стороны, до коллективных и индивидуальных голодовок — с другой.

В «Хронике текущих событий», которая начала выходить с 1968 г., имелся раздел «В лагерях и тюрьмах». Как только Кронид Любарский эмигрировал, он стал издавать с 1978 г. регулярный периодически выходивший информационный бюллетень «Вести из СССР» со списком политзаключенных, где имелись сведения о политических процессах в СССР, краткие биографические сведения о каждом политзаключенном (тогда, помнится, не обсуждалась терминологическая проблема — что это за категория такая — политзаключенный; просто этим общим термином обозначали каждого узника советских политлагерей). В бюллетене сообщались сведения и о его родственниках, часто помещалась и его фотография.

Таким образом, обращаясь к советским властям с требованиями об освобождении такого-то и такого-то или с требованиями общей политической амнистии, правозащитники могли знать, о ком они говорят. К таким обращениям обычно прилагался список заключенных, о безотлагательном освобождении которых шла речь.

С начала 70-х годов Андрей Дмитриевич Сахаров несколько раз заявлял требование широкой политической амнистии, а в июне 1974 г. подкрепил это требование объявлением голодовки. Мы с Анатолием Марченко жили в это время в пос. Чуна, где Анатолий

отбывал свой срок ссылки. О требовании Андрея Дмитриевича мы слышали по «Голосу Америки» или из передач «Радио Свобода» и написали, что присоединяемся к требованию Сахарова. Конечно, заявляя такие требования, никто из нас не надеялся на то, что власти удовлетворят их. О широкой политической амнистии, конечно, не могло быть и речи. Но это был способ напомнить мировому обществу и нашим согражданам о том, что в Советском Союзе есть политические заключенные, еще раз назвать многие имена. К международному давлению советские власти все-таки не были глухи. Иногда таким образом удавалось добиться освобождения одного, двух, трех политзаключенных. Чаще всего это был в явном виде или в завуалированном обмен наших узников совести на тех, кто был осужден на Западе: «обменяли хулигана на Луиса Корвалана»... — это об освобождении Владимира Буковского. Подобным же образом освободили Александра Гинзбурга, баптиста Петра Винса, «самолетчиков» Эдуарда Кузнецова и Марка Дымшица и других.

1968

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ⁹

Аресты, тюрьмы, лагеря — эта тема присутствовала в моем сознании с детства, поворачиваясь с течением времени разными своими гранями, касаясь меня то близко и чувствительно, то более отдаленно. Но хотя механизм ГУЛага, перемалывавший моих старших родственников и знакомых, а потом и сверстников, мог, конечно, затянуть в свою мясорубку и меня, мне и в голову не приходило, что это может на самом деле случиться. Более того, зная о литературном творчестве Юлия Даниэля, за которым я тогда была замужем, и нашего друга Андрея Синявского и прекрасно понимая, что это может кончиться только одним — арестом, я все же не задумывалась, что это реально значит, как это будет и что за этим последует. Что будет, то будет.

Арест мужа и Синявского не вызвал у меня страха ни за них, ни за себя, а только возмущение незаконным и варварским действием — как будто всю жизнь я прожила в царстве справедливости и правопорядка! С этого времени я оказалась в открытой оппозиции к властям, к госбезопасности, к органам МВД — и мое противодействие приобрело общественную значимость, довольно большую по тем временам. Я, конечно, была не одна, такую же позицию противостояния занимали и другие люди — с некоторыми я была знакома раньше, с другими подружилась на этой почве. Каждого из нас могли арестовать. Не знаю, как другие, а я в отношении себя не предполагала такой возможности — не из безрассудного оптимизма, а на

⁹ Приводится по тексту: «Минувшее», исторический альманах, Париж, 1986, СС. 81-140. К публикации в «Минувшем» дана сноска «Текст печатается без согласия автора». Текст перепечатан также журналом «Индекс. Досье на цензуру», см.: <http://www.index.org.ru/memoirs/vbogoraz.html>

рациональных основаниях. На всякий случай я задала себе вопрос: ну, а если арестуют? Ведь у Андропова, может быть, своя логика. И поняла, что вероятность ареста никак не влияет на мое поведение; ну и слава Богу, а то ведь еще думай, рассчитывай, как бы это и рыбку съесть, и в воду не лезть. Занятие не для меня, к тому же я не верю в его успешность.

Зимой 1968 года у меня дважды было такое ощущение, что КГБ (эту организацию я и сейчас воспринимаю как целостный организм: ее работники при встречах со мной всегда проявляли себя как части целого, а не как личности) — растерзало бы меня, если бы я попала ему в лапы вот сию минуту. Первый раз — после передачи моего и Павла Литвинова Обращения к мировой общественности, я второй — после моей телеграммы о солидарности с голодовкой политзаключенных. Эта телеграмма была адресована в лагерь, в какие-то, уж не помню, правительственные инстанции, словом, вовсе не публичная; но ярость кагэбэ из-за утечки информации, из-за того, что я эту утечку, так сказать, продемонстрировала, — ощущалась мною на расстоянии буквально физически. Правду сказать, ощущение не из приятных.

Не схватили; только вызвали «на беседу» к прокурору то ли Москвы, то ли РСФСР.

На 21 августа 1968 года был назначен суд над Анатолием Марченко — расправа за его книгу «Мои показания», а главным образом, за его письмо о Чехословакии в зарубежные органы информации. Накануне вечером ко мне пришли Павел Литвинов и его жена Майя Копелева и остались у меня ночевать, а рано утром за нами зашла Нина Лисовская — мы собирались пойти на суд. Было очень рано, часов, может, семь. Вдруг раздается телефонный звонок. Я беру трубку. Наташа Горбаневская, рыдая, говорит, что наши войска вошли в Чехословакию. «Советские танки в Праге».

Я не могу передать, как это на нас подействовало. Нет, я не верила, что это произойдет. Почему?! Ведь ребенку должно быть ясно. Но нет, не может такого случиться. Потому что это *нельзя*.

Анатолий Марченко в Открытом письме предсказывал, что это неизбежно, что мертвое не даст жить живому. Я не верила ему и думала, что он сам не верит, что это у него лишь публицистический прием. Сегодня его будут судить — а наши танки в Праге.

Еще вот эта фраза, эта формула: «Танки в Праге»! Это уже было, чужие танки на улицах Праги, пражане проснулись, а на улицах танки со свастикой. А сегодня — со звездой. Какой позор России! Всем нам.

Чехословакии конец. Что с ними будет, что сейчас там творится? Что они чувствуют сейчас? Бессилие, унижение...

Если нашим это оказалось *можно* — тогда им можно все. Чужую страну, целый народ задавить, задушить можно — почему ж тогда своих несколько человек посадить нельзя? Да хоть убить, сгноить — подумаешь! А я-то пишу заявления, протесты, мир будоражу...

В зал суда — неслыханное дело! — впустили всех, кто пришел. Человек тридцать друзей, знакомых Анатолия, сочувствующих ему. И приблизительно столько же «своих» — молодцов-дружинников, кагебистов в штатском. Во время перерыва все вышли во двор — и позицию заняли друг против друга, те против этих. Мордатые дружинники источали из себя ненависть и торжество: «Скоро всех вас — к ногтю!» Безусловно, их вдохновляло сообщение в «Правде» — они, как и я, поняли, что теперь все можно.

Когда Толю увозили в воронке, я кричала ему: «Толя, читай сегодняшнюю «Правду»!» — я знала, что сообщение о вводе войск послужит для него не только информацией, оно объяснит ему его собственную судьбу и предскажет мою.

Публичный протест против оккупации Чехословакии был для меня делом решенным с самого звонка Наташи; но как его выразить? Неужели снова писать? Тут и слов-то не найдешь. И когда я услышала слово «демонстрация», сразу решила, что пойду, конечно. Потом, на нашем суде, я правду сказала, что мне чуждо всякое публичное действие (я имела в виду именно *выход на публику, а не слово*), но другого способа выразить свои чувства я не видела. Да, и я стремилась, чтобы протест прозвучал как можно громче — не потому что *мой* протест, а чтобы *протест прозвучал*.

Не помню сейчас, 23-го или 24-го в Москву прибыл Людвик Свобода. В часы, назначенные для встречи, я шла пешком от Библиотеки Ленина к Полянке. Как обычно во время таких церемоний, москвичи, согнанные из учреждений, толпятся на пути следования почетного гостя, жуют бутерброды, лижут мороженое, покупают на лотках лимонад, зажимая в свободной руке выданный к случаю соответствующий флажок. Помахать флажком в нос проезжающей ма-

шине — и скорей разбежаться. На этот раз толпа истомилась, ожидая. Назначенный час прошел, и еще час, и еще час. Не едет этот, которого встречают; а уйти — милиция и свое начальство не пускают. Еще один бутерброд, еще стакан лимонада...

Меня буквально трясло от вида этой жующей толпы, этого *народа* — только что они проголосовали: «поддерживаем и одобряем», и вот машут флажками ЧССР — и никому флажок не жжет руку. Кретины они, что ли? Скоты бесчувственные?

Наконец, появилась машина. Она ехала довольно медленно, Людвик Свобода стоял в ней (кажется, стоял), не глядя по сторонам, лицо его напоминало трагическую маску. А эти — изображают улыбки, кричат «ура!», тычут флажками. Мне так было стыдно — вот перед ним, перед этим старым чехом (как он ни повел себя потом, в этот момент, я уверена, он тяжело переживал трагедию и унижение своего народа), — я готова была протиснуться вперед и крикнуть сама не знаю что.

Но я — не сделала этого. Уговорила себя: получится жалкий писк, которого никто не услышит, даже и Свобода не заметит. А говорят, были такие, которые решались. Не знаю, правда ли это.

Несколько раз я приходила к Наташе Горбаневской, чтобы послушать радио, узнать, что же там делается, в Чехословакии (у меня не было приемника). И однажды, крутя настройку, мы услышали чешскую речь, а потом женский голос слабо, но явственно произнес по-русски: «Русские братья, уходите к себе домой, мы вас не звали»...

О нашей демонстрации 25 августа 1968 года на Красной площади Наташа Горбаневская написала и составила книгу «Полдень», так что я об этом рассказывать не буду. В книге приведена и запись нашего процесса — по-моему, очень точная и полная. К ней я могу добавить только несколько слов — свои впечатления и несколько эпизодов во время суда, не имеющих отношения к самому процессу.

Наш суд был очень красивый, то есть совершенный, как будто поставлен по сценарию, для кино. Но не по тому сценарию, который составили власти, а по нашему, хотя мы его не сочиняли.

Нас, подсудимых, было пятеро совершенно разных людей: очень молодой, красивый, с поэтической внешностью Вадим Делоне; крупный, фигурой напоминающий Пьера Безухова, аристократически вальяжный Павел Литвинов; энергичный, живой, мужественный Володя Дремлюга; тонкий, интеллигентный Костя Бабицкий; и я —

одна среди них женщина. Мы с Костей – самые старшие, обоим было тогда по 39 лет. Держались мы все по-разному, говорили разное, не пытались повторить друг друга, друг другу подыграть. Каждый из нас был самим собой – ну, немножко лучше чем есть, чем обычно, но то и естественно, момент был необычный, возвышающий.

Около скамьи подсудимых, как почетный караул, стояли охранники.

А перед скамьей подсудимых сидели четыре адвоката (я отказалась от защитника): Дина Исааковна Каминская, маленькая, подвижная, с яркими глазами; полная, широколицая, с необычайно выразительным лицом Софья Васильевна Калистратова; фигурой и повадками похожий на своего подзащитного Дремлюгу адвокат Монахов; и несколько чопорный, напряженный защитник Бабицкого Поздеев.

В зале среди все тех же мордатых мальчиков и знакомых нам с Павлом в лицо топтунов находились наши родственники. Из нас пятерых только Володя Дремлюга был одинок в Москве, зато у Литвинова и Бабицкого набиралось родни по целому клану: мать, отец, сестра, муж сестры Литвинова, старенькая бабушка, представительный тесть – Лев Зиновьевич Копелев, само собой, жена; мать и сестра Кости Бабицкого, а за его женой Таней потянулся многочисленный клан Великановых; да родные Делоне, да мои родители и сын... Должно быть, у коменданта суда голова пошла кругом, он не мог разобрать, кто тут кто, где чья мать, кого он обязан пропустить, а кого, наоборот, ни в коем случае. На одно из заседаний, назвавшись моей сестрой (впрочем, я и в дело ее вписала как сестру), проникла моя подруга Люда Алексеева; на другом я с изумлением узнала в публике моего давнего приятеля – оказывается, он тоже мне брат. Словом, было ощущение (у меня, во всяком случае), что «нас» много. И на улице у суда стояла толпа, мы не видели, но знали, чувствовали присутствие друзей – хотя бы по тому, с какими предосторожностями нас везли в воронках, как охраняли дюжие молодцы (в каждом лестничном пролете стояли, растопырившись, загородив окно, в позу штурмовиков).

И вся разность, пестрота, непохожесть отчетливо противостояла сплоченной одинаковости государственного монолита: судья Лубенцова представляла государство; и бесцветные, бессловесные два заседателя представляли государство; и тупой, как и все его коллеги,

прокурор представлял государство; и топтуны под видом публики, и соглядатаи на улице, и мальчишки-штурмовики на подоконниках — все это было одно лицо: государство.

Но у судьи Лубенцовой, я видела, белели косточки на кистях рук, когда она сжимала их в кулаки от злости: похоже, Лубенцова-женщина (а не судья) хотела бы вздернуть нас, а не задавать нам дурацкие вопросы.

Во время перерывов публику выгоняли из зала, а нам, подсудимым, разрешалось по очереди выйти в уборную (под конвоем), по очереди покурить здесь же, в зале, поговорить со своими адвокатами. Нечаянно я слышала разговор Поздеева с Бабицким:

— Константин Иосифович, Горбаневская освобождена от судебной ответственности. Так что вы спокойно можете сказать, что плакат, который вы держали, принесла она. — Нет, я этого не скажу. — Но она сама это говорит! — Это ее дело. А я не скажу. — Ну, хорошо. Я вас сам спрошу об этом. На мой вопрос, вашего защитника, вы ответите? — Нет, я не могу. — Константин Иосифович, вы мне затрудняете защиту. — Простите. Но я не могу отвечать на такой вопрос. — Но почему, почему? Ей же ничего не будет. — Ну, я считаю это непорядочным, — с заминкой нехотя говорит Костя.

Дремлюга сберег пять пачек ларечных сигарет и сует каждому из нас потихоньку — на память. Он и в милиции, куда нас привезли с Красной площади, угощал нас. Достал из кармана банку черной икры: — Ешьте, ребята, я специально взял. — Так ешь же и ты сам! — А я ее не люблю.

До 25-го августа я Дремлюгу почти не знала; познакомились за месяц до этого, виделись три-четыре раза, а уж говорить — так ни о чем и не пришлось. Сейчас он незаметно пододвигает ко мне листок бумаги: — Прочти, это мое последнее слово.

Я читаю: «Всю мою жизнь я прожил, как раб. Свободным я чувствовал себя пять минут 25-го августа на Красной площади». И дальше — политическое выступление, пропагандистская речь (к сожалению, я ее не запомнила).

— Как ты думаешь, дадут сказать? — шепчет Володя. — Не знаю. Прерывать, наверное, будут. — Не могут же они лишиться меня последнего слова! Листочек лежит у меня на коленях, и вдруг я вижу, что конвоир, скосив глаза, заглядывает в него. Наклонился, хват —

и листок с Володиным последним словом у него в руках. Он передает его суду.

Когда в конце процесса дошла очередь говорить последнее слово, судья Лубенцова страшно нервничала, сидела вытянувшись, наготове. Едва он произнес первую фразу, как она его прервала. Потом еще раз, еще раз. Так и не дала ему сказать.

Суд длился три дня, первые два — с утра до позднего вечера. В первый день нам по какой-то оплошности не дали еды. Родственники забеспокоились, адвокаты тоже, куда-то бегали, вели переговоры — и в результате их хлопот Флора Литвинова, мать Павла, принесла нам «вольную» жратву: кефир, булочки, бутерброды. То же она хотела и во второй день, но не тут-то было. Чтобы не развращать арестантов нежной пищей, лефортовское тюремное начальство доставляло прямо в зал суда бачок с тюремной баландой.

В конце процесса, как и полагается, был зачитан приговор. Закон предусматривает, что приговор обсуждается, выносится и записывается в совещательной комнате тремя судьями (т. е. судьей и заседателями) наедине. В совещательной комнате не должно быть телефона, туда не допускаются посторонние, в том числе и машинистка. Приговор записывается от руки. Я увидела: судья Лубенцова читала приговор с машинописного текста.

Демонстрация, суд — это были моменты истории. Все остальные связанные с ними события — это будни сегодняшнего архипелага ГУЛаг.

Ко времени ареста я была неплохо теоретически подкована насчет ГУЛага, тюремно-лагерная тематика составляла область моих чуть ли не профессиональных интересов. Множество устных рассказов, некоторое число письменных (в основном самиздатских) произведений разнообразных жанров послужили для меня учебным курсом; а поездки в лагерные зоны Мордовии на свидания к Юлию Даниэлю — чем-то вроде наглядных пособий, своеобразным полигоном в этой области, которая, таким образом, не казалась мне таинственной и безотчетно-пугающей.

Осенью 68-го года мне представилась возможность соотнести теорию с практикой.

Еще только решившись пойти на демонстрацию, я понимала, что на этот раз точно буду арестована и осуждена — на три года лагерей, как считала я до самой речи прокурора на суде. К аресту я

постаралась подготовиться практически, исходя из своих познаний на этот счет. Накануне 25-го августа написала записку отцу, сыну, Юлию Даниэлю, оставила некоторые бытовые просьбы своим подругам, передала приятельнице ключ от квартиры (уходя из дому, я могу захлопнуть дверь без ключа). Сделала сверхсметную покупку: купила себе первые в жизни брюки. Дело в том, что на меня когда-то произвела гнетущее впечатление одна деталь из рассказов Майи Улановской — как у нее в тюрьме сползали чулки (пояса и подвязки у женщин отбирают) и какое она испытывала из-за этого унижение. Итак, я купила брюки, в них отправилась на демонстрацию и очень гордилась своей предусмотрительностью.

Очень скоро выяснилось, что, как обычно бывает, применение книжных знаний на практике требует притирки, подгонки, модификации. Я так много я не учла, забыла, не предвидела! Я забыла, что до тюрьмы меня приведут домой на обыск, а как же попасть мне с моими обыскивателями в дом — без ключа? «Где ваш ключ?» — «Я его отдала знакомой». — «Кому? Поедем, возьмем». — Но я не хотела называть свою подругу, тем более являться к ней с таким эскортом, и пришлось плести всякую чушь: «Я точно знаю, что ее нет дома» (это в первом-то часу ночи!) и т. п. «Тогда придется ломать замок». — Это меня тоже не устраивало: квартира-то пуста (сосед недавно умер, сын в отъезде), после нас останется отпертой и без присмотра — нашу собаку убьют или выбросят из дома... Тут я вспомнила, что у соседей с третьего этажа ключ подходит к нашей двери. Увидев меня в столь странном сопровождении, они испугались, но ключ дали.

И ничего, кроме брюк, я не приготовила, чтобы взять с собой в тюрьму, — ни папирос, ни сахару, ни мыла с зубной щеткой, ничего. «Собирайтесь», — говорят мне после обыска. И я растерялась: как «Собирайтесь»? разве можно что-то взять? Так бы и отправилась, как была, но во время обыска пришли моя подруга Нина Лисовская, та самая, которой я отдала ключ, и неожиданно приехавший сын. Нина сложила мне в авоську весь домашний сахар, весь мой запас папирос (жаль, что мал был) и прочее, включая халат.

Неожиданное появление сына совершенно выбило меня из колеи. Он ездил в Тарту: только что окончив школу, он сдавал вступительные экзамены на физфак Тартуского университета, получил наивысшие оценки, но все же не был принят из-за неблагонадежности обоих родителей. Мы узнали об этом перед 21-м августа, и он сразу

поехал туда за документами. Все эти дни я думала: как хорошо, что его нет в Москве, он захотел бы пойти вместе с нами, и я не нашла бы доводов, чтобы не пустить его. Арест — естественный момент развития моей жизни, а его жизнь могла бы сломаться в самом начале.

Нам было о чем поговорить. Он рассказал: для того, чтобы отказать ему в приеме в университет, не называя настоящих причин, в Тарту на физфак не приняли вообще никого — закрыли прием; но родителей других абитуриентов, возмущенных небывалым казусом, успокаивали: «Не волнуйтесь, пусть ваш сын походит на вечерний факультет, и через полгода мы его переведем на дневной». Моему же сыну, Александру Даниэлю, — категорический отказ.

Мы сидели с ним на диване, разговаривали, а на нас покрикивали: «Нельзя разговаривать!» Потом мы попрощались, сын вышел за мной следом во двор, и когда машина (легковая, не «черный ворон») тронулась, пробежал за ней немного. Ему было тогда семнадцать с половиной лет. Когда я увидела его, бегущего вслед за машиной, то почувствовала как будто удар в сердце и подумала: как же я могла его оставить?

И в другой раз такую же боль вместе с чувством вины я ощутила через три месяца, в тюрьме: на послесудебном свидании сын сказал мне, что наша собака Кэри умерла. Умерла от тоски по мне и по дому — даже сейчас я с болью пишу это. В камере я вылепила из хлеба фигурку Кэри, она стояла на столике у меня в изголовье, а за несколько дней до смерти собаки наздирательницы во время камерного обыска разломали и искрошили фигурку — как будто магическое действие совершили... Мне никто из близких не снился в тюрьме, я вообще редко вижу сны; а Кэри снилась после смерти, и я всегда просыпалась в слезах.

Я плакала в тюрьме еще один раз — по-другому, от злости. Причиной были те самые брюки, покупкой которых я так гордилась. У меня их отняли в первую же ночь, во время приемного обыска. Кстати, я даже не сразу поняла, что производится обыск. Меня завели в маленькую тесную камеру («бокс»), предложили раздеться догола «для осмотра»; одежду мою всю унесли — я подумала, в прожарку. Потом пришла женщина в белом халате — я решила, что медсестра, — и стала меня «осматривать». Перебрала волосы — проверка на вшивость, подумала я, — осмотрела пальцы ног и между пальцами. Никаких приседаний, никакого интимного осмотра; пальцы ее ка-

сались тела быстро, ловко, осторожно, даже нежно. Помнится, оставаясь при том же заблуждении, я говорила ей какие-то «фраерские» глупости: мол, я себя вполне хорошо чувствую, мыться мне не обязательно, т.к. я только сегодня мылась, и т. п.

Только когда она же принесла обратно мою одежду — без всякой прожарки — и, отдавая ее мне, так же быстро и ловко прощупала какой-то недопроверенный шов, я поняла, что проворонила важный начальный момент тюремной жизни — личный шмон, после которого человек психологически становится арестантом.

Так вот, она не отдала мне брюки: «В них вставлена «молния», у нас не разрешается». Как же я об этом забыла! Я же знала, что металлические предметы запрещены! Попыталась настаивать — Нет: «Мы и так нарушаем инструкцию — вам вот туфли отдаем, а на них пряжки; надо бы срезать, да вещь жалко. Скажите спасибо». Верно, и на туфлях пряжки металлические — тоже забыла! Меня отправили в камеру в ситцевом халате, хорошо, что Нина догадалась положить его; и хорошо, что в августе тепло. Ладно, думаю; все равно я брюки выбью обратно.

Когда дней через 10-12 меня вызвали из камеры на допрос («Кто здесь на «Б», на выход!» — на что моя сокамерница неизменно откликнулась: «Мы обе на «б»!»), я выйти отказалась. «В халате на допрос не пойду». Надзиратель постоял в недоумении и пошел докладывать, а через некоторое время — ура! победа! — несут мои брюки. Но после допроса меня в «бокс» — «Раздевайтесь!» — и снова вместо брюк выдают халат. Ну, думаю, надоест же вам эта история с переодеванием. Через несколько дней открывается камера, мне говорят: «Выходите». — «Куда? На допрос — в халате не пойду». — «Да не на допрос! Выходите». Я, оглянувшись на сокамерницу (может, обеим выйти — дезинфекция или что еще?), вышла. Дверь камеры за мной захлопнулась, за спиной стал конвоир и повел, конечно, в следственный корпус. Не идти, упираться, скандалить — я этого не могу, не умею. И я пошла, с каждым шагом все больше досадуя на себя, что далась на обман, и придумывая, как сейчас заявлю следователю, что сесть — отказываюсь, говорить — отказываюсь, потому что не одета, и т. п.; и одновременно понимая, как все это глупо, мелко, жалко. Ввели меня в кабинет — там, кроме следователя, девушка-свидетельница. Приготовленную фразу я произнесла уже сквозь слезы, а потом они потекли, и я не могла заставить себя не плакать.

Следователь грубо говорил что-то вроде: «Подумаешь, кто тут на вас смотрит, вы в тюрьме, а не в театре». Но опознание не состоялось, меня увели.

На другой день мне в камеру принесли мои брюки. «Молния» была выпорота, взамен пришиты пуговицы и даже петли прометаны. А вместо первого следователя меня вел другой, первого я больше не видела. Но торжества от своей победы я не почувствовала.

Я заранее знала о шмонах, кормушке, глазке, неслышных шагах надзирателей и тому подобных внешних приметах тюрьмы. Столкнувшись с ними в Лефортове, иногда как бы отмечала про себя: это что он пальцами щелкает? А, помню, это значит: «Веду зека». Некоторые из этих узнаваемых деталей производили на меня совсем не то впечатление, какого я ожидала, судя по фольклору и литературе. Например, меня почти не шокировали обыски, даже личные (все, за исключением первого, производились довольно грубо, вполне канонически). Я чувствовала себя совершенно спокойно. Однажды на прогулке мне перебросили записку из соседнего двора — я подняла хлебный катышек, но не успела даже разломить его: прогулка кончилась. Едва мы вошли в камеру, за нами влетели надзирательницы: «Обыск! Стать у двери!» Мы с моей сокамерницей стояли и смотрели, как перебирают наше барахлишко, светят фонариками под койки, ощупывают нижнюю крышку тумбочки. Потом приступили к нам: карманы, волосы, лифчик, трусы, туфли и т. д. Поворачиваясь, расстегивая по команде, что велят, я буквально на глазах у надзирательницы перекладывала катышек из руки в руку — я и сама забыла, что это записка. Не нашли.

Потом, когда они ушли, я прочла записку — мне писала Ира Белгородская, моя двоюродная сестра, арестованная за три недели до меня. Невинная записка, нежные слова — но если бы нашли, Иру могли бы упечь в карцер «за нарушение».

Гораздо унижительнее, чем обыски, ощущалась необходимость отправлять нужду перед глазком, тем более, что на первом этаже, где была моя камера, все смены надзирателей — только мужчины. Впрочем, на глазах у женщин-надзирательниц (на втором этаже, куда меня перевели под конец, в этом качестве почти одни женщины) почему-то еще унижительнее.

Зато унитазы в камерах, вместо параш — это была приятная неожиданность. Позднее, то ли в этапе, то ли в пересылке, я услышала

ходячую зековскую байку (выдается за правду): раньше во всех тюрьмах были парашаи, но, было время, посадили Утесова (по-моему, он никогда не сидел), а когда его выпустили и он стал богат и знаменит, он отдал большие деньги («все свои деньги»), чтобы по всем тюрьмам сделали унитазаы. Интересно — почему Утесов?

Зато первая прогулка произвела на меня удручающее впечатление. Я тогда была еще в одиночке, это был третий или четвертый день в тюрьме. «На прогулку!» — и я обрадовалась — гулять! Пока держат в одиночке, не дают ни книг, ни бумаги с карандашом, даже тюремных «Правил» на стене нет; ни одной буквы перед глазами; и ни одного живого человека, кроме тюремщиков. И вот — прогулка! Конец августа, солнышко светит, тепло-тепло, должно быть (а в камере мрачно и промозгло). И вот заводят — снова в камеру же, ну, чуть побольше моей и без крыши. Там одна — и здесь одна, там стены со всех сторон — и здесь тоже, там глазок — здесь глазок в двери, да еще сверху, с галереи, конвоир устался и смотрит. И — пусто, совершенно пусто, вцементированная скамейка без спинки посреди «двора», в углу высоко — козырек от дождя, и все. Как здесь «гулять»? Что делать целый час в этой пустоте? Предмета — ни одного, глазам видеть нечего. Когда этот час кончится? Неизвестно — часы-то отобрали.

Через день-два я «гуляла» уже с полным удовольствием: ловила, если попадало, солнышко где-нибудь в углу камеры-дворика, садилась на цемент или прислонялась к цементной стене, распластавшись, раскинув руки, и грелась, передвигаясь вместе с солнышком. Если весь дворик был в тени (почему-то это чаще) — переключалась через скамейку, перепрыгивала через нее раз 20-30, прыгала вверх, стараясь достать рукой до козырька. Иногда удавалось задеть за него концами пальцев, и тогда на все дворики разносится жестяной грохот, конвоир бежит по галерее: «Удалю с прогулки!» — «Прыгать правилами не запрещено», — отвечаю. «Вы так и через стену перепрыгнете!» — «Тренируюсь». Но первое гнетущее ощущение от тюремной прогулки, разочарование, даже обида — помнятся и сейчас.

«Узнала» я, как знакомую, и мертвую тюремную тишину. Но это только в первые дни — ни звука не слышно, как будто нет вокруг ни живой души. Я тогда, в одиночке, вслух читала стихи и даже, стыдно сказать, пела (я совсем не умею петь), сначала тихо, а потом так громко, что надзиратель всовывался в кормушку: «Это запрещено».

Через несколько дней у меня прорезался тюремный слух. Я не только слышала звуки, но и легко опознавала их, расшифровывала: чуть вдали хлопнуло — отбой, вот и рядом кормушка хлопнула — в соседней камере очки отбирают, значит, там кто-то есть; слышны шаги в коридоре — конвой кого-то ведет. Стала слышать хлюпанье тряпок в ведре и шопот арестанток-обслуги, когда они коридор убирают, даже слова могла разобрать. Из соседней камеры ночью слышны были шаги (там сидел, как я потом узнала по перестукиванию, мужчина — официант из Дома журналистов, по имени Борис, а фамилию не помню; у него была крупная растрата, как он мне сообщил; сумма тянула на расстрел; он ночами не спал, все ходил, ходил. Иногда мне было слышно, надзиратель открывал кормушку и негромко говорил: «Лег бы, что ли, себе хуже делаешь»; но, видно, ему позволяли не ложиться).

Первое время я наблюдала за глазком из чистой любознательности: как часто заглядывают? замечу или не замечу? можно ли соотнести почти неуловимые звуки (неслышные шаги, прислонился к двери, прикоснулся рукой, прошелестело по двери) с почти незаметным, не видимым отслоном заслонки? Ее внутренняя сторона черная, отодвинули — опять черно за стеклом, глаз приник — его не видно; но какие-то блики при этом передвигаются, что-то изменяется — и вот угадываешь в черноте зрачок еще более черный, свет в него глубже уходит, чем в пустое стекло, угадываешь, почти видишь глаз, иногда внимательный, осторожный, а иногда — халтурно глянул, бросил заслонку (слышно) и дальше пошел.

Дней через десять меня перевели из одиночки в камеру № 47, и здесь глазок стал элементом театрального действия, цирка. Каким-то образом, неизвестно, как и зачем, с внутренней стороны заслонки был вбит блестящий гвоздь или, скорее, кнопка вдавлена — блестящий кружок на черном фоне. Надзиратели этого не знали, им снаружи не видно. Вот кнопка осторожно-осторожно поплыла в сторону: подкрадывается, хочет нас поймать на чем-нибудь запретном. Кнопка ушла за край глазка, ее не видно. — Смотри, смотри, я книжку читаю, даже головы не поверну к двери. Кнопка на месте — можно постучать соседям, просто так, тебе на зло, слышишь, а не поймаешь.

Иные тюремные навыки оказались у меня в крови (может, у всех?). Так, первое, что я сделала в камере, едва осмотревшись, в

первую же ночь, — это, оглядываясь на глазок, заточила о кровать черенок персональной алюминиевой ложки. Ничего я про это не знала, как точить — понятия не имела. Зачем? А хлеб резать, чтоб от пайки не ломать. (Оказалось, это было излишнее мероприятие. Утром открылась кормушка, в нее всунулась зверская усатая физиономия и произнесла: «Р-р-рзать будэм?» — «Кого?» — «Хлэб, сыр; что тэбэ рэзать нада?» — Надзиратели в Лефортове, оказывается, исполняют и функции буфетчиков: по просьбе заключенных нарезают сыр, колбасу — ларечные или из передачи; моя сокамерница, бывало, бурчала: «Пусть режет потоньше, накромсал как!») Эта понапрасну заточенная ложка благополучно пережила у меня все шмоны до самого этапа; я пыталась заточивать ею карандаши, но не вышло — металл слишком мягкий.

Так же инстинктивно в этапах и на пересылках я торопилась занять место на верхних нарах, на верхней полке; и всегда успевала, пока другие осматривались, закинуть туда свой рюкзак. Потом я узнала, что верхние нары — «законное» место главных в камере; а уж они-то опытные — понимают, где лучше.

Тюремная пища не показалась мне ни недостаточной, ни особо несъедобной, даже от ее однообразия я не страдала. Сильно ощущала только недостаток сахара: 15 г в день для меня крайне мало (теперь выдают 20 г, но мне и этого не хватило бы). Правду тут надо учитывать несколько обстоятельств. Во-первых, я провела в тюрьме всего три с лишним месяца и не успела изголодаться, а энергию здесь тратить не на что. Во-вторых, за это время я получила две передачи (третью — перед самым этапом), хотя и соответствовавшие лефортовским правилам, т. е. весом не более 5 кг, без масла, без сахара и т. п., но любовно и обдуманно подготовленные: например, неизвестная мне тогда женщина Надежда Васильевна где-то раздобывала особо калорийное, сладкое, жирное печенье; этот сорт печенья передавали и моим подельникам, а потом и другим заключенным, и его стали называть «лефортовским печеньем». В-третьих, в Лефортовской тюрьме пища много доброкачественнее, чем в других тюрьмах (я имела возможность сравнить ее с пересыльными тюрьмами — по сравнению с ними лефортовская кухня — просто ресторан). Может быть, кормежка здесь лучше потому, что меньше заключенных; возможно, лучше следят за тем, чтобы в котел попало все, что полагается по скудным тюремным нормам.

Наконец, имеет значение и то, что люди моей среды не избалованы хорошей кормежкой. Кто обедал в столовой Ленинской библиотеки, без особого отвращения съест и лефортовский обед. А вот моя сокамерница Валя, официантка из ресторана Казанского вокзала, вовсе не могла его есть. Когда у нас подходили к концу запасы из передач и из ларька и мы оставались несколько дней на тюремном пайке, она начинала ныть: «Есть нечего!» — а тюремную еду брала с большим выбором. Я же решила непременно сохранить силы и ела даже то, что с трудом лезло в глотку, — например, какую-то серую кашу из крупной крупы (в лагерях ее называют «керзовой»). Валя смеялась: «Ты ее ешь, как икру: наберешь за щеку и смакуешь, пока сама не проскочит». Иногда я, набрав за несколько дней ложки три сахара (для этого приходилось пить пустой «чай»), сдабривала им один раз эту кашу. Или несколько дней пью кипяток без сахара, зато раза два в неделю — сладкий по моему вкусу.

Вообще надо сказать, что от тюрьмы я ожидала больше неприятных ощущений, чем получила. Это иногда даже смущало меня: друзья на воле считают, думала я, что я здесь «страдаю», между тем, существование вполне терпимое. Конечно, ночью мешает резкий свет в глаза — лечь же головой от света не разрешают. Валя спит, накрыв лицо полотенцем; мне же полотенце мешает еще больше, чем свет.

Лампа под потолком не выключается круглые сутки, иначе и в полдень в камере полумрак: окно заслонено намордником. Кроме того, как-то очень плохо устроена вентиляция (да и есть ли она?), жарко, душно, волгло, к тому же мы обе курим — дышать нечем. Раз пять-шесть в день мы хватаем полотенца и начинаем выгонять затхлый вонючий воздух в небольшую форточку, которую снаружи загораживает щит намордника; это мало помогает. Когда нас выводят на прогулку, дверь камеры остается открытой настежь; но после прогулки свежего воздуха хватает ненадолго. — Ну, так ведь это тюрьма, а не санаторий, как справедливо любит отмечать начальство.

Все эти неприятные детали тюремного быта, в общем, переносимы, тюрьма в ее нынешнем состоянии (вернее, двенадцать лет назад) не должна никого страшить. Конечно, если вы здоровы, у вас ничего не болит. Если побаливает сердце — в камере будете задыхаться; болен желудок — станут мучить изжоги от каш и от черного хлеба; ревматизм обострится от сырости. На этот случай тюремным

кодексом предусмотрены поблажки: «диетпитание» (не видела, не могу сказать, что это такое), кажется, полкило сахара можно купить в ларьке (раз в две недели), масло в передаче (в счет тех же пяти килограммов общего веса — раз в месяц, а при мне было раз в два месяца). По заключению тюремного врача могут добавить в день еще час прогулки (итого два) — больным, а также *беременным женщинам* и женщинам, содержащимся в тюрьме с *грудными детьми*. Трудно поверить, что беременных и кормящих женщин могут держать в тюрьме до суда! Но я встречала в этапах таких двоих — и они далеко не исключение. Камерное содержание грудному ребенку, ребенку, еще не родившемуся; зато двухчасовая прогулка как проявление особой заботы государства о материнстве и младенчестве. Да, тюрьма не санаторий, и «мы вас сюда не звали» (еще одна формула, излюбленная тюремной администрацией) — но, между прочим, такое вот «не санаторное» содержание предназначено для людей *еще* не осужденных и, может быть, невиновных (вдруг суд оправдает! хотя вряд ли), не говоря уже о вовсе невинных младенцах. Ну, ладно, ладно, не умру я от «керзовой» каши, но почему меня, еще не признанную виновной, вынуждают давиться этой кашей? На каком основании свежий воздух выдают по голодной норме? — «На основании закона», — отвечают мне, закона, принятого высшим органом власти нашей страны — Верховным Советом народных депутатов.

С чем у меня дело не заладилось, так это с чтением. Я слышала от прежних «сидельцев», что в Лефортове замечательная библиотека, составленная из «конфискованных книг» (думаю, это еще одна тюремная легенда). Ничего подобного, т. е. книг, которые могли подлежать изъятию, я в каталоге не обнаружила. И вообще библиотека показалась мне бедной. Лишь незадолго до этапа я узнала, что тюремный библиотекарь приносил в камеру, чтоб не трудиться, одну и ту же каталожную папку, а всего их восемь или больше. Не найдя ничего «такого», я решила читать то, что нигде больше прочесть не соберусь, расширять свой культурный кругозор. Из общеобразовательной литературы в моем каталоге оказались книга Тимирязева (кажется, «Жизнь растений») и сочинения Гиппократов. Я притворялась сама перед собой (наверное, также перед Валею и библиотекарем), будто с интересом изучаю эти умные книжки, — на самом же деле заставляла себя жевать их, как «керзовую» кашу. Что-то и прочие книги, даже Диккенс, например, читались с усилием, про-

скакивали мимо сознания (разве что кроме «Былого и дум» — самое тюремное чтение). В моем выборе книг одно было хорошо: все читаемое прочтешь задолго до обмена книг, а у меня в запасе еще Гиппократ остается.

Мне удалось вытребовать у тюремного начальства Уголовный кодекс. «Что нам романы всех времен и стран!» Впервые я прочла его с начала до конца — и была поражена тем, как много его статей предусматривают в качестве наказания смертную казнь. Если считать с разделом «Воинские преступления» — получается, не меньше сорока процентов всех возможных преступлений могут караться этой «временной» высшей мерой наказания. Я вообще считаю смертную казнь недопустимой, но тем более за растраты, хищения и т. п., т. е. за деньги! Причем, я знаю, применение смертной казни в этих случаях определяется *суммой* растраты или хищения — на жизнь установлен как бы прецедент. Или — «Сдача в плен по трусости или малодушию» — наказание — «смертная казнь или 15 лет заключения». Так что же теперь возмущаться, что Сталин наших военнопленных прямо из фашистских концлагерей отправлял на Колыму! да и то ведь не всех. Какой-нибудь пацан восемнадцатилетний, вроде моего Саньки, испугался, поднял руки вверх — под расстрел его! По-моему, это — позорный закон.

Из газет в Лефортове дают только «Правду». Это единственный канал односторонней связи с внешним миром: ни других газет, ни радио, ни писем — ничего. До тюрьмы я газеты не любила и не умела читать, ничего в них не понимала. А тут стала не просто читать — вчитываться. И мне стало казаться — такой странный эффект замкнутого существования — чуть ли не каждая информация имеет отношение ко мне, к нам, демонстрантам. Сейчас мне трудно восстановить, как это у меня получилось. Ну, что-нибудь вроде: написано, что такой-то токарь или пекарь одобряет начавшийся в ЧССР процесс нормализации. И начинаешь высчитывать: ага, с 21 августа прошло два месяца, а «нормализация» только начинается. Понятно. И следующее ощущение: эти слова, этот бодренький тон — чтобы *меня здесь обмануть...* Однажды, еще в первые дни я выудила в газете действительную проговорку, сообщалось, что Людвик Свобода заверил своих сограждан: они, деятели «пражской весны, вернутся из Москвы в полном составе». Видно было, что все выступление Свободы перередактировано, как обычно у нас в газете, не осталось

ничего конкретного, а вот эта фраза проскочила. Всего только, а все понятно, и когда я много лет спустя узнала, как привезли в Москву чехословацкое правительство и ЦК, — это не было для меня новостью. Даже если в какой-нибудь день «Правду» нам не давали — это тоже было значимым фактом, становилось пищей для размышлений и умозаключений.

Теперь, на воле, я снова разучилась понимать газетные тексты: ни к чему стало, когда можно радио слушать.

Чем еще, кроме чтения, занять время от подъема до отбоя? Времени бесконечно много, и тебе даже его течение знать не дано: часы-то отобраны.

С утра каждый день я принималась за уборку (и за себя, и за Валу, по своей охоте), тянула ее, как могла, до завтрака. И зарядку-то делала не ради гигиены, а чтоб время занять — ну, и еще чтоб поддержать политзаключенных. На меня нашла небывалая чистоплотность: каждый день я находила что постирать, мыла голову холодной водой, не дожидаясь бани, — благо, вода в камере из крана. Я охотно чинила бы что-нибудь из одежды, так иголку дают на несколько минут раз в десять дней, в банный день. Помню, моя тетья в 38-м передала дочери свои тюремные вышивки. Это была тонкая художественная работа, выполненная иголкой, сделанной из рыбьей кости, нитками из распушенных трико и чулок. Иголку сделать я не умела, и научить было некому. А и сделала бы — надзиратели отобрали бы, нас в камере двое, вполне на виду, не то что в 38-м, когда за каждой не уследишь.

Зато когда разрешили купить тетради, я стала рисовать. Сюжет был один: я изображала в разных ракурсах свою камеру — то при вынырывающем откуда-то, пробивающемся сверху через решетку луче солнца, расчерчивающем всю камеру крупной клеткой, то при обычном электрическом освещении, которое не может разогнать накопившиеся в углах под сводами тени. Потолок в камере весь состоит из сложных сопряжений кривых поверхностей, так что задача у меня была не столько художественная, сколько чертежная, я и стремилась сделать не рисунок, а что-то вроде объемного чертежа. Все эти картинки у меня регулярно отбирали при шмонах, а последние — перед отправкой на этап.

Однажды я нарисовала игральные карты — Валя все горевала, что не может погадать. Конечно, это не были карты классной рабо-

ты, какие умеют изготавливать блатные. Для их производства существует стандартная технология, которой я не знаю, плюс вдохновение, для которого нужен стимул. Зато я от скуки индивидуализировала карточные фигуры: казенному королю нарисовала погоны, кому что; а у валетов обнаружилось даже портретное сходство с нашими конвоирами.

Только Валя разложила свое гадание — дверь распахивается, влетает корпусной надзиратель: «Карты! Запрещено!» — и унес колоду. Потом, вычитывая мои прегрешения, начальство ставило мне в вину не «изготовление карт», уж слишком они были дилетантские, а «насмешку над надзорсоставом, выразившуюся в...». Впрочем, наказания за это не последовало.

Зато в самом конце пребывания в Лефортово я угодила в карцер — до сих пор не понимаю, за что. На суде я увидела у Кости Бабицкого мундштук (а мне неприятно было курить сигареты без мундштука). «Откуда?» — спрашиваю. — «Из хлеба сделал» (Володя Дремлюга тут же замечает: «Умелец! Токарный Станок ты, наверное, из подушки сделал?»). Отличный черный мундштук, словно эбонитовый, ровненький, действительно, как с токарного станка. Ну, сделаю и я себе такой же! Для этого, я вспомнила, надо нажевать хлеба, намять его и смешать со жженой бумагой. Несколько дней в камере я осваивала производство, у меня было уже несколько мундштуков, но я добивалась совершенства, чтоб не хуже, чем у Кости. Вот сижу, жую хлеб, жгу бумагу — открывается кормушка: «Вы что это делаете?» — «Мундштук». — «Покажите-ка!» Я доверчиво потащила миску с полуфабрикатом, надзиратель тут же уволок ее. Через день-два вызывают меня из камеры к врачу. Думаю, наверное, перед этапом проверяют здоровье (вот наивность-то! как будто кому оно важно, твое здоровье!).

Врач задает два-три формальных вопроса — кстати, я не совсем была здорова, о чем и сказала, — сует градусник. — «Температура нормальная, все в порядке». Я ей снова насчет этапа, что, мол, нельзя ли немного отложить, — она, естественно, смотрит на меня как на ненормальную: можно ли «отложить» этап, раз заключенный держится на ногах? И вообще, что эта дура (т. е. я) вообразила себе, какой этап, не об этапе речь.

Словом, не заводя в камеру, конвоир ведет меня в бокс и велит раздеться догола. Мою одежду уносят, взамен выдают тюремную: ка-

женное белье, синие бумажные штаны и куртку, матерчатые тапочки. И ведут — мимо моей камеры. — «Моя 47-я». — «А это карцер».

Позже я узнала, что в карцер меня упекли неправильно — не зачитали постановления, за что. Правда, на словах сказали: 15 суток за нарушение режима — может, засчитали этот самый жеванный хлеб? Неужели за это дали 15 суток? — до сих пор не верю. Даже один надзиратель удивился: «Не может быть! Тут что-то не так». Я тоже думаю, какая-то у начальства была своя причина и цель, но какая — не могу додуматься. Врач же, оказывается, выполнял важную гуманную формальность: перед карцером он должен удостоверить, что заключенный это наказание выдержит. Впрочем, мой карцер оказался не слишком страшен: такая же камера, как моя, даже в том же коридоре (говорят, в Лефортове есть и другие, настоящие, где-то в подвале). Только здесь была одна железная кровать без всякой постели, в качестве матраса к ней прилагался деревянный щит вроде пляжного топчана. Больше здесь ничего не было, так что казалось просторно и даже как будто светлее, чем в родимой 47-й. И значительно холоднее: очевидно, надзиратель прикручивал отопление, а на ночь, похоже, и вовсе отключал его (это был конец ноября, так что о жаре в камере мы уже забыли). В тюремной одежде, без одеяла, я так мерзла, что почти не спала от холода. Своего ничего в карцере не полагается: ни курева, ни мыла, ни расчески; и казенного не выдают. Ни книг, ни бумаги, ни карандаша. Кроме того, наказание заключалось в том, что пищу давали через день, и то не полностью: сахара, например, совсем не давали. А в пустой день — только хлеб и кипяток.

Я, наверное, разозлилась, особенно за этот «медосмотр». Со зла вовсе не стала есть, даже хлеб, — но никакой голодовки не объявила, просто суп и кашу тайком выплескивала в унитаз, а хлеб складывала на полку. Через три или четыре дня в карцер явилось какое-то начальство, человека четыре каких-то главных чинов и при них начальник режима. — «Ну, как вам нравится здесь?» — «Ничего». — «А почему хлеб не съеден?» — «Так, не хочется». Ушли.

Насколько я знаю, обычно начальство карцер не посещает; и на свидание из карцера не выводят, — а меня вывели. И вообще никаких 15 суток я там не сидела, а на пятый-шестой день, после дурацкого разговора с начальником тюрьмы («Вы, наверное, тоже наказываете сына за непослушание — не пускаете его в кино... Вот и нам

приходится...) меня отвели за моим барахлом и посадили в другую камеру, на втором этаже.

Мое собственное поведение в тюрьме не вполне соответствовало тому идеальному облику политзаключенного, который я себе представляла. Я, например, знала, что политзаключенный с достоинством противостоит тюремщикам и унижительным тюремным правилам: не встает перед тюремным начальством, не позволяет, чтобы ему «тыкали», и т. п. И вот в камеру входит начальник по режиму, я в это время сижу на своей койке с ногами, читаю. Он здоровается, я отвечаю: «Здравствуйте, — и подвигаю ему табуретку: — Садитесь, пожалуйста». Честное слово, в этом жесте не было иронии ничуть, просто я в это время позабыла все правила, и тюремные, и политэковские, почувствовала себя хозяйкой комнаты, в которую вошел посетитель. «Режим», конечно, не сел, но и не возмутился моим предложением — у него только в углу рта промелькнула усмешка, по которой я поняла, какую глупость сморозила, и вспомнила о соотношении «Тюремщик — политзаключенный». Тем временем я уже успела спустить ноги с койки и сунуть их в туфли. Вместо канонического рывканья («Встать! Положено!.. Не положено!..») я услышала спокойно и даже как бы с неловкостью сказанную фразу: «У нас полагается вставать, когда входит администратор». И опять я забыла, что «у нас» — это у них, у тюремщиков, и какое мне дело, что у них полагается. Дело в том, что у нас, т. е. у меня, тоже такая привычка: я неловко себя чувствую, если я сижу, а собеседник стоит. И я встала, а когда вспомнила, что так не полагается, было уже поздно, не плюхаться же обратно на койку.

Надзиратели и конвоиры обращались ко мне в основном на «вы». Только один пожилой служака говорил мне «ты». Сижу я, с осторожностью перестукиваюсь с соседом, поглядывая на глазок. Вдруг надзиратель как грохнет кулаком в дверь, как рывкнет через кормушку что-то запретительное. Но в его «тыканье» почему-то не было для меня ничего унижительного, как-то оно соответствовало всему стилю: он не подкрадывался к глазку, не ловил меня с поличным и не подавал на меня рапорты по начальству. Странно было бы в ответ на его «Ты у меня постучи! Достучишься!» отвечать: «Говорите мне «вы»».

Вообще многие надзиратели вскоре приобрели в моих глазах индивидуальные черты, что исключало единообразный тип отноше-

ния к ним. Один — молоденький, белобрысенький — видно, сильно скучал на дежурстве и придумал себе развлечение: подойдя к камере — нет чтобы тихо заглянуть в глазок, — водит чем-то по пружине или защелке снаружи, получается такой тихий треск. Я этого парнишку называла Сверчком. Когда я вслух читала стихи, Сверчок останавливался надолго за дверью и, слышно было, вздыхал, отходя к другой камере. Иногда спрашивал: «Что это за стихотворение? Прочтите еще».

Другой надзиратель, проходя мимо моей камеры, вдруг открыл кормушку, подмигнул и пропел негромко: «...Еще Пашу, и Наташу, и Ларису Богораз...» (из песни Юлика Кима) — и быстро захлопнул кормушку. В другой раз, кажется, он же так же быстро сказал в кормушку: «Белгородская в 45-й, ваш Литвинов в 43-й». Так я узнала, что Ира и Павел в одном со мной коридоре, и по утрам, опорожня мусорный сосуд в большую бадью для мусора, которую надзиратели носят от камеры к камере, старалась высунуться подальше в коридор и погромче поздороваться — как будто с ними, а на самом деле в надежде, что мой голос услышат и узнают друзья.

Были и вредные надзиратели, вьедливые, мелочные. Особенно противны в этой роли женщины. Молодых среди них не было, все среднего возраста. Наверное, они смутно ощущали противоестественность своей службы — и от этого вели себя цинично, придирчиво, старались проявить свою власть над арестантами.

Еще неприятнее были в Лефортове медицинские работники — медсестра и женщина-врач. Очевидно, им запрещено разговаривать с арестованными, и поэтому они почти не задают вопросов, даже о самочувствии. На их лицах изображается крайнее презрение к пациенту, просто видно, как врачу противно пользоваться тобой, преступника. С медсестрой я столкнулась на второй же день в тюрьме. Первую свою хлебную пайку я за день не съела и на другой день от хлеба отказалась: «У меня еще есть». За двое суток хлеб покрылся зеленым налетом плесени, но я не придавала этому значения и ела его, слегка обчистив, — не выбрасывать же. И отравилась. Начались рези в животе, рвота, сильная слабость. Заметив это, надзиратель сам вызвал медсестру. Она пришла: «Что с вами?» — «Да вот рвота, живот болит, голова». — «Не вижу, при мне рвоты нет». — «Что же, я вас обманываю?» — «Не знаю. Будет еще — не смывайте унитаз, приду посмотрю». Больше она не заглянула, а я не просила ее позвать; да и рвоты

больше, кажется, не было. . В другой раз я записалась у корпусного надзирателя на прием к врачу, так как меня беспокоили боли под мышкой и в грудной железе. Во врачебный кабинет ведет конвоир и, помнится, находится здесь же, в кабинете, за занавеской. Врач выслушала мою жалобу с презрительной миной: «Здесь вы все больные; нечего делать, вот и прислушиваетесь к себе».

Да и каков может быть врач, в функции которого входит завизировать помещение заключенного в карцер, разрешить или запретить покупку полукилограмма сахара в тюремном ларьке! Разрешают немногим.

Зато зубной врач оказалась чуть ли не лучше, чем в районной поликлинике, заботилась, как бы не причинить лишнюю боль, залечить зуб поосновательнее, — «чтобы вам надолго хватило; а впрочем, здесь мы оказываем только первую помощь, по-настоящему лечить будете в лагере» (она справедливо не сомневалась, что все ее пациенты отправятся из следственной тюрьмы не на волю, а на порядочный срок в лагерь).

Думаю, что опыт моих взаимоотношений с тюремной администрацией нельзя назвать чистым, все-таки мы, демонстранты, были не обычными заключенными, а как бы привилегированными: нашему пребыванию в тюрьме сопутствовала мировая огласка, и наши особы, вероятно, находились под контролем каких-то высших органов. Вот я потребовала, чтобы меня с сокамерницей перевели в другую камеру, так как в нашей невозможно сосредоточиться, невозможно спать: прямо в окно дудит какой-то мощный механизм из соседствующего с нами института. Кто бы это стал выполнять такие наглые просьбы любого другого заключенного? Целому тюремному коридору не дает спать этот гул. А нас с Валец сразу же перевели по моему заявлению (потом мне пришло в голову, что ведь на наше место вселили других!). То же и с форточкой. Пока арестованные были на прогулке, во всех камерах наглухо заклеили окна и форточки; но мне без труда удалось добиться, чтобы наша форточка открывалась. Эти случаи подтверждают, что я была на особом положении в тюрьме.

Правда, положение моей сокамерницы Вали выгодно отличалось даже от моего положения: в отношении меня строго соблюдались правила тюремного содержания, Валя же пользовалась специальными, незаконными послаблениями. То ей, подследственной,

дают три свидания подряд, и с каждого она приносит папиросы, вкусную еду. То в передаче получает мед, сгущенку, красную рыбу, жареную курицу. Однажды она принесла со свидания свежую газету — «Московскую правду», и надо же, как раз тот номер, где была статья о нашем суде (надо признаться, меня эта статья очень расстроила — хотя чего было другого ждать?). Все это могло значить только одно: Валя — «наседка». Но мне было непонятно, зачем, для чего мне подсаживают «наседку». Что она может у меня узнать, какие тайны выпытать? Не отправило ли нас на Красную площадь ЦРУ? Не замышляю ли я побег из Лефортова?

Все-таки я была настороже, просто из любопытства, из азарта. Вот станет она меня о чем-нибудь расспрашивать, и я пойму, чем интересуется КГБ. А Валя никакого интереса к моим действиям, к моим «связям» не обнаруживала, разговоры вела чисто бабские: «Муж тебе много изменял?», «А у тебя есть любовники?», «Когда ты в последний раз с мужиком спала?»

Неужели в этом состояло ее задание? Неужели госбезопасность могут интересовать такие детали моей жизни?

Весь мой опыт говорит, что да, конечно, именно эти детали и интересуют славных чекистов. В нашу связь с ЦРУ они и сами не верят, а при нужде сочинят какого-нибудь Брокса-Соколова или воспользуются услугами лжесвидетеля вроде Липавского. Дружеские отношения в нашей среде достаточно на виду. Так что из всех видов «преступных» связей остаются одни только «опасные связи» — в качестве инструмента давления, шантажа, который следователи КГБ пытались использовать буквально во всех известных мне следственных делах. Думаю, что иногда этот подлый и, безусловно, противозаконный метод воздействия имел успех.

В томах нашего дела остались многочисленные следы следственных действий такого вот направления: показания соседей Бабицких («Как-то прошлый год Бабицкие, не достучавшись домой, ночевали на площадке»), квартирохозяйина Дремлюги («К нему приходили разные девушки») и т. п. Это были не случайные фразы, а именно те показания, которые собирала следственная группа, — о чем еще могут сообщить соседи по лестничной клетке, как не о подсмотренном в замочную скважину?

Так что Валина бабья болтовня и любопытство вполне могли соответствовать интересам следствия. В то же время ее поведение

выглядело совершенно естественным, свои вопросы она задавала в ходе «грандиозного трепа» о себе самой, так что я решила отбросить свои подозрения. Мало ли что можно вообразить, сидя в камере! В откровенности же — на любые темы — я не привыкла пускаться ни с кем, даже с близкими подругами.

Совершенно нечаянно, не предпринимая никаких специальных проверок, я все же раскрыла Валу как «наседку».

Дело было так. Мне с самого начала резала слух Валина речь, в которой было какое-то несоответствие с изложенной ею автобиографией. Говорит, не сидела никогда, — откуда же характерные чисто лагерные словечки? Люди Валиного круга, как ни странно, употребляют такие слова гораздо реже, чем интеллигенция. Конечно, эта особенность речи вовсе не говорит о том, что она подсажена ко мне (во всяком случае меньше значит, чем дополнительные передачи); но выдает какое-то вранье. — Валя, так ты никогда не сидела? — Никогда. А ты почему спрашиваешь? — Да вот ты говоришь «получила ксиву» и другие такие же слова...

— Ох, знаешь, у нас в вокзальном ресторане *чего* только не наслушаешься... Я и не замечала...

На том бы и конец; но вечером после внеочередного посещения врача (Валя раза два в неделю записывалась «на прием», а в этот день особенно хлопотала) она устроила мне настоящее представление, в котором уже не было никакой естественности. Плакала, хватала меня за руку, просила простить: — Я тебя обманула. Я сидела, в Бутырках сидела целую неделю, в Лефортово меня оттуда и перевели. Только не выдай, что я тебе призналась. Мне не велели тебе говорить: я уже осужденная, мне здесь быть не полагается. Меня сюда взяли свидетелем... Не выдай меня!

— Ну, кому я тебя здесь выдам? Да и дело обычное, сюда свидетелей даже из лагеря привозят. Успокойся. — Ты теперь думаешь, что я «наседка»... Ну вот, опять.

Новая Валина «легенда» вряд ли правдива: за десять дней в Бутырках такой лексикон не приобретешь. Да и на допросы ее, «свидетеля», что-то не вызывают. Но я не стала уличать, ловить ее, мне это было неинтересно; все равно ведь опять соврет, что укажут.

Однако, разные житейские истории, рассказанные Валею, кажутся мне достоверными — и очень характерными, поэтому я привожу здесь некоторые из них.

Когда Вале было лет 18, мать устроила ее на работу в «систему питания», и в этой «системе» Валя проработала всю жизнь, до нынешних своих сорока лет. «А как же можно где-нибудь еще работать? Это ж на одну зарплату жить!» Мимоходом, не хвастаясь, она говорила, что меньше сорока рублей со смены не приносит — не считая продуктов. «Чаевых столько?» — спрашиваю. — «Ну да, чаевые! Чаевые само собой, а это деньги, кроме чаевых и зарплаты». Она объясняла мне, откуда эти деньги берутся, да я не сумела понять. Какие-то продукты «первого сорта» база якобы отпускает ресторану — а на самом деле не отпускает, их и нет нигде; ресторан якобы из этих продуктов что-то готовит — а на самом деле не готовит; официант якобы блюда подает едоку — а на самом деле подает что-то совершенно другое. Каким-то образом из этих несуществующих продуктов получаются вполне реальные деньги для всех соучастников процесса — этого я не освоила. Зато поняла, что эти бумажные мясо, масло и т. п. — как раз и есть та самая продукция сельского хозяйства, производство которой на душу населения неуклонно растет из года в год.

Одно время Валя служила в вагон-ресторане, там тоже разработана система воровства, в результате действия которой образуются избыточные продукты. «Если ревизия в рейсе — бывало, по сто кило сливочного масла, сахар мешками под откос выбрасываем». Я представляла себе эти выброшенные масло и сахар — в голодной-то стране! — и мне становилось мучительно слушать Валу. Но ей это было непонятно: «Кто ж иначе согласится работать?»

— Неужели за двадцать лет ни разу не попаласть? — Если не зарываться, не попадешься... По ее словам, попаласть она только в самом начале карьеры то ли на недоливе молока, то ли на недосыпе сахара в кофе — словом, на мелочи. Ее уволили с соответствующей записью в трудовой книжке, но мать упросила, чтобы «девочке не ломали жизнь», и приказ изменили на «по собственному желанию». В дальнейшем Валя (опять же если ей верить) вела себя «по-умному», а погорела теперь через бабью глупость. Ее муж ревновал (видимо, не без оснований), устраивал ей скандалы, даже поколачивал, и в конце концов они развелись. Но тут же и помирились, продолжали жить вместе, хотя в официальном разводе. Года полтора назад в очередной раз повздорили, он и донес на нее в отдел кадров, что, мол, она когда-то проворовалась и была за это уволена. Там сделали запросы,

раскопали старый первоначальный приказ — и уволили, вписав в трудовую книжку прежнюю формулировку. «Понимаешь, я двадцать лет честно работала, ничего за мной не было, а под конец трудовую книжку так испортили. Куда я с ней могу сунуться? — имелась в виду та же «система питания». — Я через одну знакомую купила чистую трудовую книжку...»

Помирившись, она и об этом рассказала мужу. Тут как раз у них умерла домработница («у меня всегда, всю жизнь жили домработницы»), оставив на сберкнижке сколько-то сот рублей. Родных у домработницы не было, и деньги — после их невостребования — должны были перейти к государству. «А это же мои деньги, те, что я ей платила. А получить не могли — она, дура чокнутая, завещания на них не оставила». Валя что-то там подделала, с кем-то в Крыму сговорилась — и поехала туда за этими деньгами. Сколько-то она уплатила за сделку, да на поездку, при ее размахе, потратила, да фруктов, вина накупила — я думаю, всю добытую сумму и ухнула. И опять же мужу рассказала.

А он пошел и донес в прокуратуру. На Валю завели дело о подлоге и мошенничестве, начали следствие. Но под стражу не взяли: любящий супруг дал следователю взятку, и тот обещал условный приговор. Но обманул, гад, перед самым судом уехал в отпуск, и вот приговор: год лишения свободы. «Я не выживу, я лагерь не перенесу — смотри, как я уже похудела, кожа висит». — «Брось, Валя, чего там, всего один год, да и прошло уже несколько месяцев; выйдешь досрочно». — «Да, а куда я такая денусь? Думаешь, мой меня ждать будет? Тем более мы в разводе. И в ресторане мне больше не работать, а он привык сладко есть и пить...»

Между тем, муж приходил на свидания, приносил разную деликатесную еду. Валю это не успокаивало:

— Я знаю, у него есть одна, давно подкатывается. Рожа — страшной войны, сволочь, официантка, тащит, почем зря. Севрюгу эту, наверное, она украла, — говорила Валя, разворачивая третью за месяц передачу.

Действительно, еще через месяц старшая дочь сообщила Вале, что негодяй-отец ушел к сопернице и забрал с собой двенадцатилетнего сына. (Впрочем, деликатесы продолжали поступать в нашу камеру: дочь тоже приступила к работе в той же «системе питания».)

Что тут было! Слезы, проклятия, вздохи да охи: «Я с ним в последний раз перед самым судом переспала, а теперь уж никогда, никогда!»

— Да на кой он тебе? Он же на тебя донес, да не раз, а дважды. Другого найдешь.

— Кому я после лагеря нужна буду! Я ему, гаду, сумками носила, сумками! Лара, напиши ему будто бы от меня, напиши так, чтобы он ту стерву бросил и меня ждал бы, уже недолго осталось.

Я накатала весьма чувствительное письмо, упомянула детей и любовь; про доносы, конечно, умолчала. Валя сама прослезилась, читая: «Его проймет, такое письмо кого хочешь проймет». Сама она тем временем писала дочери: пусть та составит опись вещей, притом синий сервиз и лучший ковер в опись не включать, а снести подруге (под расписку). И замок пусть сменит: а то изверг со своим ключом придет и вынесет все из дому.

Оба письма Валя отдала тюремному начальству (попробовала бы я написать сыну!), но, видно, она переоценила силу слова: вместо того чтобы одуматься, муж подал на нее алименты, поскольку сын пока что при нем! Так чтобы часть ее лагерного заработка перечисляли ему на прокорм сына.

Несмотря на личную трагедию (и на служебные обязанности), Валя продолжала развлекать меня разнообразными историями.

Однажды она и ее подруга Нина «обрабатывали» клиентов ресторана на предмет выкачивания из них денег (этим она тоже не пренебрегала). Заметив, что клиенты достают деньжищи «прямо пачками», Валя и Нина подсели за их столик, стали их подпаивать («но их не брало»), взялись «показать Москву». Быстренько отпросились с работы, сели в такси и отправились из ресторана в ресторан. По дороге кавалеры покупали своим дамам подарки: чулки, белье, каждой по шубе. «Девочки, ночевать где будем?» — У Вали дома муж, Нина у тетки живет. Валя вспомнила: есть у нее родственница с однокомнатной квартирой («Бедно живет: учительница»). Купили вино, закуски, конфеты, бедной учительнице в подарок приемник, опять же белье — и прикатали. Переночевали — «ничего такого не было, одна же комната»; наутро учительница ушла на работу, а Валя со своим дружкой отправилась погулять, оставив другую пару наедине. «Возвращаемся — Нинка в ванной одевается, белая вся, трясется, чулки пристегнуть не может. Думаю, может, он с ней что сделал страшное. Нинка, говорю, что у вас было? Отвечает: все было, что надо, да не

в том дело. А дело в том, что кавалеры – беглецы из лагеря, конвой убили, банк ограбили. Он мне признался – а теперь опомнится, ведь они нас убьют».

Но все обошлось. Дружки укатили на юг проматывать шальные денешки, там их и поймали. Валин кавалер рыцарски молчал, а Нинкин раскололся, назвал их и ресторан. Валю и Нину вызвали на допрос, но они про шубы и прочие подарки не сознались, так что все барахло осталось при них, даже приемник у бедной учительницы.

Кое-что меня в Вале раздражало. Да с кем бы ни сидеть – начинаешь раздражаться рано или поздно, ведь каждую минуту вместе. И в бане, и на прогулке. Вечерами – играй да играй с ней в домино, до сорока партий за вечер. Отговоришься чем-нибудь – Валя начинает скучать, киснуть, ныть. Утро она встречала мощным залпом: пукала на всю камеру; мало того – вступала в переговоры с надзирателем: мол, здорово у меня получилось, хорошо ли было слышно, не повторить ли и т. п. Иногда она заговаривала с надзирателем, сидя на стульчаке.

Но сидеть с ней было не скучно. Она травила анекдоты, большей частью непристойные. Корпусного надзирателя называла либо «коридорный», либо «квартирный». Когда меня вызывали из камеры – «Кто тут на Б, на выход», – Валя моментально откликнулась: «Мы обе на «б»». Обе сорокалетние бабы, мы с ней школьничали, как молоденькие: я пряталась в угол, за ящик отопления, где надзиратель не мог меня углядеть, и ждала. Надзиратель глянет в глазок – одна здесь, а где еще одна?! «За бутылкой побежала», – отвечает Валя.

Ближе к суду Валя стала проявлять некоторый интерес к моему делу: «Что ты будешь говорить на суде? Что скажешь в последнем слове?» Она также заводила со мной разговоры о моем ближайшем будущем: – Что вам будет? – По статье полагается до трех лет, вот и дадут по три года. – А может, отпустят?

Она, видно, должна была возбудить у меня надежду на освобождение. Но я совершенно искренне считала свою судьбу решенной еще 25 августа, мне и в голову не приходило попытаться изменить ее.

Конечно, я тоже разыгрывала перед Валею своего рода роль: держалась простодушно, по виду откровенно говорила с ней; но говорила далеко не все. Например, я не сказала ей, что откажусь на суде

от защитника; и когда сообщила ей об этом после первого дня процесса — она была очень разочарована и недовольна.

Вскоре после суда — как я уже говорила, после карцера — меня посадили в другую камеру. Здесь моей соседкой оказалась молодая женщина лет 24-х, обвиняемая в валютных операциях: она знакомилась с иностранцами — это были арабы, слушатели военных академий, — «дружила» с ними, а плату получала сертификатами. На эти сертификаты купила в «Березке» несколько плащей, один оставила себе, остальные продала. Еще успела купить себе и дочери какие-то тряпки: «Моя подружка во все импортное одета, потому что ее отец какой-то начальник и получает сертификаты. Мне такого на свои деньги вовек не увидеть (она работала приемщицей заказов на студии звукозаписи), а что, я хуже ее? Дочка моя хуже?»

Всего-то она успела спекулировать на небольшую сумму; взяли ее на выходе из «Березки», в сумочке нашли живьем долларов пять или семь. С тех пор она и сидит. К моменту нашей встречи срок ее тюремного сидения под следствием перевалил за год; но вот-вот должен был состояться суд. Моя соседка на следствии «вела себя хорошо»: сразу же дала все требуемые показания и о себе, и о своей подруге, промышлявшей тем же, и о благодетелях-арабах. Я не могла понять, почему ее маринуют больше года.

Ее камера имела обжитой вид: полка для продуктов украшена вырезными бумажными салфеточками (собственно, не вырезными, так как где ж ножницы взять? а обработанными голыми руками), на тумбочке накрахмаленная салфетка. Следователь разрешил ей иметь при себе фотографию дочери, и на тумбочке стоял портрет милой четырехлетней девчушки. — А как ты умудряешься салфетки крахмалить? — Это не крахмал. Постираю, потом мылом натру и натяну потуже...

Она научила меня высушивать колбасу, купленную в ларьке. Мы с Валею заваривали эту колбасу кипятком — оказывается, можно ее и «коптить», подвесив на несколько дней под кроватью. Моя соседка изобрела также тюремную косметику (заключенным женщинам ничего такого «не положено»). Вместо крема она употребляла собственную мочу, уверяя, что нет лучшего средства для сохранения свежести кожи. Из собственных волос она за год собрала роскошный шиньон: в тюрьме очень выпадают волосы. А когда она отправилась на суд, то напудрилась зубной пастой до такой степени, что казалась

неживой. Правда, и натуральный цвет ее лица после года тюрьмы не отличался живыми красками.

Я была уверена в благополучном исходе ее дела (и не ошиблась): уж очень мизерна была и сумма валюты, и нажива путем спекуляции. К тому же, студенты-арабы, с которыми она путалась, — это не какие-нибудь туристы из ФРГ или Швеции. А главное, соседка моя, как говорится, активно помогала следствию. Для страховки ей надо было только не напортачить на суде. Я вдалбливала ей, чтобы она не сводила там счеты с подружкой, сваливавшей, в свою очередь, вину на нее, а вела бы себя скромно-покаянно. Составила ей «последнее слово» в этом духе, со слезой. Она зубрила его вслух несколько дней, как примерная школьница, консультируясь со мной относительно выразительного чтения; в конце концов попросила прочесть ей текст вслух и заучила «с голоса» фальшиво-покаянные слова. На самом деле она сожалела вовсе не о своем преступлении, а о том, что больше ей не одеваться из «Березки», а она так мало успела взять. За год ее заключения муж отказался от нее: следователь подробно рассказал ему о ее похождениях; легкая и «престижная» работа в салоне звукозаписи на улице Горького, конечно, тоже потеряна. Но, разумно отложив все огорчения на будущее, она не заглядывала дальше, чем в послезавтра.

Суд дал ей срок лишения свободы год и месяц, ровно столько, сколько она успела просидеть под следствием. Таким образом, ее освободили в зале суда. Мне сказал об этом надзиратель, который пришел за ее вещами. Она наказала оставить для меня свое мыло: скатывая обмылки, за год она накопила огромный ком.

Очевидно, в мое время в Лефортове сидело немного женщин: из большинства камер до меня доносились мужские голоса. Кроме двух моих соседок по камерам, я видела своими глазами еще только трех заключенных женщин. Одна из них — это моя двоюродная сестра Ира Белгородская, тоже политзаключенная. Ее арестовали ровно за две недели до меня. Ее «преступление» заключалось в следующем: она взяла у меня несколько десятков экземпляров письма в защиту арестованного Анатотолія Марченко, чтобы отправить их известным советским общественным деятелям — писателям, ученым. Сумку с письмами и со своим паспортом она забыла в такси; то ли шофер немедленно сдал сумку в КГБ, то ли агенты, следившие за Ирой от моего дома, тут же переняли таксиста — на другой же день

Иру арестовали. При этом ни одного из восьми авторов, чьи подписи стояли под письмом, не привлекли к ответственности, а Ире дали год лишения свободы по статье 190-1 — за «клевету». Ире пришлось гораздо хуже, чем мне: под следствием в Лефортове ее держали более полугода (хотя что там было расследовать?), потом несколько месяцев ей пришлось провести в женском бытовом лагере в Мордовии. Женские бытовые лагеря гораздо тяжелее и отвратительнее, чем политические, — Ира мне потом рассказывала. А пока она сидела — год, всего только год! — у нее отобрали комнату, и работу она, конечно, тоже потеряла. Все ее вещи райисполком вывез на склад, и там они сгнили, пропали.

В наше время арест не означает окончательного, бесповоротного перелома в жизни человека, как это было до пятидесятих годов. Политзаключенный обычно сохраняет связи со своей средой, друзья не забывают его, ему помогают даже незнакомые люди. И все же большей частью он лишен возможности вернуться к нормальной жизни: потерял дом, работа; как правило, закрыты пути к своей профессии. Надо ли удивляться, что современная эмиграция в большой степени состоит из бывших политзаключенных!

Ира Белогородская в конце концов тоже эмигрировала. Тогда, в сентябре 68-го, нас как бы случайно (а на самом деле намеренно, чтобы травмировать Иру: вот, мол, видишь, и Лара в тюрьме, ты-то чего геройствуешь!) столкнули в тюремном коридоре. Ира, конечно, ничего не знала о нашей демонстрации, и эта встреча привела ее в состояние шока. Да и я, зная, что она где-то рядом, была потрясена, увидев ее: распущенные волосы (шпильки отбирают), тонкие беспомощные руки, бледное, белое лицо; конвоир за спиной. Одно дело самой сидеть в тюрьме, другое — увидеть там младшую сестру. Я не сразу узнала ее, а когда узнала, только успела крикнуть «Ирка!», а она — «Лара!», и ее тут же затолкали в специальную стенную нишу спиной к коридору, а меня бегом провели мимо...

Еще двух женщин-заключенных я увидела в кабинете следователя, когда меня привели на опознание. Кто-то из свидетелей должен был узнать меня среди трех рядом сидящих женщин (пустая формальность, специально, чтобы заполнить «дело» бумажками). Эти две были толстые грузинки в шерстяных вязаных кофтах; сев рядом со мной, как им было указано, обе расстелили на коленях носовые платки и положили на них руки — наверное, чтобы

не засалить юбки. Рядом с этими благообразными женщинами я выглядела, должно быть, диковато. Что-то затягивалось, следовательно вышел, и я спросила у женщин, кто они, откуда, какие у них семьи. Оглядываясь с опаской, они шопотом отвечали мне. Из их ответов я запомнила только то, то у одной пятеро детей, младшему два года, а у другой четверо — и тоже маленькие. — «Где же дети?» — спросила я. — «У сестры», — сказала одна, а другая ничего не успела сказать, потому что вошел следователь. Они стали лебезить перед ним, заговаривать: «Гражданин следователь, сразу видно, какой вы хороший человек. Как бы я хотела, чтобы вы взяли мое дело, наш тбилисский следователь совсем другой...» Хороший человек резко оборвал их, и они испуганно замолкли до конца процедуры.

Не знаю, за что их арестовали, — наверное, спекуляция, или хищение в крупных размерах, или валюта. Но пятеро детей!

Мужчин-заключенных в Лефортове я не видела, но, как уже сказала, слышала их голоса в камерах, на прогулочных двориках. Кроме того, со второй-третьей недели ареста я стала перестукиваться с соседней камерой. Вначале я не замечала постукивания за стеной, даже как бы не слышала его. Потом догадалась, вспомнила об этом способе тюремной связи. Но я не знала тюремной азбуки! Когда-то, помню, моя подруга Наташа Садомская показывала в книге бестужевскую азбуку — какая я была дура, что не обратила на нее никакого внимания! Кажется, там был какой-то квадрат... Я нарисовала квадрат, расположила в нем буквы по порядку — и, казалось, вспомнила двузначный код, таким он мне показался знакомым: А— 1-1, Б— 1-2, В — 1-3; значит, Л—3-1, Р—4-1. 3-1, 1-1, 4-1, 2-4, 1-1: Л-А-Р-С-А. Можно начать разговор. Да, но ведь соседи, наверное, не знают этой азбуки, они стучат длинными очередями, похоже, выстукивают порядковый номер каждой буквы. Надо научить их.

Я несколько раз сильно стукнула костяшками пальцев в стену, чтобы привлечь их внимание, и, услышав ответ, начала: — 1-1, 2-3, 1-2, ... — я хотела простучать слово «азбука». Почти сразу я услышала быстрый стук в ответ, с трудом разобрала: «Мы знаем». Потом мне стало ясно, что эту бестужевскую азбуку знают почти все заключенные: передают друг другу или сами изобретают, как я.

Вначале перестукивание шло медленно: чтобы передать фразу, я должна была сначала записать ее кодом, а чтобы «услышать» — за-

писать передачу кодом и потом перевести на буквы. Но очень скоро я освоила это дело так, что стук воспринимала как живую речь, мне казалось, что я даже улавливала интонацию. Значимыми оказывались замедление или ускорение темпа сигналов, их громкость, паузы. Кроме азбуки, у нас появились сигналы общего значения: «говори медленнее», «понятно, не продолжай», «привет, доброе утро», наконец «тревога» — удар кулаком в стену.

Перестукивание очень занимало меня, особенно в первое время. Я узнала, кто мои соседи: Борис, о котором я уже упоминала, и Эрик Данне, тоже политический, сообщивший мне, что его обвиняют в связях с НТС. Он «рассказал» мне, откуда он и в чем состоит его «дело». Мое имя оба соседа, оказалось, слышали по радио (на воле, конечно), а Борис уверял, что знает Даниэля по Дому журналистов, — врал или спутал с кем-то. Но вообще-то говорить нам было не о чем; очень скоро перестукивание перешло в заочный кратковременный роман — наверное, стандартный тюремный роман через стену. Мы ухитрились даже передать друг другу свои автопортреты — не знаю, как Эрик, а я себя очень приукрасила.

Надзиратели, я думаю, слышали наши «разговоры», но меня им ни разу не удалось поймать с личным — с записями кодов. А у Эрика однажды отобрали такую запись, там как раз было мое имя, фамилия. За это *меня* лишили ларька.

Из другой камеры, соседствующей с нашей, нам долго не отвечали и не стучали. Но однажды я услышала стук и оттуда. Несколько дней я не отвечала: боялась, что надзиратели сразу заметят, та стенка была противоположна моей койке (с Эриком я перестукивалась, не сходя со своего места). Потом любопытство пересилило, я подошла к стене и, став к ней спиной, начала выстукивать азбуку. Тут же последовал ответ: «Знаю. Кто ты?» Я назвала себя; сосед быстро простучал: «Я знаком с твоим мужем, с Юлием Даниэлем. Мы знакомы по воле. Я — Петров-Агатов».

В этот момент загремел засов моей камеры, и я ударила кулаком в стену: «Тревога». Меня вызвали из камеры — как раз отправляли в карцер. Таким образом, мое знакомство с Петровым-Агатовым оборвалось в самом начале и, наверное, к лучшему.

10 декабря меня вызвали из камеры, отдали хранившиеся в каптерке вещи и на воронке перевезли из Лефортова в пересыльную тюрьму на Красной Пресне.

В следственной тюрьме заключенный еще не до конца утратил свою индивидуальность, у него свое «дело», свой следователь, каждого ждет своя собственная судьба — кому год, а кому пятнадцать.

На пересылках и в этапах любой человек сразу становится ЗАКЛЮЧЕННЫМ КАК ВСЕ, и нет никакой разницы конвою, вернется он через год или никогда не вернется. Правда, заключенного сопровождает его личное дело, и там могут быть специальные пометки (например, «склонен к побегу»), но они определяют такие незначительные частности твоего существования в этапе, что ты их можешь и не заметить.

Вероятно, я попала на пересылку с какой-то сопроводительной, потому что и здесь мне были оказаны некоторые привилегии: «Из Лефортова? Значит, можно без бани». Меня навьючили полным постельным комплектом: матрасом, подушкой, одеялом и даже простынями — и ввели в камеру, где остальные восемь женщин спали на голых нарах. Они уставились на меня с изумлением: что за цаца такая? Но никто не налетал на меня, не «курочил» моего мешка. Впрочем, это были не уголовницы, а всего лишь *тунядки*. Из них только одна вызвала симпатию — моложавая сорокалетняя женщина с широким рябоватым лицом, в платочке и зимнем пальто. Когда остальные склочничали и скандалили между собой — а противные мелочные ссоры вспыхивали в камере ежеминутно, — Лида отходила в сторону или пыталась внести умиротворение, предлагая свои услуги: «Слушай, давай я тебе подол подошью»; «Девочки, пока вы на прогулке будете, я полы вымою»... «Девочки», от восемнадцатилетней Любы до шестидесятилетней бабы Шуры, охотно подваливали Лиде работенку. А как есть садились, так каждая над своим мешком, Лиду не угощали. У самой же Лиды своего ничего не было. Я выложила на стол колбасу из лефортовского ларька (как раз перед отправкой был ларек, и передачу из дома я получила в предпоследний день) и позвала всех сокамерниц, Лиду первую. Ни одна не отказалась, но свою жратву они по-прежнему ели в одиночку. Другого я и не ждала; но все равно продолжала делить свои продукты на всех. Зато и осталась к Свердловску на одной тюремной баланде.

С удивлением я узнала, что у Лиды две судимости, обе за хулиганство (второй раз — злостное), а именно за драки: «Я, когда выпью, злая делаюсь, дерусь, ничего не помню». Она откровенно, не выгораживая себя, рассказывала, как получила первый срок, потом

второй — пять лет (наверное, так много дали из-за того, что женщина, которую она ударила горячим чайником по голове, угодила в больницу). Лида пила и в лагере, похоже, там и стала алкоголичкой. Когда освобождалась в 67-м году, решила, что пить бросит, дочку заберет из детдома (той было тогда уже 14 лет, из них не меньше половины она провела в детдоме), станет жить «самостоятельно». Но на воле все оказалось непросто. Лиде негде было жить, негде прописаться: пока она сидела, умерла ее мать, и их комнату забрали. Она еле упростила родную тетку пустить ее на квартиру — но та поставила условием не брать девочку; за угол с койкой брала с Лиды 15 рублей и звала ее не иначе как «каторжной». На работу Лида устроилась хорошо — штукатуром. «Зарботки большие, калым; я все себе купила, и туфли, и два пальто, и сапоги теплые; дочке тоже все купила, и еще машинку швейную — их там на портных учат, окончит школу, а машинка уже есть». Как раз эти зарботки, калым и подкосили ее снова: калымят вдвоем-втроем, заработанное идет на пропой. Удержаться Лида не сумела. Тогда она пошла проситься в больницу для алкоголиков; а ей говорят: «Какая ты быстрая! Полечись амбулаторно, не поможет — поставим на очередь в больницу. Без очереди только принудление, так тебя ж никто не направляет». Амбулаторное лечение не помогло, Лида и ходить перестала. Работу раз прогуляла, другой — и вовсе бросила, стыдно было идти оправдываться. С квартиры тетка, конечно, согнала. Лида осталась на улице и без работы. За несколько месяцев она стала настоящей бродяжкой. Все, что купила, пропила — кроме дочкиной машинки (у тетки оставила). Теперь все ее добро было при ней — на себе, да смена белья в сумке. — Чем же ты кормилась?

— Кто пьет, тому много есть не надо. Ходила на плешку.

— ???

— К трем вокзалам. Туда такие ходят. Подцеплю мужика, по дороге зайдем в магазин, бутылку возьмем, закуски...

— И куда же с ним?

— Сначала, конечно, говоришь, что, мол, есть квартира, и он идет. А уж когда бутылку взяли, тогда его можно куда угодно вести. Есть такие подъезды, где чердак не заперт. Или на товарной станции пустые вагоны после разгрузки, туда можно. Я там один вагон знаю из-под известки. В вагоне почище не поспишь, там и выпивают, и мужики сами приходят...

Мыться? Мылась в санпропускнике, есть такие на вокзалах. Там хорошо, народу никого; и постираться можно.

Лиду, пьяную, не раз забирали в милицию. Начальника отделения у трех вокзалов Силина она знала так же хорошо, как и он ее. Между ними установились отношения взаимных подначек и мелких уколов – от каждого по его способностям и возможностям. «Силин, давай бумагу, я на тебя жалобу напишу Никите Сергеевичу Брежневу», – говорила Лида. Однажды она приволокла начальнику венки с кладбища. Он же приказал выбрить ей дорожку через голову (Лида сдвинула платок, и я увидела ее обезображенную голову). – «В другой раз я тебе гроб привезу», – пообещала Лида. «Силин, посади меня, здесь я пропаду», – просила она. – «А за что тебя сажать? Укради что-нибудь, вон хоть пивную кружку». Но вот все-таки взяли – за тунеядство; назначили административную высылку.

Лиду первой из нас забрали на этап. Я услышала команду в коридоре: «В Архангельскую область – двадцать лесорубов и одну женщину», – и после этого Лиду увели. Значит, ее отправляют на север, в места лесоразработок – может, поварихой, а может, сучкорубом. Она полураздета, полуразута, растертые до язв подагрические косточки выпирают из разрезанных в этих местах ботинок; на высылке никто не оденет ее даже в бушлат, в этом смысле лагерь лучше. Главное же, там она будет пить, пока не сгорит от водки или не замерзнет пьяная где-нибудь в снегу. Никому она не нужна, сама себя считает пропащей.

Всех остальных из нашей камеры на другой день отправили одним этапом – на восток.

С этого момента кончились мои привилегии, на этапах и пересылках мое положение не отличалось от положения других заключенных. Впрочем, не совсем так. Во-первых, женщины оказываются в несколько лучших условиях – не потому, что им делают гуманные послабления, а по объективным причинам. Женщин-заключенных все же меньше, и поэтому в женских камерах немного свободнее, чем в мужских; да и отправляют их поэтому скорее. От Москвы до Свердловска я оказалась в одном этапе с Павлом Литвиновым; но из Свердловска меня и моих попутчиц отправили на третий или четвертый день, а Павел застрял там еще недели на две.

Во-вторых, в определенный момент вспомнилось, что я «политическая». Почему-то это был момент запираения в воронок: «Поли-

тическую в бокс!» — командовал начальник конвоя, и меня торжественно проводили вдоль колонны заключенных, водворяли в железный ящик, запирали, и только после этого происходила обычная загрузка воронка. Бокс — отгороженная в кузове кабина, страшно тесная: я так думаю, что-нибудь 60 x 60 см. В полном зимнем обмундировании, переданном мне друзьями в Лефортово: ватные брюки, телогрейка, валенки, — да еще с рюкзаком, я едва там помещалась. Тем не менее, один раз прямо на меня втолкнули еще одну женщину (не «политическую»), тоже с мешком вещей; непонятно как, но мы обе там поместились, правда, в полувисячем положении. И все-таки в боксе лучше, чем в общей камере воронка: я видела через глазок и могу подтвердить, что заключенных — женщин вместе с мужчинами напихивают туда «под завязку», конвоиры заталкивают коленом и уплотняют дверью-решеткой. Зато в общем отделении, может быть, не так чувствуется холод. В *боксе* железо со всех сторон, и когда на дворе -50°C (это был декабрь очень холодной зимы), железо накаляется от мороза, и уже через 10 минут холод прожигает тебя через все ватные одежды. А воронок стоит и стоит, дожидается неизвестно чего, а потом, доехав до пересыльной тюрьмы, снова стоит, закрытый, на морозе.

Ну и, в-третьих, все тот же психологический момент: я все еще ощущала себя наблюдателем (хотя уже меньше, чем в Лефортове), сравнивала, сопоставляла переживания моего брэнного тела, которому, конечно, было довольно трудно, с заранее известным, читанным и слышанным. В этом случае, оказывается, трудности преодолеваются легче. В этапах я увидела, что конвоиры, как и надзиратели, — разные. Правда, большей частью это озлобленные, развращенные властью над людьми, отупевшие из-за своей службы солдаты; особенно парни с востока — буряты, казахи. К тому же конвоиры, сопровождающие этапы, спиваются: у некоторых заключенных припрятаны деньги (а у моих попутчиц-тунеядок деньги были законные, они ведь, считается, высылаются не по этапу), и конвоир, раздобыв для них бутылку водки, зарабатывает себе на бутылку же. Я проехала четыре перегона от пересылки до пересылки — и каждый раз к концу пути весь конвой, включая офицера-начальника, оказывался пьян до одурения.

Но среди конвоиров мне попались и несколько нормальных ребят, не потерявших человеческого облика. Один парень принес нам,

женщинам, из служебного отсека пару горячих картофелин (ведь на дорогу по незывлемой российской традиции заключенным дают «сухой паек» — хлеб, селедку и 15 г сахара на день пути). У некоторых солдат моим попутчицам удавалось выпросить «дополнительно» воды напиться (по правилам поят два раза в сутки) или лишний раз (к тем же двум «законным») вывести в уборную. Как-то по просьбе заключенных солдат открыл в коридоре окно, и это было для нас большим облегчением, так как в камерах вагонзака нет ни окон, ни отдушин, и мы буквально угорали от духоты, от недостатка воздуха. Один начальник конвоя открыл мне великую тайну: назвал место, куда меня везут в ссылку, — оно обозначено на «деле», но заключенный этого знать не должен. Название Чуна ничего мне не говорило, тогда офицер попросил проводника посмотреть на карте, и я получила подробную информацию. С другим офицером у меня произошел занятный разговор. Видно, от нечего делать они там у себя листают сопровождающие заключенных «дела»; и вот начальник конвоя подошел к нашей женской камере и стал меня расспрашивать о демонстрации. «Нет, — говорю, — что за беседа через решетку». Он отпер дверь и перевел меня в соседнюю, пустую камеру: «Там у вас тесно, отдохните здесь пару часов». Зашел и сам. И стал меня убеждать, что мы поступили неправильно: «Несколько человек — что вы могли изменить? Надо было создать организацию». — «И без организации вы меня в ссылку везете, а тогда бы чего?» — «А зачем вы открыто вышли?» Довольно возбужденно он стал мне излагать свою точку зрения на историю и современность. Мне было жаль этого человека: видно было, что ему не с кем поделиться своими мыслями, не с кем поговорить, и он рад мне — случайной собеседнице.

Начало нашего разговора — о демонстрации, о Чехословакии — слушал молодой солдатик, дежуривший в вагонзаке. Потом, когда офицер ушел, он спросил у меня: «А ваши родные знают, куда вы отправлены?» — «Должно быть, не знают». — «Напишите письмо, я опущу». Я написала, и мои родные действительно получили его и узнали место моего назначения задолго до того, как я туда добралась. Этот парнишка сказал, что он слышал от знакомых солдат — участников оккупации Чехословакии, как чехи на самом деле относятся к этой акции. И еще, говорил он, им сообщили на политзанятиях, будто в Чехословакию *вошли* войска ФРГ и надо их оттуда выбить, и парни готовились к военным действиям и были в страшном напря-

жении, ожидая боев, а их все нет и нет, так что у некоторых нервы не выдерживали... О себе этот парнишка говорил, что ждет, как конца лагерного срока, когда же эта собачья служба кончится.

Он разговаривал со мной укладкой, урывками, таясь от своего напарника и от начальника. Когда мы прибыли на место, один только этот солдат не был пьян. А начальник конвоя, бледный, с кругами под глазами, старался держаться прямо, но это ему не удавалось, и он слегка клонился вбок. Отдав дежурную команду «Политическую в бокс!», он, видно, вспомнил наше собеседование и пробормотал мне в спину: «А все же вы действовали неправильно».

Были у меня разговоры и с другими офицерами конвоя, но гораздо короче, без «отдыха» в свободной камере, и совсем другого свойства. Вернее, не разговоры, а их короткие монологи: «Это вы за политику? Образование высшее, кандидат наук! Не захотела, как все, — теперь вместо письменного стола у станка поработаешь» (варианты были — «пилой», «лопатой» и т. п.). То же самое я услышала и от начальника милиции, в чье распоряжение я поступила в Чуне. И мне было неприятно и стыдно, что вот эти люди, чувствующие себя представителями государственной власти, так пренебрежительно, так презрительно относятся к рабочим, таким унижительным считают положение простого рабочего в «стране рабочих и крестьян».

Пересылки и этапы описаны многократно. Я могу лишь добавить, что в 68-м году условия этих мест мало отличались от того, что описано, скажем, у Евгении Гинзбург, — разве что везли меня не в телячьем вагоне, а в специальном вагон-заке, да поезда идут быстрее, чем раньше. Да в пересыльных камерах (спасибо Утесову!) тоже унитазы вместо параш. Впрочем на пересылке в Иркутске у нас в камере стояла параша — огромный железный бак, тяжеленный и сам по себе, и от многослойной ржавчины на его стенках, и, разумеется, от содержимого. Вонь от параша ужасная — но и от унитазов не меньше: они разбиты, протекают и жижа от них растекается и растаптывается по всей камере. На меня условия «оправки», а может, и все прочие условия этапа, подействовали таким образом, что совершенно прекратилась работа кишечника. За три недели этапа у меня ни разу не возникло потребности «оправиться по-тяжелому», как здесь говорят; это было особенно удобно в вагоне, где пойти в уборную — целая проблема. Но, вероятно, произошло отравление шлаками, потому что вскоре после приезда в Чуну у меня обнаружился

острый гастрит, потом он перешел в хронический, много позднее завершился язвой желудка — а до ареста я понятия не имела о болезнях желудка; как говорится, жареные гвозди могла переварить.

Как и в тридцатые годы, голых женщин в бане осматривают мужчины. В Новосибирской пересылке и вовсе чудно: проверку на вшивость производят мужчина и женщина, так женщина проверяет головы и под мышками, а мужчина — в паху. Все это очень унижительно, в особенности унижительно из-за того, что, очевидно, не специально придумано как издевательство, а от полного безразличия, от равнодушия к тебе как к человеку. Эта вереница голых, дрожащих от холода женщин, проходящих перед мужиком в грязно-белом халате, — это и не люди вовсе, а так, объекты, не более чувствующие, чем сопровождающие их бумаги. Одному объекту ткнуть пальцем в пах (и сразу, не вытерев руки, следующей), на другом поставить галочку.

То, что ты здесь не человек, ощущается не только при осмотре — во всем. Вот загнали нас в Свердловской пересылке в баню (подтверждаю Евгению Гинзбург — наилучшая из всех пересыльных бань), предварительно отобрав все вещи в прожарку. Из моечного помещения выводят в предбанник — холодный большой зал, дверь одинарная прямо наружу, к тому же плотно не прикрывается. Здесь такой порядок: сначала выстроиться в очередь к одному окошку и получить все тюремное имущество: наматрасник, кружку, еще что-то, в том числе и полотенце — вытереться после бани. Но полотенцев нет — кончились, стало быть, вытереться нечем. Стоишь голая, мокрая, в следующей очереди — за своей одеждой. Но это же не специально — были бы полотенца, так дали бы; а их нет. Надевай одежду на мокрое тело. Или, скажем, в Иркутске: там подают тебе в кормушку миску баланды, а ложек не дают. — А ложку?! — Нет ложек. Кончились. — Как же есть? — Какое мне дело! Захочешь съесть — так съешь. И кружек здесь не дали. Приносят в камеру бачок с кипятком, как хорошо бы выпить, согреться. А из чего? — «Какое мне дело!» У моих попутчиц кружки были, они на этап попали из дому, захватив все необходимое. А мне в тюрьму кружку нельзя было передать, так как она «металлический предмет» (о пластмассовой мы еще тогда не подумали). Одна из женщин пожалела меня и отдала мне освободившуюся банку из-под сгущенки; так я обзавелась к концу этапа своей посудиною, а то ведь и в вагоне набрать воды в запас не во что.

(Кстати, откуда у заключенной сгущенка? — На пересылке есть ларек, и можно купить продуктов на пять рублей, как и в тюрьме. Но только за наличные деньги. А у заключенных денег быть не должно, на руки не выдаются (тунеядцы — исключение). Тем не менее, у многих, кто пересылается из лагеря в лагерь, денежки припрятаны, и им есть на что «отовариться». Хотя и незаконно. Ларек, видимо, рассчитан вот на эти незаконные деньги.)

Всего один раз я встретила надзирательницу, которая испытывала по отношению к заключенным некоторые эмоции. Это было в Новосибирске. Раздев нас догола и осмотрев «на вшивость», нас запустили в моечное отделение. Здесь это был бетонный мешок с окнами, закрытыми одинарными рамами (на улице ниже -40°C). Надзирательница заперла нас снаружи. Мы стоим на холодном бетонном полу, от окон несет морозом. Ждем — воды нет. Надо сказать, что в тюремных банях заключенный не может ни открыть, ни регулировать воду: краны снаружи, ими управляет надзиратель. Наконец, из труб под потолком полил дождик совершенно холодный, ледяной. Женщины стали стучать в дверь: «Вода холодная!» Дверь открылась, на пороге появилась надзирательница — толстая тетка с широким плоским лицом, заплывшими щелочками глаз. После минутной паузы вдруг ее губы растянулись в японской улыбке: «Вам холодно? Сейчас будет тепло». Она вышла и заперла дверь. Через минуту вода стала теплеть, а еще минуты через три из труб нам на головы лила вода нестерпимо горячая, так что все поотскакивали от струй, прижались к стенам. Некоторые успели намылиться, я успела намылить голову — но смыть мыло невозможно, руку обжигает вода. Баня моментально наполнилась паром. Опять стали стучать в дверь. В ответ воду перекрыли совсем, и снова на пороге стала надзирательница с той же улыбкой: «Помылись? Выходи!» — «Где ж помылись, откройте воду, дайте хоть мыло смыть». — «Выходи!» — «Не выйду!» — «Не выйдешь? Не надо», — и снова улыбочка. За вышедшими захлопнулась и защелкнулась дверь, а в моечной осталась я и, глядя на меня, еще две-три женщины. Воды нет. Пар осел, все тепло моментально выдуло, стало холодно, как вначале. Ловя капли с потолка, я кое-как стерла мыло, другие тоже. Стоим, ждем. Через некоторое время приходит надзирательница: «Помылись? Или еще останетесь?» Ну, пошли за ней, конечно. А на ее физиономии было

написано блаженство, полное удовлетворение. Она еще и в предбаннике над нами покуражилась.

Но это, как я сказала, было исключение. Жаловаться не имело смысла, это я поняла еще в Свердловске. Там в камере на верхних нарах лежала женщина, у которой было кровотечение. Она на каждой проверке просила, чтобы ее направили к врачу; надзиратель отвечал, что врач-гинеколог будет двадцатого или там двадцать второго, словом, через неделю. Я видела, что женщина теряет силы, она была уже воскового цвета и, когда сползала с нар к унитазу, ее качало. На очередной проверке после стандартного вопроса: «Жалоб нет?» — я сказала, что есть — срочно нужен врач. — «Вам нужен врач?» — «Не мне, а вот женщине». — «Говорите только о себе! Закона не знаете! Москвичи! Интеллигенты!» — и еще какая-то ругань. Я даже не поняла, из-за чего он так взъерился, обычно он держался довольно добродушно. А потом вспомнила: тюремные правила запрещают «коллективные» жалобы.

В другой раз в ответ на какую-то жалобу я услышала: «Здесь тебе не Москва! Тайга — закон, медведь — прокурор!»

В основном же тюремные работники заняты своими хлопотами: считают, пересчитывают, — новый этап прибыл, этих надо отправить; выдать тюремное имущество, пересчитать при сдаче, а то сопрут; бумаги принять, бумаги сдать... Да откуда я знаю, какие у них еще заботы и обязанности. До людей ли! Затолкали этап в один бокс (тюремный бокс — небольшая камера, куда заключенных помещают временно — по прибытии или перед отправкой), мы стоим там вплотную друг к другу, как в автобусе в часы пик; сесть негде, воды нет, унитаза или параши тоже нет. Стоим час, два, неизвестно сколько стоим и сколько еще ждать. Душно, одной женщине стало дурно, она осела на пол. Мы стали стучать в дверь, кричать, чтоб открыли. Нам слышно: мимо ходят, бегают надзиратели, переговариваются, перепроверяют мужской этап («Фамилия, статья, срок»). На наш стук никто не обращает внимания. Впрочем, из других боксов тоже, слышно, стучат. Наконец, подходит надзиратель, грохает кулаком в дверь: «Молчать! В карцер захотели?» Мы вразнойбой кричим, что вот одной дурно, вряд ли он может разобрать, что нам нужно. И он уходит. Ну, в конце концов, мы докричались. Женщину вытащили из бокса, да и нас вскоре после этого перевели в камеру, хоть и продолжали грозить карцером. Да кому это нужно — в карцер нас

сажать. Сегодня мы здесь, завтра — на этап (еще грозят тем, что на очередной этап не возьмут: «будешь здесь загорать до следующего, а он, может, через месяц»). Мимо работников пересыльной тюрьмы течет людской поток, а они не успевают разглядеть, что это люди.

Пищи такой, как на пересылках, хорошая хозяйка и свинье не даст. Особенно отвратительна рыбная баланда, в которой плавают голые рыбы хребты: кажется, что ее уже один, а может и не один раз ели. Но на такую массу народа, которая переполняет пересылки, вероятно, и невозможно приготовить съедобную пищу.

Я все же здесь, как и в Лефортове, ела, что давали. Кажется, только раз или два не смогла себя заставить есть.

Хотя народу в женских камерах значительно меньше, чем в мужских, но все же слишком много для того, чтобы узнать, кто они, эти женщины, и за что осуждены. Некоторые производили впечатление не вполне нормальных и сами не могли понять, где они, что их ждет и почему. Но были и вполне нормальные женщины, поступки-проступки которых, их преступления казались мне необычайно бессмысленными. Ну, например, Аня в Свердловске — женщина 28-29 лет, вполне здоровая, не уголовница, не алкоголичка, с благополучной судьбой, имевшая мужа, дочь, родителей (отец ее старый большевик), работу, — совершила преступление, можно сказать, в результате цепи случайностей, но случайностей очень характерных. Аня дала деньги в долг своей родственнице, чтобы помочь ей возместить растрату. Но та предпочла скрыться от судебного преследования, купив себе новый паспорт и другие документы. Ане она сказала, что взятые займы деньги оставила у такой-то тети Симы. С тем родственница и скрылась окончательно, Аня же поехала выручать свои денежки. Для этого ей пришлось взять на работе отгул, а раз так, действия свои она начала с того, что немного выпила. Приехала к тете Симе, а той дома нет, замок на двери: «Поехала, говорят соседи, в лагерь, к сыну на свидание». Аня нашла соседку, у которой был оставлен тетей Симой ключ, и они вдвоем открыли запертый чужой дом и стали искать Анины деньги. Денег не нашли, зато нашли бутылку самогону. Выпили, конечно. После этого Аня решила вместо своих денег забрать тети-Симины вещи на ту же сумму: платки, отрезы, одеяло связала в узел и увезла. Пока она добралась до дому, хмель выветрился. Но Аня решила вещи не отдавать (стыдно же), а спрятать их на чердаке.

Тетя Сима, вернувшись со свидания, нашла дом разграбленным. Доверенная соседка указала на Аню: мол, за своими деньгами явилась. «Какие деньги?! Никаких денег не знаю, никто мне не оставлял», — и заявление в милицию. Милиция находит Симины вещи на чердаке, возбуждает дело. Пока идет следствие, Аню до суда оставляют на свободе (может, из уважения к заслуженному отцу). «Ну, я вижу, мне все равно сидеть, и делаю на работе преступление — растрату». Кроме того, наступила осень — грибной сезон. И Аня, получив повестку явиться к следователю, вместо того отправляется по грибы. Вернулась — лежит вторая повестка. «А что я скажу, почему в тот раз не явилась? Я и в этот раз не пошла». Взяли голубушку и посадили в тюрьму до суда. Тут и растрата обнаружилась. Суд, срок — пять лет лагерей. Дочь взяли к себе дедушка с бабушкой, муж пять лет ждать не станет. Прежней жизни конец, и Аня думает уже не о ней, а как бы в лагере получше устроиться, «хорошо бы в пищеблок».

За все время пути со мной вместе оказались две настоящие уголовницы, принадлежащие к преступному миру. Это были очень колоритные личности — Римма Волкова и Жанна Котовская. Римму я раньше услышала, чем увидела.

Дело было так. На Свердловской пересылке хорошо налажена связь между катерами: бесперебойно работает тюремный «телефон». Узнав об этом, я захотела поговорить с Павлом Литвиновым, и Аня взялась мне помочь. Мы с ней пробрались на нары за спинами женщин, сидящих лицом к двери, и Аня несколько раз ударила кружкой по отопительной трубе, которая проходит через все камеры на нашем этаже. Потом она приложила кружку доннышком к трубе и стала кричать в нее: «Пять-ноль, пять-ноль! Вызывает пять-три. Московский эта-ап пришел? Пашку из Москвы на трубочку! Из Москвы Па-ашку-у!» Она отдала мне кружку, и мы с Павлом немного поговорили (скажешь что-нибудь в кружку, потом перевернешь ее доннышком к уху и слушаешь, хорошо слышно). Павел сказал, что ему нельзя долго разговаривать, потому что в камере очень тесно и к трубе очень трудно подобраться.

В разговоре соблюдалась очередь — слышался чей-то голос: «Пять-три, после тебя я поговорю, пять-один». — «Погоди, я заканчиваю». И вдруг всех покрыл низкий женский голос — сначала трехэтажным матом, а потом внятно: «А ну, все от трубочки! Римма

Волкова говорит». Не знаю, как другие абоненты, а я невольно откачнулась и разговора не слышала.

А когда нас вызвали на этап и затолкали в бокс, в тесноте, темноте и дыму я снова услышала тот же властный голос. Римма рассказывала какую-то свою героическую историю — историю очередной интеллектуальной победы над милицией, следователем и судом. Молоденькие девчонки слушали ее с подобострастием, ахали, поддакивали и склонялись перед ней, насколько это позволяла скученность. Вокруг Риммы даже образовалось подобие свободного пространства — или же такое впечатление создавалось ее осанкой, свободной позой, экспрессией рассказа. Римма была высокая, худощавая женщина сорока лет, с очень волевым, выразительным лицом, которое не портили резкие глубокие складки. Здесь она чувствовала себя самой главной, главной по заслугам и по опыту.

Но потом нас перегнали в этапную камеру. Боже, какая грязь! Не только пол, но и нары покрыты слоем селедочных внутренностей (сюда заключенным перед отправкой дают дорожный паек, и все норовят очистить селедку заранее). Я, как всегда, взобралась на верхние нары, очистив себе небольшой кусок площади. Да наверху и было немного почище. Мои спутницы-тунеядки тоже залезли наверх, здесь же разместились еще несколько женщин. Остальные кое-как устраивались внизу. Римма Волкова нигде не устраивалась. Она ходила по камере, как тигр по клетке, и ни на кого не глядела, и даже походка ее выражала возмущение и оскорбленное достоинство.

— Римма, иди к нам, здесь место есть, — позвали сверху.

— Очень нужно!

Я поняла: по тюремным уголовным правилам, это она, главная, царица, первая должна была занять место — наверху, конечно, — и выбрать, кому позволено поместиться рядом с ней. А тут ее, Римму Волкову, какие-то соплюшки с первой судимостью приглашают. Если б они хоть понимали закон, а то от души приглашают, как хозяйки.

Тем временем тунеядки разложили свои вещи, достали какую-то свою провизию. Снова позвали Римму, и снова она гордо отказалась, хотя у нее, как и у меня, своей еды не было.

Подзакусив, тунеядки стали наводить красоту: достали зеркальца, помаду, кремы какие-то. И тут Римма не выдержала. Без при-

глашений влезла на нары: «А ну, девочки, дайте зеркальце. Сто лет себя в зеркале не видела».

Жанна Котовская попала в наш этап по пути из Новосибирска в Иркутск, доехала с нами до Тайшета. Два года назад она бежала из лагеря где-то под Тайшетом, бежала зимой, прошла на лыжах 40 км. Поймали ее случайно: в какой-то внутренней бандитской стычке противник пробил ей голову, — и Жанна досталась милиции. В этап она попала с обритой головой в шрамах, но уже без повязки. У Жанны не было той блатной фанаберии, что у Риммы, но и она с презрением смотрела на своих попутчиц, на их мелочные ссоры, суетливость, дорожные романы с мужчинами из соседней камеры. Она и сама вступила в любовную переписку с соседом — но надо было видеть, с какой ленивой иронией она отвечала на его горячие признания: «Люблю, дорогой, люблю до гроба. Сейчас тебе кисет сошью на память. Не волнуйся, до Тайшета я твоя и ничья больше».

Надо сказать, что ко мне, в отличие от моих попутчиц, обе эти женщины относились как к равной, узнав, что я «политическая». Вроде бы признавали за мной такие же права — например, право на независимый выбор места в камере. Жанна только не одобряла мое отношение к попутчицам: «Ты их жалеешь, а это же псы, ты посмотри, грызутся, как собаки». Я спросила, не полячка ли она; оказалось — да, полячка, из поляков, сосланных в Сибирь в прошлом веке после польского восстания. Жанну сняли с нашего этапа в Тайшете.

На одной пересылке я оказалась на нарах рядом с цыганкой. Ей было 45 лет (а на вид — лет 60), и ее общий лагерный срок составлял 30 лет. Ей показалось, что я ей не верю, и она предъявила мне свой приговор, где были перечислены все ее судимости.

В основном же камеры наполнены женщинами с первой судимостью. Вот убийца, женщина за сорок. Она убила своего мужа, от которого имела троих детей. Она производила впечатление спокойного, уравновешенного человека. «Нет, — говорила она, — я не жалею. Он пил, бил меня и детей». Никогда бы не подумала, что она способна убить. Срок она получила восемь лет.

Девчонка-шофер Валя успела на воле отпраздновать девятнадцатилетие: собралась компания, погуляли, «потянуло на подвиги» — они пошли добывать выпивку, взломали магазин, здесь же и выпии-

ли, и закусили; и заснули; здесь же их и взяли. Именинница получила два года.

Большинство заключенных-женщин осуждено за разного рода хозяйственные преступления: за спекуляцию, растраты и т. п. У них на воле остались семьи, дети; все это грозит разрушиться, пока женщины будут отбывать срок. Многие из них говорят: «Я не виновата, меня неправильно осудили». Но пусть это неправда, пусть суд был правый — зачем таких женщин сажать в лагерь? У нее вон три малолетних сына на воле, один грудной при ней, в тюрьме (много ли она наработает в лагере для «мамочек»?); Муж, дом, хозяйство. А сроку восемь лет за растрату (не то за хищение). За эти восемь лет муж сопьется, хозяйство развалится, дети без присмотра вырастут потенциальными преступниками. Ну, назначили бы ей выплатить растратченное, ну, запретили бы занимать соответствующие должности... Одну такую заключенную везли с нашим этапом от Свердловска до Новосибирска. Ее этапировали с грудным ребенком в третий раз: сначала из тюрьмы в лагерь, потом возили из лагеря на суд свидетелем, а с нами она снова возвращалась в лагерь для «мамочек». В Свердловске родные хотели взять ребенка (ему уже девять месяцев), но им не разрешили, потому что ребенок числится за лагерем; пусть туда едут и заберут. Эта женщина была заведующей и продавцом магазина, рассказанная ею история совершенно подобна той, которую описал Распутин в повести «Деньги для Марии».

И вот она с ребенком едет за решеткой, ее охраняет конвой, ее везут в *воронке*. Правда, она в несколько лучших условиях, чем другие заключенные. Ее помещают в вагонзак в отдельную камеру; на пересылке тоже поместят не в общую, а в больничную камеру. На дорогу выдается бутылочка молока; ребенок не ел в дороге, и в Новосибирске она отдала это молоко нам — не молоко, а забеленная водичка. По закону ей также полагается удвоенная, т. е. двухчасовая, прогулка, но какие там прогулки в этапе! Мальчик выглядел не истощенным, только таким же бледным, землистого цвета, как и все мы, взрослые.

Другая «мамка» была в нашей камере уже без ребенка: приехала в лагерь ее сестра и забрала годовалую девочку к себе. Эта «мамка» — татарка из Москвы, рассказывала мне, как она рожала в тюрьме. Роды начались у нее на другой день после суда. А в Бутырской тюрьме родильного отделения, конечно, нет; ее погрузили в *воронку*

вместе с тюремной сестрой и повезли в гражданский роддом. Пока отпирали тюремные ворота, она и родила тут же, в *воронке*. «Сестра говорит шоферу, чтобы не выезжал, а я кричу: вези, вези в роддом! Шофер хороший попался — повез». Заключенную после родов сразу со стола везут в тюрьму, в больничку. А пока она в родильном отделении, за дверью дежурит конвоир. Эту же привезли в роддом уже с ребенком. Врач ее берет на стол, а сестра требует отправить обратно. «Врач тоже хороший человек попался, не отдал. У нас, говорит, здесь нет заключенных, у нас здесь матери». И хорошо, что оставили: через несколько часов у нее началось кровотечение. Сутки она пролежала в нормальных условиях, и сутки в коридоре стерег ее конвоир. Ну, а потом все же отвезли в Бутырки.

Эта женщина получила пять лет лагерей строгого режима за спекуляцию коврами. Но для «мамок» нет строгого режима, и два года, пока ребенок может находиться при ней (после двух лет ребенка отправляют в детдом), она могла быть в более легких условиях; она же предпочла отдать девочку сестре. «Нет уж, — говорила она, — лучше мне в строгий лагерь, чем ребенку здесь быть. И сама измучаешься, глядя на него, и ребенка загубишь».

Видела я во время этапа и других детей — девочек-подростков, попавших в тюрьму за собственные преступления. Это самое тягостное из всех моих тюремных впечатлений.

В Свердловске в нашей камере было три девочки, которых по достижении восемнадцати лет переводили из детской колонии в лагерь. Вообще-то восемнадцать — уже не детский возраст; но эти трое выглядели совсем детьми: и роста небольшого, и, видимо, в общем физическом развитии отстали, и поведение инфантильное, представления о жизни отвлеченные, схематичные. Еще бы, ведь они по три-четыре года уже провели в заключении. Две из них были угрюмые, подавленные, а третья — Лида — держалась свободнее, оживленнее. Это была очень миловидная девочка с красивыми волосами, одетая, как и ее подруги, в казенное лагерное платьице, но как-то так ушитое, подогнанное, что оно не казалось безнадежно убогим. На ногах у всех троих были тяжеленные грубые лагерные ботинки. Лида повадилась каждое утро приходить ко мне «поговорить». Она болтала, пересказывала мне прочитанные романы (между прочим, прочла она в колонии довольно много книг), сплетничала про подругу: «Вы с ней, тетя Лариса, не разговаривайте, она вредная. Она в

СВП была, на меня 40 браней записала», — это значит, что девочка была лагерной активисткой, доносчицей, записывала, кто сколько раз выругается матом. Лида, со своим ангельским личиком, материлась через каждое слово. Срок она получила за ограбление квартиры. Она была членом банды с 12 лет.

— Лида, у тебя через полгода срок кончается, домой вернешься. Ты уж постарайся больше не попадать — ведь в лагере мало хорошего, да?

— Чего уж хорошего! Я и сама не хочу. Но когда вернусь — нет, я за себя не ручаюсь, не ручаюсь.

Вторая девочка, Лидина супротивница, дождалась, пока Лида уйдет, и тоже подходила. Она, видно, твердо взяла в голову, что надо бросить плохие дела и учиться. В колонии она кончила десятилетку — «а теперь в лагере в институт поступлю».

— Милая, какой в лагере институт! Ты уж планируй на потом, когда освободишься.

— Воспитательница сказала, что можно в лагере. Я для того и в СВП пошла...

Третьей девочке восемнадцати еще не было. Она сама упросила, добилась, чтобы ее отправили во взрослую зону вместе с Лидой: у них была любовь, и она не хотела расставаться со своей возлюбленной. Временами они и здесь, в общей пересыльной камере, предавались лесбийской любви. Тогда шофер Валя останавливалась против их нар: «Гляди-ка, чего делают! Ну, ты, кобёл, прекрати!» Эта девочка только теперь узнала, что их с Лидой отправят в разные лагеря; а тогда зачем же она вырвалась из детской колонии? И она писала заявления, чтобы ее вернули обратно как малолетку; просила, чтобы пришел «воспитатель». Какой «воспитатель» в пересыльной тюрьме?

Лиду взяли на этап вместе со мной. Нас вывели в коридор, закрыли за нами дверь-решетку. И подруга Лиды стали биться об эту решетку, как птичка. До первого этажа нас провожал ее крик: «Лида! Лида! Лида!..»

А в Новосибирске я встретила с девочками, которых отправляли в детскую колонию. Наш этап втокнули в камеру и закрыли за нами дверь, а мы так и остались стоять у порога. Вначале трудно было что-нибудь разглядеть. Камера тонула в сизом дыму, в промозглом холодном душном тумане, через который еле пробивался красноватый свет лампочки. Хотя был полдень, но от окна тоже не исхо-

дило никакого света: одинарное зарешеченное окно наглухо заросло инеем, к тому же часть рамы была выбита и заткнута подушкой. Ступить вперед было боязно: под ногами ощущалась липкая мокрая грязь. Слева от двери находился унитаз, из него-то, видимо, и текло. А справа вдоль стены от двери до окна тянулись, как обычно, двухъярусные нары. На нарах, а также и под нарами смутно белели обращенные к нам лица — обитатели камеры рассматривали новеньких.

— Тетя, лезьте к нам, мы подвинемся, — окликнули меня с верхних нар.

Я полезла наверх; таким же образом была выбрана девочка Люба из нашего этапа, а остальным места не нашлось, и они продолжали стоять у двери, пока надзиратель не увел их в другую камеру.

Когда мои глаза привыкли к полутьме, я увидела, что не только мои ближайшие соседки, а все заключенные в камере, и на верхних нарах, и на нижних, и под ними на полу — девочки на вид от 13-ти до 17-ти лет. Их было здесь человек тридцать. Девочки, которые подвинулись, чтобы дать мне место, познакомились со мной. Одну звали Нина, другую Роза. Нина была угрюмая некрасивая девочка немного дегенеративного типа: с тяжелой нижней челюстью, низким лбом, с большой головой на короткой шее. Расспрашивая ее, я узнала, что она из большой семьи, родители — рабочие, она из детей старшая. Она пошла работать на завод с 14-ти лет (оказалось, что ей 15; а по внешности и по развитию больше 13-ти не дашь). Познакомилась с плохой компанией, участвовала в уличных ограблениях. Нина очень переживала свое падение, никого не винила, кроме себя.

Розу расспрашивать не пришлось: она взяла инициативу в свои руки и сама задавала мне вопросы. Впрочем, ее интересовала одна тема — замужем ли я, есть ли у меня дети. Ах, есть сын! Как его зовут? Дайте адресочек для переписки. Она ввела меня в круг событий в камере: вчера здесь был большой бой (причина и повод остались неизвестны), побежденных скинули с нар — теперь вон они, под нарами; победители завоевали себе выгодное жизненное пространство — верхние нары; а нижние занимает болото, инертная масса. — Тетя, у вас есть курить?

Я, поборов скупердяйство (ведь сейчас расхватают), достала пачку сигарет: «Последняя (а на самом деле это была предпоследняя пачка; последнюю я припрятала подальше, чтоб курить в дороге, где охотниц до чужих сигарет все же меньше). Бери». Несколько рук

потянулись к сигаретам; Роза вежливо вытащила одну. «Вообще-то, тетя, у нас махорка есть, целый мешок. Тут одна тетка вредная была, жадная, мы у нее ночью мешок махорки украли. Ух, кричала на нас утром! А вы, видно, что не жадная. Вот возьмите махорку, больше берите на дорогу». Так она меня посрамила, эта Роза! Взяла я у нее ворованную махорку, которую дотянула до конца этапа.

Между прочей болтовней Роза и о себе что-то сказала, но так сбивчиво, так мимоходом, как о чем-то совершенно несущественном. Вот она я, здесь, сейчас, а что было раньше — зачем? «Все, что было, позабыла, все, что будет, забудет». Было в ней действительно что-то цыганистое: черные кудрявые волосы, блестящие живые глаза. Родителей у нее нет, жила у дяди с тетей, где-то на востоке; из дому сбежала. Может, цыганка и есть? Но ухватки совершенно не цыганские. Розе лет не то 14, не то 15. А за что посадили — не знаю.

Третья девочка в углу, около самого окна, — тех же лет, кажется, Дина, не помню точно. В ней нет ни легкомыслия, как у Розы, ни угрюмости, как у Нины. Она охотно вступила в разговор со мной, при этом держалась так независимо, спокойно, достойно, что казалась взрослым человеком. Она много книг читала — классику; читала по-настоящему, не поверхностно. Совершенно не похожа на преступницу. Ограбление квартиры. Я была поражена: «Как это может быть? Что тебя толкнуло?.. Ты могла бы учиться...» — «Конечно, могла бы. А зачем?»

Надо сказать, что речь девочек-заключенных (кроме Дины) я привожу в цензурированном виде. Конечно, это был сплошной мат; казалось, что они других слов не знают вообще. «Махорку с...дили» — это просто термин, равноправный с «украли». Мат слышался со всех сторон, на всех уровнях: и под потолком, и посередине, и с пола доносились те же выражения. Они так естественно звучали в «невинных детских устах», что я почти перестала их замечать, переключилась на этот язык. Но когда в камере вспыхивали ссоры (а они неизбежно и внезапно возникают в любой уголовной камере — здесь, в «детской», чаще и яростнее, чем во взрослых) — когда вспыхивали ссоры, матерные слова использовались в своей основной функции, т. е. как брань. И нигде, никогда, даже в перебранке уголовников-мужчин с конвоем, я не слышала такой грязной, такой омерзительной ругани. Девочки в минуты откровенности рассказывали, видно, в камере всю свою подноготную — и вот эти знания шли в ход,

бренные слова в конкретном контексте возрождались в своем первоначальном, так сказать, словарном значении, каждое выражение становилось картиной: кто, когда, где, кого и каким способом. Это было ужасно слышать.

Потом начались танцы. Девочки на верхних нарах — т. е. рядом со мной — танцевали что-то вроде твиста под самодеятельную музыку. Одна-две танцуют, их движения утрированы, нарочито обезображены, в них проявляется все та же грязно-сексуальная подоплека. Остальные в соответствующем ритме выкрикивают песню, матерные слова в ней снова лишены эмоционального оттенка, остался лишь их прямой смысл.

Это была какая-то фантасмагория. Дымный, серый, плотный, промозглый воздух, в котором сочится красноватый тусклый электрический свет; окно, заткнутое серой подушкой, — впрочем, оно далеко от лампочки, и его почти не видно; протянутые над нарами веревочки, на которых висит — и не сохнет — какое-то бельишко; сопение и возня в темноте под нарами и на нижнем ярусе; и эта пляска под потолком, и выкрики, слова, которые не уходят, висят здесь же вместе с дымом...

Может быть, к камере снаружи подходил надзиратель, может быть, он призывал к приличествующей тюрьме тишине — ничего этого слышно не было, запертая дверь отделяла камеру от всего мира. День ли еще был или ночь, до или после отбоя — узнать невозможно. Вот когда раздатчик принесет хлеб — тогда, значит, утро.

Девочки нескоро угомонились — но все равно сном и не пахло. Шли обсуждения «за жизнь», девочки разбились на группки. Поблизости от меня шестнадцатилетняя девушка советовалась с другими, как ей быть. Она беременна, уже на пятом месяце. Ее отправляют в детскую колонию, это-то хорошо, лучше, чем взрослый лагерь. Но если узнают о беременности, во-первых, в детскую колонию не пошлют, во-вторых, будут заставлять сделать аборт, «а я назло Петьке (или Федьке, или Ваське) рожу, пусть знает, падла», — и т. д., и т. п. Слушательницы советовали ей разное, то одно, то другое — противоположное, в зависимости от того, какую точку зрения принимала в данный момент сама рассказчица.

На дальнем конце нар моя попутчица тунеядка Люба заливала о своей легкой жизни в Москве. У моей соседки Нины началась истерика. Сначала она тихо плакала, потом стала всхлипывать громко,

тяжелыми стонами. Некоторые девочки, слышавшие рыдания Нины, на секунду отрывались от своих разговоров и что-нибудь говорили ей: «Не расстраивайся заранее, еще успеешь!», «Ну хватит! Сейчас все тут будем реветь — нам, что ли, лучше, чем тебе?», «Мамочку вспомнила?» Конечно, из-за этих реплик Нина рыдала еще сильнее. Впрочем, девочки реагировали на истерику не очень горячо; видно, для них такие сцены не были чем-то необычным.

Я протянула руку и стала гладить Нину по голове, успокаивая ее. Она постепенно затихла. Но тут Роза ткнулась мне в бок с правой стороны. Она ввинтила свою голову мне под правую руку, и мне ничего не оставалось, кроме как погладить и ее черные кудри. Она замерла. В ногах у нас присели еще две девочки и глядели на моих соседок с завистью. «Тетья Лариса, и меня погладьте», — попросила одна. Девочки поползли ко мне со всех сторон, как котятка к кошке. Даже Дина не удержалась, ей тоже захотелось получить долю ласки.

Я не знаю, какова обстановка в детской колонии, куда попадают такие вот подростки. Судя по рассказам моих свердловских сокамерниц — Лиды и других двух, — во всяком случае формальная, казенная, лишенная всякого тепла. Достаточно вспомнить хотя бы тяжелые грубые ботинки, в которые все они были обуты. Возможно, есть исключения в лучшую сторону, есть исключения в худшую. А пока они еще доберутся до колонии, насидятся в таких вот тюрьмах, пересыльных камерах, как эта. Как там будут их кормить в колонии — тоже вопрос (свердловские «малолетки» выглядели не истощенными, но сильно отставшими в физическом развитии); а здесь — голодно, девочки съедают всю свою дневную хлебную пайку с утра, в обед вылизывают алюминиевые миски, просят добавки этих помоев, но кто ж им даст добавки!

А грязь! Как и прочих арестантов, девочек водят в баню раз в десять дней, мыла выдают крошечный кусочек (как я пожалела, что не взяла в этап ком мыла, подаренный мне лефортовской сокамерницей!). При менструации женщинам в тюрьме выдают — с большой неохотой, по указанию врача — две-три небольших тряпицы, и уж в следующий месяц не проси — получила, что положено. А на пересылке и вовсе ничего не дадут, к врачу не пробьешься. Помыться в пересыльной камере негде, даже лицо ополоснуть рядом со зловонным унитазом противно.

И никому до этих малолетних арестанток нет дела (как и до всех прочих заключенных на пересылке). Редко-редко на пороге камеры появляется надзиратель только для того, чтобы привычным ему способом — угрожающе и матерно, на понятном девочкам языке — призвать их к порядку и тишине. Девочки ловко отбивают подачу, и через минуту надзиратель, обложенный матом со всех сторон, поскорее запирает дверь снаружи.

В Новосибирске я жила с 1964 по 1965 год. Академгородок с его институтами, университетом, клубом «Под интегралом», белками на улицах, советом молодых ученых, с проблемными лекциями и семинарами на темы этики и морали, с концертами филармонии и приемами зарубежных коллег — это чрезвычайно выигрышное для показухи место. СОАН организовало в Академгородке питомник юных научных дарований — Новосибирскую физматшколу, и ежегодно проводится мероприятие под девизом «Ищем таланты»: отбор способных школьников по всей Сибири и Средней Азии. С учениками физматшколы занимаются академики, нестандартные воспитатели стараются создать в общежитии атмосферу домашнего уюта... Нет, я вовсе не хочу сейчас опорочить это дело. Замечательно, что девочка из какой-нибудь Тынды, из рабочей семьи, получает в ФМШ в достатке и витамины, жиры, белки, углеводы, и пищу для развития интеллекта, и стимул к творчеству. Прекрасно.

Ну, а если бы эта девочка оказалась не столь одаренной? Или случайно не решила бы задачку на конкурсе? Если бы жизнь подсунула ей совсем другие задачи, с которыми она не справилась бы? Тогда для нее нашлось бы место в соседнем питомнике — в камере на Новосибирской пересылке. Вот бы там побеседовали с ней академики из СОАН!

Путешествие под конвоем тянулось и тянулось — в общей сложности путь от Москвы из Лефортова до Чунского КПЗ занял три недели (поездом, по билету, от Москвы до Чуны ехать 84 часа). Новых впечатлений не было. Возможно, я и сама была не в состоянии воспринимать их, как-то отупела. Сидишь в камере — ни книг, ни газет; окно зарешечено, покрыто толстым слоем наледи, да и высоко — ничего не видно, даже толком не поймешь, день или ночь на дворе; в самой камере постоянные сумерки, потому что маленькая лампочка не может осветить дымное, смрадное помещение. В вагоне окна только в коридоре, да и те по инструкции задернуты занавес-

ками. *Воронок* — машина без окон, везет тебя по городу, и не знаешь, что за город, если конвой не проболтается. Правда, однажды мне удалось увидеть через глазок бокса и насквозь через приоткрытую дверь тамбура для конвоя, что едем по мосту, а под ним дымится, исходит туманом река; я догадалась, что Ангара (она не замерзает ни при каких морозах) и что, стало быть, мы в Иркутске. Словом, три недели этапа могли бы заменить космонавтам испытание на бездействие (если такие испытания проводятся) и на пребывание в ограниченном замкнутом пространстве, а заодно и на психологическую совместимость.

После Новосибирска с малолетками мне запомнилась еще только камера в Иркутске — сама камера, помещение. К тому времени нас, попутчиц из Москвы, осталось шестеро: по пути оставили двоих, кому определен был Красноярский край. Для нас нашлось отдельное небольшое помещение — наверное, это был пустовавший в тот момент изолятор для больных: он находился рядом с комнатой медсестры, и в нем были не нары, а две двухъярусные кровати; и стены не бурой масляной краской крашены, а выбелены известкой; и рамы в оконце двойные. Одна беда — это помещение не отапливалось. Бетонные пол, стены, потолок, железные кровати были накалены от мороза, оконце заросло толстым слоем льда. Когда нас туда втолкнули, у нас зуб на зуб не попадал от холода. Но через несколько часов мы согрели камеру своим теплом и дыханием, и тогда со стен, с потолка, с окна потекла вода: камера стала оттаивать. Сразу вся наша одежда стала волглой, да еще с окна сочится ручеек прямо на кровати. Спальных мест четыре, но обнаружили два деревянных щита, которые мы перекинули с кровати на кровать тоже в два яруса, и как раз под окном. Вместо унитаза здесь стояла параша, никакого умывальника вообще не было; и стола не было тоже. Какая-то некомплектная камера. Здесь нас продержали неделю. Чтобы хоть раз в день немного согреться, я каждый вечер вызывалась мыть полы в коридоре и на лестнице. Я не торопилась, старалась подольше не возвращаться в свою камеру. Тюремный коридор казался мне тогда вершиной комфорта.

30 декабря вечером меня и бабу Шуру вызвали на этап, в конце которого была Чуна: я приближалась к месту своего назначения.

Как всегда, нам выдали продукты на дорогу, и по их количеству (на каждого из нас одна селедка, с полбуханки черного хлеба, 15 г

сахару) мы догадались, что в пути пробудем сутки. А там, в Чуне, нас обеих сразу же должны освободить: баба Шура — тунейдка, едет как бы и не этапом, а у меня в приговоре сказано «...освободить из-под стражи по прибытии на место ссылки». (Вообще-то, это есть грубое нарушение законодательства, так как, согласно УК, «лица, приговоренные к наказанию, не связанному с лишением свободы, освобождаются из-под стражи в зале суда». Но никого еще, кроме Мальвы Ланды, не отправляли в ссылку иначе, как по этапу. Протесты не помогают, на них просто не отвечают.)

Итак, не более чем через сутки я буду освобождена. Ох, что-то не верится: сутки в дороге, приедем 31 декабря к вечеру — это же Новый год, все сидят за накрытыми столами, кто нас будет освобождать? А если освободят — куда я денусь? Ни души не знаю в этой Чуне, в кармане ни копейки...

Пока едем, об этом не очень-то задумываюсь. Там видно будет. Наверное, у арестанта вырабатывается психология безответственности по отношению к самому себе, все равно ведь он не может ничего решить, ничего изменить в своем завтрашнем дне.

Наш вагончик прицеплен к составу «Иркутск-Усть-Илим», который идет до Тайшета (а мы его уже один раз проезжали в этапе от Новосибирска) по Восточно-Сибирской магистрали, а там сворачивает опять на восток, на нынешний БАМ. По этой ветке он ползет еле-еле, часто останавливается, стоит подолгу на всяких разъездах. И довольно часто происходит *обмен* (термин конвоя): одних заключенных высаживают, принимают новых. Значит, здесь по-прежнему немало лагерей. Но лагеря, должно быть, не очень большие, потому что вагон не набит битком, как на главной магистрали. Теперь в нем не душно, а наоборот, очень холодно, и чем дальше, тем холоднее.

Селедку мы с бабой Шурой съели, сахар тоже, а хлеба немного я на всякий случай оставила. Хорошо хоть курева нам обеим хватает — спасибо девчонкам за ворованную махорку.

Последние часы в вагончике особенно томительны, все-таки, видно я надеялась на освобождение в этот же день. Но проносится слух, что поезд опаздывает (здесь поезда всегда опаздывают на неопределенное время), значит, приедем совсем поздно вечером. Нет, не освободят...

В Чуне нас на станции ждет *воронок* — не тюремный закрытый грузовик, а милицейский УАЗик. И везут только нас двоих, так что

чувствуем себя почти в такси. Три минуты — и уже нас принимает от конвоя дежурный милиционер, расписывается в получении — и отправляет в камеру КПЗ.

КПЗ не отапливается. Это тоже вовсе не специальное издевательство, просто сломалось отопление. Ну, не исправили, так, во-первых, не к спеху, во-вторых, дни-то предпраздничные, все слесари, небось, пьют уже с неделю. К тому же в КПЗ почти нет арестантов, заняты только две-три камеры, да вот нас привели в четвертую.

В комнате дежурного по КПЗ горит электроплитка, и ее хватает, чтобы там было тепло. В коридоре тоже еще можно жить — то ли дверь в помещение милиции, открываясь время от времени, пропускает тепло, то ли из дежурки натекает.

Но нас запирают в камеру. Боже, вот это холодина! Оконце над нами заросло льдом сантиметров в тридцать толщиной, а от батареи центрального отопления исходит прямо-таки арктическая стужа. Что ж тут делать в этом морозильнике? По совету бабы Шуры я сняла валенки, положила их под голову; сняла теплую шапку и спрятала в нее ноги; сняла телогрейку — одну ее полу подстелила, другой накрылась вся с головой. Баба Шура таким же образом закуталась в свое пальто, и мы скорчились на нарах, прижавшись друг к другу спинами. И сразу уснули.

Вошел дежурный, принес ведро: «Это вам вместо параша. А кормить вас нечем — паек на вас не выписан».

Только снова свернулись клубочками — новое явление. К нам явился сам заместитель начальника милиции — специально ради нас (ради меня, как я потом узнала) ушел из дому от праздничного стола.

— Не знаю, что с вами делать. У вас деньги есть? — Нет у нас ни копейки, но на счету у меня есть, мне сказали, что деньги вложены в конверт с моим делом.

— Не-ет, это они из тюрьмы по почте перешлют, не рассчитывайте, что скоро. (Действительно, деньги со счета прибыли через полгода, в июле.) Были бы у вас деньги, я бы вас в гостиницу устроил. А так мне вас некуда девать, не на улицу же. (Это тоже проявление особого внимания. Обычно милицию не интересует, куда денется прибывший ссыльный. Приняли, объяснили правила поведения, назначили дни для отметок — и катись, куда хочешь, с деньгами или без них.) Придется вам дня два, пока праздники, побыть здесь.

Тон у него был чуть ли не извиняющийся, вид довольно смущенный. Но явно не из-за того, что он нарушил приговор суда, продлив мне пребывание под стражей. Просто он еще не сориентировался, как надо вести себя с политической ссыльной, относительно которой поступили специальные указания об особом наблюдении.

Это не догадка, я точно знаю, что такие указания были: Чуна — поселок небольшой. Когда, например, приехал сын повидаться со мной, я узнала, что этот же чин послал свою матушку на вокзал посмотреть, как мы встретимся. Матушка оказалась неподходящим агентом: ее умилила и растрогала наша нежная встреча, и она раззвонила об этом подругам. Но и более квалифицированные сотрудники милиции имеют друзей, а также подруг, перед которыми им хочется похвастать важной миссией.

Итак, несмотря на смущение, начальство отбыло к елке, пирогам и спиртяжке. А мы остались. Он ушел, оставив нам несбыточную мечту о гостинице. Боже мой, там тепло, наверное есть горячая вода — хоть умыться! Постели — простыни, подушка, одеяло...

— Какая я идиотка! У меня в мешке новые теплые ботинки. В любой дом зайди — уж десятку за них дали бы, на гостиницу хватило бы.

— Поздно спохватилась! Ушел. И правда, дура. Ботинки бы продали — чаю купили: чифир бы сварили.

Баба Шура, по ее словам, водку не пьет — «Здоровье не позволяет». Зато, говорит, чифир даже лучше: «выпьешь — так захорошеет...»

Мы пожевали моего хлебца, покурили и снова улеглись. Интересно, который час? Ведь Новый год наступает, а когда — не узнаешь.

Но тут в КПЗ началось оживление. Судя по шуму, доставляли новых арестантов. Некоторые из них скандалили, другие пели; спотыкались в коридоре, падали, и слышно было, как их зашвыривают в камеры. Вскоре явился милиционер и вызвал меня в дежурную часть:

— Вы женщина грамотная, будете понятой. Мы сейчас вот у нее, — он кивнул на пьяную до беспамятства бабу на лавке, — вынем все из карманов и запишем, а вы подпишите. А то потом скажет, что у нее сто рублей было.

В дежурной части было тепло. На стене висели часы: начало двенадцатого.

Я пересчитала поданные мне медяки и подписала протокол. Вслед за пьяной меня отвели в КПЗ.

Минут через пять снова вызвали за тем же. Потом еще. Потом я отказалась идти, хотя очень хотелось в тепло: подумала, что это я, арестованная, в понятия иду? За мной еще раза два приходили, а потом не стали и звать. Привозили, видно, в основном женщин — слабый пол успевал набраться, не дожидаясь новогоднего тоста.

К утру 1 января все камеры КПЗ, кроме нашей, были набиты битком.

Часа в два ночи к нам снова заглянул дежурный по КПЗ: — Не спите? Наверное, теперь потише будет: новых не привезут, эти позасыпали. Выходи, подметешь в коридоре, хоть согреешься маленько, — обратился он ко мне.

Я вышла охотно. Подметая, потихоньку заглядывала в глазки. Не во всех камерах спали — в одной заключенный стоял около самой двери, наверное, дожидаясь, когда подметальщица приблизится. Когда я подошла, он прошептал:

— Землячка, покурить не найдется? Я тут который день, и все без курева.

Я пошла к дежурному и попросила, чтобы он передал в эту камеру махорку. Милиционер поворчал, что, мол, не положено, но махорку мою взял и отнес. Это был пожилой дядька, сухощавый, с ефрейторскими складками на худых щеках, какого-то не бравого, не милицейского вида. Он остался в коридоре, пока я не кончила работу, и тогда пригласил меня в дежурку погреться. Я, признаться, поколебалась: кто знает, что у него на уме? Слыхивали... К тому же от него самогоном пахнет. Но решилась рискнуть.

— Садись, грейся. На вот, выпей и поешь, — и он налил мне стакан самогону из бутылки, спрятанной в столе, и отвалил здоровый кусок домашнего студня.

— Спасибо, только можно я половину отнесу моей сокамернице?

— Я б твоей сокамернице и понюхать не дал. Я ж вижу, ты женщина самостоятельная, а она чифира просила у меня. Видно, такая. Ну, ладно-уж, неси ей студня: Новый год. А вина не дам, она ж меня и заложит...

Я отнесла бабе Шуре студень и вернулась в дежурку. Мой мильтон снова подвинул мне стакан:

— Пей, пей! Я сейчас в любой дом зайду — мне еще банку нальют.

Я выпила, поела студня. Милиционер стал расспрашивать, за что меня посадили.

— Политическая.

— А-а. Я ж вижу, что вы самостоятельная женщина. Наверное, и образование у вас есть?

Он рассказал мне, как из колхозника стал милиционером: по благу получил паспорт и справку и уехал «с Запада» куда подальше от этого проклятого колхоза. А чтоб семью вызволить, чтоб отпустили их, пришлось вот в милицию идти. Теперь уж до пенсии недолго осталось...

Я осмеливаюсь написать об этом добром мужике потому, что он, конечно, давно на пенсии, и нет риска, что за написанное здесь его уволят или, того хуже, отправят обратно в его «колхоз».

Я просидела у него в дежурке до утра, а перед тем, как смениться, он отправил меня в камеру, дав с собой чайник кипятку. Баба Шура понимающе подмигнула мне, но упрекнула: — Дура ты, чифиру принесла бы.

До третьего января просидели мы с бабой Шурой в нашей камере. Отопление все еще некому было чинить. Пайка на нас не выписали, так что когда в коридоре начинали звенеть мисками, разнося арестованным горячую еду, мы старались плотнее накрыть головы, чтобы не слышать бульканья черпака в бидоне с супом. Нам давали только кипяток три раза в день. Хлеб мы весь доели (да сколько его было? вряд ли я оставила больше четверти буханки от своего этапного пайка). Полежим, поспим, покурим — и снова спать.

Третьего пришел тот же начальник и, совершив необходимые формальности, выпустил на «волю»: передвижение в пределах Чунского района, немедленно трудоустроиться на ДОК'е («Видите, чего вы добились? Научный работник — будете доски ворочать»), отмечаться в милиции раз в две недели и т. д.

Мне даже дали адрес, где я могу устроиться на квартиру; дали пять рублей займа, до получения денег от родных; отрядили со мной милиционера — не в качестве конвоира, а провожатым, мешок донести.

Когда я закончила ссылку и освободилась 11 декабря 1971 года, в милиции мне была дана справка, в которой, между прочим, значится: «Освобождена из-под стражи в зале суда»...

О ПРОЦЕССЕ НАД ДЕМОНСТРАНТАМИ
25 АВГУСТА 1968 г.

*...Ведь правда моя очевидна,
Ведь белые нитки видать,
Ведь судьям должно же быть стыдно,
Такого, как я, не понять...*

*Юлий Ким,
«Адвокатский вальс», 1968 г.*

За прошедшие тридцать лет многократно рассказывалось и мною, и некоторыми другими участниками и свидетелями демонстрации 25 августа 68 г. против военного вторжения в Чехословакию об этой демонстрации. Но снова и снова журналисты задают одни и те же вопросы: «Да как вы на это решились? Страшно ли вам было? Вас били? Понимали ли вы неизбежные для себя последствия? Кто первый это придумал? Кто участвовал? Где и в каком порядке вы сидели? ...И т. д., и т. п. Ну, прямо, как на допросе! И вопросы почти те же. Отвечать на эти вопросы давно надоело, стало просто скучно. Но поскольку спрашивают все же не следователи, а, как правило, милые мне люди, я считаю своим долгом отвечать и, более того, вот этому милому человеку скажу то, чего, кажется, не говорили еще другим.

Сегодня почти каждому гражданину России известно, что с 1917 г. в стране (в СССР) началось разрушение и распад правовой системы и законности. Как это происходило, рассказано в нескольких специальных работах. Началом возрождения системы права можно считать, на мой взгляд, отнюдь не процессы хрущевских политических реабилитаций и даже не перестроечные реабилитации жертв политических репрессий, а политические судебные процессы 60-х – 80-х годов.

Пожалуй, первым таким процессом, как и началом возрождения многих других сфер культуры, растоптанной Октябрьской революцией 1917-го года, стал суд над писателями А. Синявским и Ю. Даниэлем в 1965 г. За ним – и в связи с ним – последовали другие политические судебные процессы: «процесс четырех» (А. Гинзбурга, Ю. Галанскова, А. Добровольского и В. Лашковой), В. Буковского, В. Делоне и Е. Кушева и другие. Некоторые из них мне отлично,

до деталей, известны. Но и тогда – в 60-е-80-е годы наиболее значимым я считала суд над демонстрантами августа 68-го г. Таким он остается и в моем сознании, и в моих ощущениях до сих пор.

Конечно, многие сочтут, что тут причина простая: ведь в этом процессе я была одной из пяти обвиняемых и одной из участниц самой демонстрации.

Готова поклясться, что дело не в этом.

Мы, все пятеро, получили обвинительные приговоры, каждого из нас приговорили к той или иной мере наказания – По три года лишения свободы получили Володя Дремлюга и Вадим Делоне). Пять, четыре и три года ссылки дали соответственно Павлу Литвинову, Ларисе Богораз, т. е. мне, и Косте Бабицкому. Через год еще одна демонстрантка, Наташа Горбаневская, была заключена в тюремную психбольницу. Так или иначе, родное государство расправилось с каждым из демонстрантов, по мере своих возможностей, испортило жизнь каждому из нас.

Но проходят годы, а у меня все более крепнет ощущение, что не государство вышло из этого турнира победителем, а мы, приговоренные и наши защитники, победили государство – вместе со всей его репрессивной машиной, с его «следователями», «судьями» и «прокурорами». Вот это чувство победы права над силой, видимо, останется со мной до конца моих дней. И это гораздо более сильное переживание, чем сама демонстрация 25 августа.

И все-таки, почему я считаю этот судебный процесс таким значимым в ряду многих других политических процессов 60-х – 80-х годов?

И многие другие процессы были шиты, как говорится, белыми нитками, обвинение оставалось недоказанным, приговоры стряпались отнюдь не в совещательных комнатах судов, а в более высоких инстанциях, судебная процедура (а до нее и следственная) то и дело грубо нарушалась; не говоря уж о том, что сама формула обвинения являлась нарушением всех международных норм (в частности, ратифицированного СССР Международного пакта ООН о гражданских и политических правах), а также и законов СССР.

И в других процессах обвиняемые нередко не признавали свою вину, отмечая нарушения процессуальных норм. Иногда их позицию поддерживали и адвокаты. Об этом говорили обвиняемые и на других судебных процессах.

Но суд над демонстрантами стоит особняком в этом славном ряду.

В чем же его особенность?

Каждый из политических процессов, о которых речь, защищал какое-либо из прав человека — право на получение и распространение информации или право на свободу совести или на свободу передвижения и так далее... Обвиняемый, его адвокат — защищал это право, которое нарушало государство, привлекая того, кто им воспользовался, к уголовной ответственности.

А на суде над демонстрантами суд — и общество! — столкнулись с совершенно новым и неожиданным явлением: обвиняемые и их защитники выступили в защиту не только конкретного права человека, а в защиту Права самого по себе, Права как существенного достижения человеческой цивилизации, «самого святого, что есть у Бога на земле»¹⁰.

Последнее слово Константина Бабицкого (привожу с незначительными купюрами): «Граждане судьи! Вам предстоит принять трудное и ответственное решение. ... Я хочу привлечь ваше внимание к значению Вашего приговора. ... Возможно, я понесу наказание. Но — прошу верить — гораздо больше меня волнуют другие, более глубокие последствия того или иного вашего решения.

Я уважаю закон и верю в воспитательную роль судебного решения. Поэтому я призываю вас подумать, какую воспитательную роль сыграет обвинительный приговор и какую — приговор оправдательный. Какие нравы хотите вы воспитать в массах: уважение и терпимость к другим взглядам, при условии их законного выражения, или же ненависть и стремление подавить и уничтожить всякого человека, который мыслит иначе?.. Прошу вас выполнить свой долг с мудростью и опираясь на закон. Я уверен, что вы будете исходить только из закона и спокойно жду своей участи.»

«Вы сами сказали, что нас судят не за убеждения, а за публичное выражение своих убеждений и за форму нашего протеста. Я прошу у суда не снисхождения, а сдержанности...» (Из последнего слова Вадима Делоне).

¹⁰ «Самое святое, что есть у Бога на земле» — так называется только что вышедшая книга С.С. Алексева.

«Всю свою жизнь я хотел быть гражданином, т.е. человеком, который спокойно и гордо выражает свои мысли. Десять минут я был гражданином...» (Из последнего слова Владимира Дремлюги).

Из последнего слова Павла Литвинова:

«Как советский гражданин, я считал, что должен выразить свое несогласие с грубейшей ошибкой нашего правительства, которая взволновала и возмутила меня – с нарушением норм международного права...Прокурор с одобрением, чуть ли не с нежностью говорит о действиях людей, которые нас задерживали, оскорбляли и избивали, о том, что если бы нас не задержали, нас могли бы растерзать. А ведь он юрист! Это-то и страшно.

Вот что меня пугает. Вот против чего я боролся и буду бороться всеми известными мне законными средствами.

Из последнего слова Ларисы Богораз: «Я оказалась перед выбором: протестовать или промолчать, т. е., присоединиться к одобрению действий, которых я не одобряю, а значит, солгать. Я не считаю свой образ действий единственно *правильным*, но для меня это было единственно *возможным* решением... Если бы я этого не сделала, я считала бы себя ответственной за эти действия правительства, точно так же, как на всех взрослых гражданах нашей страны лежит ответственность за все действия нашего правительства, за сталинско-бериевские лагеря, за смертные приговоры...»

Прокурор: Я прошу лишить подсудимую Богораз последнего слова – она не вправе говорить о действиях советского правительства, советского народа...

Богораз: «Может, представить вам конспект моего последнего слова?..

...В своей защитительной речи, защищая свои интересы, я просила суд об оправдательном приговоре. Я и теперь не сомневаюсь, что единственно законным был бы оправдательный приговор. Я знаю закон, но я знаю также и судебную практику, и в своем последнем слове я ничего не прошу у суда.»

Из защитительной речи Д.И. Каминской, адвоката Павла Литвинова:

«Прокурор задал вопрос: «Что имел в виду Литвинов, когда поднял лозунг «За вашу и нашу свободу»? Может быть, он имел в виду свободу устраивать сборища, свободу клеветать?»

Но ведь клевета – это правовое понятие. Оно предполагает сообщение *заведомо ложной* информации. ...Этот лозунг не содержит никакой информации, никаких сообщений – ни правильных, ни ложных.

И на предварительном следствии, и в суде Литвинов говорил, что он считал себя обязанным открыто высказать свое отношение к решению о вводе войск в Чехословакию, решению, с которым он был не согласен. И независимо от того, прав он был в этой оценке или ошибался, выражение собственного мнения не может считаться преступлением.

Решая это необычное дело, суд не может отказать людям, судьбу которых он сейчас решает, в признании их безусловной искренности и убежденности. Эта внутренняя убежденность в своей правоте, это желание открыто высказать свое отношение и мнение – исключают возможность осуждения их за сознательную намеренную ложь – т. е., за клевету...

Все материалы дела приводят меня к убеждению в невиновности Литвинова, и я обращаюсь к суду с единственно возможной при таких условиях просьбой – просьбой о его оправдании.

Из защитительной речи Ю.Б. Поздеева, адвоката Константина Бабицкого:

«Бабицкий находился на площади с лозунгом на чешском языке «Да здравствует свободная и независимая Чехословакия». Лозунг не содержит никакой информации. ...Представитель обвинения говорил, что войска были введены, чтобы обеспечить свободу и независимость Чехословакии, т. е., именно то, о чем говорится в лозунге. Сомнений не представляет, что Бабицкий вкладывал в эти слова иной смысл. Но уголовная вина может следовать из самого текста, а не из его толкования. Судят ли человека за текст или же за подтекст?

Я полагаю, что по ст. 190-1 Бабицкий подлежит оправданию за отсутствием состава преступления...

Из защитительной речи С.В. Каллистратовой, адвоката Вадима Делоне:

«Мы, юристы, глубоко уважаем закон и знаем, что нельзя оправдать нарушение закона никакими, даже самыми лучшими побуждениями. Руководствуясь законом и только законом, я обязана, а силу своего профессионального долга, просить суд об оправдании Вадима Делоне, так как ни в законе, ни в материалах дела нет оснований признать уголовно наказуемыми его действия. ... Я признаю

право прокурора на убеждение, такое же право я признаю и за собой. У нас состязательный процесс. Мы спорим. Прокурор доказывает, что Делоне виновен. Я доказываю, что он не виновен. А вы, товарищи судьи, будете вершить приговор и устанавливать истину... В наших руках целый арсенал средств исправления людей, страдающих политической незрелостью и политической неустойчивостью. Уголовная репрессия в число этих средств не входит.

Если, как утверждает товарищ прокурор, в самом факте выражения несогласия с мероприятиями правительства содержится состав преступления, — то тогда защищать Делоне невозможно. Но пусть прокурор укажет закон, определяющий, что в этом есть состав преступления.

Судья: Вы в своей речи больше касаетесь речи прокурора. Переходите непосредственно к защите.

Каллистратова: Я — адвокат — не обязана представлять доказательства невиновности Делоне, по закону, я здесь для того, чтобы оспаривать и критиковать те доказательства, которые представлял прокурор...

Нужно ли было в порядке ст. 13 бить Делоне, который не сопротивлялся? Мне кажется, что не нужно. И мне хотелось бы, чтобы в речи прокурора прозвучал упрек тем неизвестным, неустановленным лицам, которые делали это.

Надеюсь не на снисхождение, а на справедливость и законность вашего приговора Прошу Делоне оправдать за отсутствием в его действиях состава преступления.

Из защитительной речи Н.А.Монахова, адвоката Владимира Дремлюги:

«В лозунгах вообще не содержится сообщений о каких-либо фактах, ложных или действительных. В них высказывается субъективное и личное отношение к событию, которое совершилось 21 августа, причем событие это настолько общеизвестно, что бессмысленно ставить вопрос, ложно оно или не ложно. ...Несогласие с мнением пусть даже самого авторитетного учреждения Советского государства не является предметом уголовного закона. ... Кого и относительно каких конкретно фактов могли ввести в заблуждение транспаранты, демонстрировавшиеся у Лобного места? Обвинение утверждает, что само требование освободить первого секретаря КПЧ (речь идет о плакате «Свободу Дубчеку!») содержит в своем подтексте ложное со-

общение о лишении его свободы. Ни в тексте, ни в подтексте плаката не содержится указаний на то, к какому государству, а может быть и к отдельным лицам обращено это требование. Для людей, не слушавших зарубежных передач, этот лозунг, очевидно, остался бы просто непонятным. Разгадать смысл подтекста, не прибегая к разъяснениям зарубежного радио, невозможно. Но разве можно строить обвинение на подтексте, к которому добавляются другие привходящие соображения, которым само обвинение не доверяет? Такую конструкцию обвинения я считаю юридически неправильной и необоснованной.

— Да-а-а! Николай Монахов «сделал товарища прокурора В.Е. Дреля, как ребенка», — как сказала бы людоедка Эллочка.

Не гонялся бы ты, ЦК КПСС, за дешевизною!

Из защитительной речи Л.И. Богораз¹¹:

Наши лозунги не содержат ничего ни заведомо ложного, как и ничего оскорбительного. Если не оскорбителен сам ввод войск на чужую территорию, то не оскорбителен и лозунг, демонстрирующий мою личную оценку этого события. Не думаю, что критическое отношение к какой-либо акции правительства или КПСС означало бы опорочение советского общественного или государственного строя...

Никакой строй не застрахован от ошибок.

Прокурор напомнил Литвинову о второй части статьи 125 Конституции, утверждая, что свобода демонстраций гарантируется только тогда, когда демонстрация направлена на укрепление социалистического строя. Я же эту статью Конституции понимаю так: свободы *гарантируются в целях* укрепления социалистического строя и в интересах трудящихся СССР.

Я считаю, что моя вина по ст.ст. 190-1 и 190-3 не доказана и поэтому прошу оправдательного приговора.

Из приговора:

«...Все материалы дела приводят меня к убеждению, что вина человека, которого я защищаю, не доказана и, следовательно, он в силу нашего закона должен быть судом оправдан....»

Обвинение утверждает, что Литвинов и остальные подсудимые явились с ...лозунгами 25 августа в 12 часов на Красную площадь.

¹¹ Л.И. Богораз решила в суде самостоятельно, без адвоката, вести свою защиту. История и мотивы такого ее решения рассказаны в книге ее друга, Д.И. Каминской «Записки адвоката».

Эту часть обвинения я считаю бесспорно доказанной. ...Этот единственный факт Литвинов и другие подсудимые подтвердили с самого начала следствия. Не спору и с утверждением о том, что Литвинов сел на тротуар или парапет Лобного места и поднял один из лозунгов, а именно «За вашу и нашу свободу». Доказано, что сидел, а не стоял... Но сами эти действия – сидение на тротуаре и держание лозунга – не дают состава преступления по ст. 190-3...

...Какие же действия могут квалифицироваться как нарушение общественного порядка? Это, во-первых, оказание сопротивления представителям власти и, во-вторых, помехи движению транспорта и помехи работе государственных и общественных учреждений...

...Из всех свидетелей, которые задерживали обвиняемых, не было ни одного, который мог бы быть назван законным представителем власти. В своем свидетельском показании Давидович утверждает, что задерживающее лицо предъявило документ, но какой именно документ – неизвестно.

Давидович: Удостоверение предъявил работник опергруппы. В штатском.

Делоне: Вы видели потом того человека, который якобы предъявил документы?

Давидович: Да, в милиции.

Богораз: В ваших показаниях на предварительном следствии говорится, что демонстрантов задерживали мужчины в штатском при помощи работников милиции. А на очной ставке вы утверждали, что не знаете, была милиция или нет. Чем вы объясняете это противоречие?

Давидович: Задерживала милиция с помощью граждан в штатском. Окружающие были возмущены, пригласили работников милиции.

Прокурор: Помогали ли вы задерживать кого-нибудь?

Давидович: Да, по просьбе работников милиции. Вот этого (показывает на Делоне).

Делоне: Так это вы мне руки заломили?

Бабицкий: Где находились работники милиции в форме? Среди тех, кто вел задержанных, были работники милиции? Они были в форме?

Давидович: Да, работники милиции находились среди окружающей демонстрантов толпы. Да, они принимали участие в задержании. Да, они были в форме. Я это видел.

Богораз: Сколько примерно было милиции в форме?.. Они не допрошены. Куда они делись?

Давидович: В милицейской форме было человек 5-6. Куда делись потом — не знаю.

Монахов: Подходили ли к сидящим гражданам работники милиции в форме?

Свид. Федосеев: Милиция освобождала проезд с территории Кремля. Других милиционеров в форме не было.

Каллистратова: Кому вы передали плакаты?

Свид. Долгов: Старшине милиции в форме.

Бабицкий: Видели ли вы около Лобного места представителей милиции?

Свид. Ястреба: По-моему, у Лобного места работников милиции не было.

Свид. Стребков: Команду доставить в отделение милиции сидевшего у Лобного места вот этого гражданина (показывает на Бабицкого) мне дали неизвестные граждане.

Каллистратова: И вы исполнили команду каких-то граждан.

Свид. Стребков: Да.

Каллистратова: В момент задержания был ли кто-нибудь в форме?

Свид. Ударцев: Нет, в милицейской форме я никого не видел.

Каллистратова: Вы видели работников милиции? Задерживала ли кого-нибудь милиция?

Свид. Куклин: Кроме Розанова на посту не видел. Милиция никого не задерживала.

Монахов: Вы явились на суд в форме. К какому роду войск вы принадлежите? Прошу суд удостоверить, что форма свидетеля Давидовича является либо формой КГБ, либо формой войск МООН. (Судья снимает вопрос Монахова).

ИНТЕРВЬЮ¹²

Тогда, в 68 году главным движущим мотивом для меня было чувство стыда...

¹² Интервью взято Еленой Ознобкиной 16 апреля 1998 года.

Наташа Горбаневская позвонила мне 21-го на рассвете. У нее был голос – рыдание, она по радио услышала, что советские танки в Праге.

С 30-х годов, хотя я тогда была маленькая, но навсегда запомнила фразу «Фашистские танки в Праге».

Эта фраза и та, которую я услышала теперь от Наташи, слились в моем сознании в одно, стали тождественны. Я понимала, что и немцы не все хотели этого. А те, кто не хотел – как они к этому отнеслись? Примирились, как с неизбежным злом?

Теперь этот же вопрос относится ко мне. Советские танки в Праге. А что я могу предпринять?

Для того, чтобы решиться на какое бы то ни было действие, надо было изменить глубоко въевшееся в сознание представление, что вопросы внешней политики меня не касаются. Это «их» дела. Для того, чтобы почувствовать, что и за это я в ответе, нужно было это представление подавить.

Для меня сложно было и принять ту форму протеста, которую предложила еще в начале лета Наташа Горбаневская. Она первая произнесла слово «демонстрация». Мне бы и в голову не пришло: с детства и до сего дня сама мысль о том, что я могу стать объектом чьего-то внимания, наблюдения вызывает у меня буквально рвотный рефлекс.

И сегодня для меня наступили очень неприятные времена – то телевизионщики, то газетчики... Почему же я не отказываюсь? Отчасти в силу соглашательских свойств личности. Ведь это надо было бы объяснять чем-то свой отказ, что само по себе тоже значит раскрывать себя перед посторонними, да еще и с оттенком кокетства. Хорошо, когда возможно отговориться плохим самочувствием. На самом деле, не так уж плохо я себя чувствую. И вот приходится говорить слабым голосом, строить кислую физиономию... Тогда я начинаю искать сочувствия у сыновей, жаловаться им на трудную жизнь. Что же говорит мне младший сын? «Поздно спохватилась! Тридцать лет назад надо было думать, вот теперь и расхлебывай!»

Но тогда – разве кто из нас об этом думал? Да и предвидеть мы могли только ближайшее будущее – тюрьму, суд, лагерь. Почему-то других возможностей (вроде ссылки) я и не предполагала: статья УК такую меру наказания, как ссылка, не предусматривала).

Так что тогда думалось совершенно о другом — как организовать задуманную акцию — ну, там, плакаты нарисовать, обеспечить все-таки хоть минимальную гласность, и в меру своих возможностей подготовиться к неизбежному предвидимому грядущему, о котором я только что сказала. Единственное, в чем я не сомневалась с начала лета: если вторжение — значит, демонстрация. Ведь другие формы протеста и выражения своего отношения к происходящему — петиции, протесты, обращения (словом, коллективки) уже были нами испробованы. Не то, чтобы меня — нас — разочаровало отсутствие малейшего результата, на положительный результат никто и не рассчитывал. Но очевидно же: противодействие должно быть адекватно действию, а перечисленные выше формы протеста ощущались как явно неадекватные в отношении вторжения. Поэтому когда мы, пикетные жилеты, всю зиму, весну и лето обсуждали события в Чехословакии и тот пропагандистский шабаш, который развернулся вокруг них в СССР, все наши разговоры вертелись около одной темы: введут войска — не введут, а если введут, тогда что будем делать?

Горбаневская, по-моему, первая произнесла слово «демонстрация», и оно, как бабочка, запорхало на наших посиделках. Я тоже повторяла это слово, но, говоря правду, не верила в возможность вторжения. У меня, видимо, еще оставались какие-то иллюзии относительно здравого смысла у наших руководителей. Но еще и очень уж не хотелось, чтобы ввели войска: Пражскую весну уж очень жалко, да и себя тоже.

Помню такой эпизод: в чьем-то доме я случайно встретилась с молодым чехом, московским аспирантом-физиком. Снова зашел разговор все о том же — введут войска — не введут. И он так выразительно смотрел на меня, как будто что-то от меня зависело. Я сказала, что не представляю себе, чтобы «они» на это решились: «ведь это значило бы конец коммунистического движения в мире». И тогда он сказал: «Тогда пусть вводят...» Этот разговор сыграл немалую роль в моем последующем поведении.

И еще запомнилось вот что: карикатура в газете «Literalni listy»: красивое здание в классическом стиле, портик на колоннах; перед зданием стоит человек с густыми черными бровями, в пожарной форме, с брандспойтом в руках и поливает дом мощной струей воды. Тут же копошатся маленькие фигурки и кричат по-чешки: «Да ведь не горит же!» Конечно, немало значило и то, что некоторое время у

нас в «Союзпечати» еще продавались чехословацкие газеты, а когда у нас прекратили их продажу, нам иногда с трудом удавалось добыть какой-нибудь случайный номер. И некоторое время еще допускались туристические поездки из СССР в ЧССР, так съездила туда еще в начале июня моя подруга Нина Лисовская. А, вернувшись, рассказывали друзьям о своих впечатлениях. Так что тоненький ручеек информации все же просачивался оттуда и достигал тех, кто эту информацию искал. Своим же газетам мы уже давно привыкли не доверять.

Так что, можно сказать, что для меня все решилось задолго до 21-го августа. Толя Марченко, как и многие другие, не сомневался, что Пражскую весну постараются задушить: «они» ведь понимают – сегодня Прага, завтра Варшава, где и так уже начались волнения, а послезавтра, глядишь, и Москва... Генерал Петр Григоренко с двумя друзьями написал письмо в поддержку Пражской весны, осуждавшее политику СССР – политику шантажа и давления на чешское руководство. Они отнесли свое письмо на улицу Гашека, в чехословацкое посольство. Толя Марченко в конце июля пишет большое письмо о советской политике в отношении Чехословакии, предсказывая дальнейшие события, и отправляет это письмо и в чехословацкие, и в советские, и в западные газеты. Просто опустил их в почтовый ящик – и на другой же день его арестовали.

И вот 21-го на рассвете по радио «нам сообщили, что началась война» – ну, не война, конечно, а оказание братской помощи. Кому? В чем?

На этот же день, на 21-е, был уже назначен суд над Анатолием, как водится, в каком-то зачуханном здании. Как стало обычным, во дворе суда собралась небольшая толпа «своих» – человек сорок-пятьдесят, приблизительно столько же охранителей порядка. Нас внутрь, конечно, не пускают («впустим на оглашение приговора»), но и не разгоняют. Все же несколько человек впустили, а остальные ждут этого самого приговора и не расходятся, что, видимо и было сверхзадачей стражей порядка в этот день. Толино дело ерундовое – «о нарушении паспортного режима»; там и слушать-то нечего, но процесс тянется и тянется, уже и вечер. Весь этот день я просидела в зале рядом с Комой (Вячеславом Всеволодовичем Ивановым), нас обоих впустили, и где-то уже в шестом-седьмом часу Кома говорит

мне: «Лара, простите, ради Бога, я должен уйти. У меня сегодня день рождения, гости, наверное, уже собрались, ждут меня...»

Когда суд, наконец-то, закончился, несколько человек ушли вместе и отправились домой к Петру Якиру. Там-то и происходил «преступный сговор». Где (на Красной площади — там практически нет дорожного движения, лишнего нам не припишут; но все-таки приписали «нарушение движения транспорта»), когда (25-го, в воскресенье — выходной, люди гуляют, кто-никто все же что-то увидит и, может, задумается), в котором часу (в полдень — из тех же соображений, а также чтобы лежебоки из нас не проспали, а рассеянные не перепутали час. Все практические соображения исходили опять же от Наташи — у нее слово, как всегда, не расходилось с действием. Ни о каких других конкретных деталях, кажется, не договаривались — кто, какие тексты плакатов, пусть придет, кто сам захочет (ведь ни от кого из собравшихся у Якира наш план не секрет; правда, тут же сам собой определился будущий состав демонстрации; кто хочет, может присоединиться, кто не хочет, волен передумать; впрочем, появление на площади Делоне, Баевой, отчасти и Файнберга было для меня полной неожиданностью). Договорились только о том, чтобы не оказывать милиции никакого сопротивления — тоже для того, чтобы избежать лишнего пункта в обвинении. Я вызвалась сообщить о демонстрации знакомым мне иностранным корреспондентам, конечно, была ставка на публичность. Не для того, чтобы имена наши узнали (мы и сами наперед всех не знали), а для того, чтобы стал известен сам факт протеста в СССР. Особенно, чтобы это стало известно в Чехословакии. На все про все у нас оставалось три дня 22-е, 23-е, 24-е. И на плакаты, и на корреспондентов, и на приведение в порядок — перед арестом — личных дел. Я еще задумала заранее очистить квартиру от «крамольных» бумаг: их сколько ни прибирай по мере поступления, каждый день заводятся новые. И собаку с кошкой надо пристроить, и оставить какие-то распоряжения сыну (он как раз, к счастью, уехал в Тарту; надо бы еще и моих стариков навесить — попрощаться. И еще одно дело у меня было задумано, о нем я скажу чуть позднее. И на работу надо ходить, а то еще уволят за прогул. Тогда я совершила еще один несвойственный мне поступок. Пришла на работу и написала заявление, что в знак протеста объявляю индивидуальную забастовку. Лукавство, конечно. Зато выгадала свободный день. Почти все, что было надо,

успела сделать. Не успела только очистить от крамолы комнаты, да к старикам не удалось заехать. Зато я написала им и Саньке (сыну) письма: что, мол, простите меня, но ничего не поделаешь. Обо мне не беспокойтесь — все будет в порядке, сейчас сказали бы «о-кей». Написала приятельнице просьбу, чтобы взяла к себе собаку и кота и относилась бы к ним, как к родным. Ну, и тому подобные банальные дела и слова.

Один мой поступок был не совсем банальным. В преддверии тюрьмы я вспомнила, что рассказывала моя подруга Майя Улановская о том, какво женщине в тюрьме — ей-то пришлось сидеть там еще в конце 40-х. Бьют, пытаются — ну, это нас не коснется, времена не те, да и огласки побоятся. Так я расчислила — и не ошиблась, чем и сейчас горжусь. Т. е., лишнего не навывдумывала, потому и не боялась.

Особый разговор о Саньке. Парню 17 лет, а я его оставляю одного, отец-то, Юлий Даниэль, в лагере. А ему еще учиться надо, в институт поступать. Рассуждала я так: я его растила и воспитывала до 17-ти лет, и если бы оказалось, что он не готов к самостоятельной жизни, где его, конечно, могут ожидать и трудности, и дурные влияния — так вот, если бы он с этим не справился — так что проку в моем воспитании? В нем я была уверена. Конечно, и в том, что ни дедушка с бабушкой, ни многочисленные друзья не оставят его без помощи и заботы. Но получается, что свои обязанности я переложила на руки других людей. И еще я позволила себе позабыть о грозящей ему армии, о необходимости и зарабатывать на жизнь и учиться, о том, что его могут начать выселять из квартиры, наконец, о его сложных возрастных психологических трудностях. Только в момент ареста эти мысли промелькнули у меня в голове. А тогда я успокаивала себя рациональными выкладками. Зато теперь все это заставляет меня сомневаться в моральности моего выбора.

Да, с Санькой в конце концов все сложилось, кажется, не трагично. Но — без меня.

Еще одна забота совсем другого рода: Майя рассказывала, что в тюрьме у женщин отбирают подвязки для чулок. Чулки спускаются, перекручиваются, чувствуешь себя неопрятной и тем униженной. В то время, в 68-м году, многие женщины уже носили брюки, а у меня брюк не было. 24-го я пошла в магазин и купила первые в моей жизни брюки и новую блузку — летнюю: август, жарко! Правда,

в тюрьме у меня брюки отобрали, так как они были на молнии, а я позабыла, что арестантам все металлическое запрещено. Оказывается, какой ты ни будь умной, всего не предусмотреть.

Вот так все перемешалось в эти дни – Санька, брюки, домашняя живность, крамольные бумажки, ключи от квартиры, которые надо же было оставить для Сани...

А Вы спрашиваете, была ли демонстрация спонтанным актом, чисто эмоциональным. Конечно, этот элемент присутствовал, играя немалую роль. Стыд за свою страну, за соотечественников, за себя саму – чувство ответственности. Но, сами видите, пришлось и размышлять и о вещах принципиальных – о праве и обязанности вмешаться, об ожидаемых результатах этого поступка; и о вещах сугубо бытовых, практических.

Главным и наиболее значимым событием для меня и тогда была – и теперь, чем дальше, тем больше – не сама демонстрация, а суд. Суд я и тогда ощущала, и сейчас ощущаю как нашу победу.

Это был совершенно замечательный спектакль, который можно было снимать без предварительных репетиций, – готовый фильм. Спектакль, полностью подготовленный властью. Это было совершенно изумительное зрелище, только зрителей маловато. И то, как сказать. Все же зал судебных заседаний был полон. Главный состав зрителей был специально подобран – особо доверенные люди, вероятно, со специальными пропусками от парткомов? от профкомов? Корреспонденты, командированные со специальными заданиями (недавно я узнала, что один из корреспондентов после суда отказался писать заказанный отчет). Кроме того, к этому времени уже сложилась традиция пускать на политические процессы родственников подсудимых. Так вот, в нашем случае родственников оказалось очень много: пятеро подсудимых, и за двумя из них – Литвиновым и Бабицким – целые семейные кланы. Этого режиссеры тоже не учли. Как я глянула, у меня закружилась голова, – вот идут Литвиновы: мама, папа, сестра, две бабушки, жена, отец жены (Лев Зиновьевич Копелев). А вот клан Бабицкого: мать, жена (Татьяна Великанова), три ее сестры, мать Тани. Когда появилась в дверях эта дама с абсолютно белой головой – охранник преградил ей дорогу: «А Вы кто еще?» – «Я мать!» – величественно ответила Наталья Александровна, не уточняя, чья мать. Охранник впустил и ее. Был мой сын Саня с припасенным для записи процесса блокнотом; мой отец и

мачеха. Пропустили и Люду Алексееву, она назвалась моей сестрой (мы с ней заранее договорились, что в тюрьме я впишу ее как сестру в личное дело). Обалдевшие от обилия «родственников» охранники впустили и моего друга Михаила Бураса, который сказал, что он мой брат. Он безногий инвалид войны, привез на своей инвалидной машине гору цветов — для адвокатов, и попер, что называется, внаглую, напролом. Пропустили. Халтурщики! Правда, потом из пустой машины все цветы украли...

Так что в зале было полно своих. И было на ком остановить взгляд. Главное же — мы с адвокатами (тоже ведь четверо) так явно переигрывали очень слабую команду обвинителей, что не могло остаться никаких сомнений: победа на нашей стороне. Да, конечно, за ними сила, конвой при оружии, «воронки» отсюда повезут нас обратно в тюрьму и далее — на север, на восток. Но за нами — Право и правда. Недаром же у судьи Лубенцовой белеют косточки на руках, когда она от бессильной злости стискивает кулаки.

Никогда этого не забуду.

Не надо думать, что наше выступление против оккупации Чехословакии было тогда единственным.

На этапе, когда меня везли в ссылку, ко мне подошел конвойный и сказал: «До вас я вез в лагерь человека, который в Москве на Октябрьской площади один выступил с лозунгом против оккупации». Один! Конвоир не помнил его фамилию. Теперь достоверно известно, да, такой случай был. Раз его везли в лагерь — значит, был процесс. Но, видимо, закрытый. Наш процесс тоже хотели сделать закрытым.

Но Павел Литвинов и адвокаты подняли большую бучу. А этого парня наверняка судили закрытым судом. Безо всякого шума и резонанса. И приговор неизвестен. Знать бы его имя и что с ним дальше произошло. В Питере осудили молодого человека Игоря Богуславского. Он ночью на Клодтовых конях написал несмываемой краской: «Брежнев, вон из ЧССР!». Краску долго потом отскабливали. Игоря каким-то образом нашли, посадили, кажется, в психушку.

Насколько я знаю, были еще протесты в Новосибирске... Возможно, еще где-то были.

Не следует думать, что все тогда было совершенно глухо.

Но только наш протест стал довольно широко известен. Известен и сейчас....

Когда стала издаваться «Хроника текущих событий», многие случаи протестов становились известными, получали общественный резонанс и, вероятно, имели реальные последствия. Например, свою роль сыграла голодовка Анатолия Марченко в 1986 г. в Чистопольской тюрьме. Он там погиб, но после его смерти началась широкая амнистия политических заключенных. Конечно, не голодовка и даже не смерть Анатолия заставили власти пойти на этот шаг. Но и его голодовка, и смерть возбудили общественный отклик не только в СССР, а во всем мире.

Тогда гласность, осуществлявшаяся явочным путем, значила очень много.

Как и Вы, я задумываюсь о том, что все это — то, что было в «доисторические», в «мирные» времена — значит сегодня.

Как и тогда, я и сегодня считаю, что гласность — необходимый инструмент, способный повлиять — раньше или позже — на исторический процесс. И такие акции, как демонстрации — восьми ли, восьми ли тысяч человек — тоже раньше или позже, в этом процессе, оказывается, имеют значение. Но вот сегодня у нас как будто имеется гласность — какого я о ней, сегодняшней мнения — другое дело. И демонстрации происходят, иногда многотысячные, и шахтерские голодовки. Где же положительный результат от всего этого? Есть и неплохие законы. И что же? Ведь об этом Вы хотели со мной поговорить, не правда ли?

К сожалению, я не оракул, не цыганка-сербиянка, у меня нет ответов на все вопросы, какие можно задать. Могу лишь поделиться своими мыслями об этом.

Власть, как тогда, так и теперь, может быть, любая власть вовсе не склонна прислушиваться к нашим пожеланиям и требованиям. Может быть, такова природа любой власти — хоть деспотической, хоть демократической. Так что же, отказаться от всяких попыток воздействовать на нее? Мы же не отказывались, вдохновляясь лозунгом: «За успех нашего безнадежного дела!» Но тогда, во-первых, нам важен был не результат, а, как говорится, процесс: свобода выразить свое мнение. Согласитесь, этого можно добиться и явочным порядком, и в одиночку, и восьмером. А вот зарплату явочным порядком не выбьешь. Мы-то могли и в тюрьме, и в ссылке чувствовать себя победителями. А умирающие с голоду вместе со своими семьями

шахтеры — им, чтобы чувствовать себя победителями, надо получать зарплату. Я вообще понять не могу — как они выживают?!

Интерес — не право — наверное, невозможно отстаивать без надежды на успех. Значит, надо искать такой способ действий, который не был бы безнадежным. К этому я еще вернусь.

И еще — тогда мне не нужна была массовая поддержка. Конечно, приятнее знать, что тебе сочувствуют и другие твои сограждане. А нет — ну, что ж. Того, что мне, именно мне было нужно, я добилась. Вот — я свободна! Ведь этого я и хотела. Для себя, а не для всех. Кто еще хочет — пожалуйста, «делай, как я».

И все-таки, где сегодня те люди, которые чувствуют свою ответственность не только за себя, а за все то, что происходит в нашей стране? Что, таких больше нет? Я уверена, голодающим шахтерам и бюджетникам, сочувствуют очень многие. Почему же они — мы — ничего не предпринимаем в помощь бедствующим? Да, сил больше не осталось — например, у меня. Но дело не только в этом.

Вспомним митинги и пикеты во время чеченской войны — они собирали ничтожно мало народа. С каждым разом все меньше. Что же, мало кому было дело до этой — нашей! — войны? Думаю, война возмущала большинство народа. А на митинги не шли. Почему?

Сегодня на петиции, на митинги и пикеты власть вообще не обращает никакого внимания. Говори, что вздумается, если только прямо не запрещено законом. Критикуй, кого и что хочешь — лишь бы в парламентарной форме.

В наше время — нас судили, сажали, ссылали. Значит, все-таки замечали. Такой был своеобразный диалог граждан с властью.

Так не лучше ли возвратиться ли к прежним временам? Нет, я вовсе не это хочу сказать. Вернемся к вопросу о действенных формах протестов и требований.

А вот на какие действия власть сегодня не может не ответить? Где ее болевые точки?

Возможно, надо вспомнить старый юмористический афоризм: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Ваши голодовки, пикеты, массовые шествия не дают результата — придумайте что-нибудь такое, что было бы результативно. Вот в ссылке (я там работала на деревообрабатывающем комбинате) рабочим нашего цеха не выплатили премиальные, которых рабочие, как они сами считали, заслуживали. Ворчали, бурчали... О забастовке там и тогда

нечего было и думать. И я посоветовала женщинам-рабочим (у нас был такой цех — женский) каждой в отдельности пойти в управление с заявлением об увольнении. Без объяснения причин. Спросят, конечно, не первую, так пятую. Тогда и завести речь о премиальных. «Зачинщиков» искать не стали — вот я увольняюсь, какой тут зачинщик? Премиальные уплатили.

Так почему те, кто сидит без зарплаты, сегодня не увольняются?

Мы сейчас входим в европейское сообщество. Может быть, правозащитные группы должны обращаться туда. Причем наше обращение должно быть достаточно жестким. Сказать: прекратите оказывать поддержку безответственному правительству, прекратите демонстрировать дружеские отношения. На краю гибели миллионы людей. Этот ход, я считаю, может быть действенным. Но в то же время, как власти будут реагировать — я не знаю..

И хуже того, я сама внутренне не уверена сегодня, что имею право на такое обращение. О чем и кого я могу просить? Просить Международный валютный фонд не давать кредитов? Но их не получит не правительство, так сказать, персонально, а те же шахтеры. Наверное, можно просить Международный валютный фонд давать кредит только с жестким требованием целевого использования финансовых вливаний... Довольно банальная идея. Однако, другой у меня нет. Опять же, как заставить этот фонд откликнуться на наши просьбы?

Вот если бы шахтеры-забастовщики стали взывать к международной солидарности.

Уж западные их коллеги умеют воздействовать на свои власти, умеют от них потребовать жесткой политики в отношении восточного партнера.

Ну, хорошо. Значит, опять надежда на постороннюю, пусть и доброжелательную помощь? А сами-то мы что можем делать?

Не хочется попадать в политическую игру противостояния. То, что я сейчас скажу, никак не сближает меня с Зюгановым или с кем-то еще, только демонстрирующим свою оппозиционность.

Я опять говорю только за себя.

Как я-то сама отношусь к нынешней власти? Если говорить о не о Президенте, не о парламенте, а о правительстве, то, скажу честно: в общем-то, лояльно. Готова понимать его сложное положение и даже во многом сочувствовать.

Но вот чего я простить никому не могу — это безразличия к людям, к самой жизни. К населению, по сути, относятся как к быдлу и материалу для очередного эксперимента. И нынешнее правительство, и вчерашнее, и позавчерашнее. «Как же, — скажет кто-нибудь из вершителей наших судеб, — ведь я совершенно искренне, хлопочу вовсе не о себе, а о людях. Стараюсь, чтобы им было лучше. А как это сделать — «я знаю, как надо». Хочется такому человеку возразить: «Он врёт, он не знает, как надо». Как мне надо, знаю именно я, а вовсе не Вы. Так оставьте меня в покое, не вовлекайте в свои политические игры, в свою борьбу за власть, в борьбу левых и правых, центра и маргиналов.

Я много раз слышала слова «гражданское неповиновение», но что они значат? Какие формы оно может принимать? Отказ от уплаты налогов? Так какие там с меня налоги? Это не ко мне...

Может быть, акцией гражданского неповиновения можно считать и отказ от участия в выборах. Не безответственно ли это? На президентских выборах во втором туре я голосовала «против всех». Если власть делает вид, что вас нет, они вас не замечают — тогда и вы их не замечайте.

В анархисты, что ли, податься?

ПИСЬМО ЧЕШКИМ ДРУЗЬЯМ

Пражской весне в нынешнем году — тридцать лет. Возраст цветущий, но и вполне зрелый. Пожалуй, наступило время задать и себе, и Праге некоторые вопросы; осмыслить и начало, и то, что произошло за эти тридцать лет.

Мы все помним — и никогда не забудем — оккупацию, попытку насильственным путем прервать ход истории, повернуть его вспять.

Действующие лица Пражской весны, а, возможно, и большая часть народа Чехословакии (я буду так называть эту страну, ведь тогда она так и называлась, и Чехия со Словакией были одной, единой страной) хотели построить у себя социализм с «человеческим лицом», надеялись, что им это удастся. Вопрос о том, возможен ли вообще «социализм с человеческим лицом», кажется, тогда и не возникал; во всяком случае, я тоже полагала, что эта странная фор-

мация, этот кентавр предпочтительнее звериного лика «реального социализма» (по терминологии Л.И. Брежнева) и, уж конечно, предпочтительнее, чем обвальная, революционная смена формаций, одной на другую, пусть и с противоположным знаком. Поэтому многие в СССР, в 1968-м, с такой надеждой следили за событиями в Чехословакии: если бы у вас эта попытка удалась — тогда почему бы и не в Польше, не в СССР, в конце концов?!

Теперь наступило время спросить себя: провалилась ли эта попытка? А если провалилась — то по причине «братской помощи», прибывшей на танках, или же она была обречена на провал по собственным, внутренним причинам? Задавая этот вопрос себе, я хочу задать его и вам, чехам.

У меня нет сомнения в том, что вторжение в 68-м году было, есть и останется позором моей страны, а также и Польши, Венгрии, Восточной Германии. А вот можно ли считать, что при этом вы потерпели поражение? Да, чужие танки пришли на вашу землю и вошли в ваши города. Но зато вместо романтических мечтаний о достижении эфемерного «нового» социализма вам пришлось сосредоточиться на вполне реалистической задаче: в условиях оккупации отстоять свое национальное достоинство, сохранить возрождавшийся у вас дух свободы. И с этой задачей, я думаю, вы блестяще справились.

Так что это было — поражение или победа?

Я позволю себе некоторую параллель: конечно, демонстрация нескольких человек в Москве на Красной площади в августе 68-го не изменила ситуацию: войска не были выведены, наше правительство не захотело нас услышать (да мы вовсе и не надеялись на результативность нашей акции). Но я никогда не чувствовала себя побежденной; наоборот, именно в зале суда, а не тогда, на Красной площади, у меня появилось ощущение победы.

Русский поэт Борис Пастернак сказал: «...пораженья от победы ты сам не должен отличать...»

Давно уже я думаю: и для личности, и, тем более, для страны иногда полезнее потерпеть поражение, чем победить. Оставлю эту мысль без доказательств и без примеров.

Признаюсь честно: и в 68-м году я уже не очень-то верила в реальность придуманного вами «социализма с человеческим лицом». Меня тогда вдохновляла не эта идея, а сам процесс — процесс ду-

ховного возрождения целой страны. Оккупация не остановила этот процесс, а перевела его в другое измерение.

А что было бы, если бы события происходили иначе: если бы оккупационные войска не были введены или же, благодаря нашей демонстрации, были поспешно убраны?

Хотя и то, и другое – полный бред, конечно же. И все-таки, что было бы, если бы?..

Ответить на такой вопрос, наверное, принципиально невозможно: как известно, история не знает сослагательного наклонения. Тем более, я не могу ответить на поставленный вопрос, не зная в деталях ваших реалий к 68-му году, не представляя себе реалий и тенденций истории стран Западной Европы, соседствующих с вами. Была ли какая-нибудь связь и взаимозависимость между тем, что происходило у вас, и, скажем, в Польше или же во Франции?

Хочется знать, как вы сами отвечали бы на поставленный вопрос.

В самом общем виде я сказала бы следующее:

На исторической сцене выступали бы иные действующие лица. Вероятно, еще долгие годы главной персоной оставался бы г-н Л. Свобода. Партийное руководство представлял бы г-н А. Дубчек, а на подходе был бы г-н З. Млынарж¹³, ну и тому подобная кадровая чехарда. (Не забудем, что на конец августа был запланирован съезд КПЧ – на котором, вероятно, было бы предложено существенное реформирование коммунистической партии Чехословакии и, может быть, была бы пересмотрена ее роль в обществе). Т. е., вероятно, происходило бы то, что у нас происходило при М. Горбачеве – так называемая «перестройка», «либерализация».

Может быть, это сопоставление и содержит ответ на вопрос: «возможен ли социализм с человеческим лицом?» Я отвечала бы так – с человеческим – вряд ли, можно сказать – с человекообразным. И, кроме того, как показывает наш опыт (а его, я думаю, можно считать продолжением вашего, исключая братскую помощь), это сооружение не может оставаться долговечным.

Тем не менее, дух свободы постепенно внедрялся бы в общество, в общественные и государственные институты. Правда, у нас в пе-

¹³ Кстати сказать, его книга «Холодом веет от Кремля» меня очень разочаровала: я увидела в ней тот же комсомольский дух, каким сама была заражена с детства и к которому у меня выработалась идиосинкразия.

риод горбачевской либерализации это происходило слишком замедленно, не соответствуя человеческому нетерпению. Не берусь угадать, как это происходило бы у вас. Во всяком случае, когда старший брат освободил вас от своей навязчивой опеки, демократические реформы пошли у вас гораздо успешнее, чем в других странах бывшего социалистического лагеря, и вы уже не возвращались к идее «социализма с человеческим лицом», а сразу взялись за создание нормального демократического государства и общества.

Боюсь, как бы выраженная здесь моя точка зрения не была воспринята читателем, как апология, оправдание оккупации — разумеется, я так не думала и не думаю. Хочу лишь подчеркнуть, что исторические события по своим последствиям далеко не однозначны.

При этом должна оставаться однозначной их моральная оценка — и, категорически осудив оккупацию в 1968-м году, я остаюсь на этой же позиции и сегодня.

*25 апреля 1998 г.
Лариса Богораз, Москва*

Семидесятые – восьмидесятые

ОБ АЛЬМАНАХЕ «ПАМЯТЬ»

Самым замечательным временем в моей жизни мне кажется период с лета 1975 по лето 1980 года. Это было время интенсивной работы, когда я чувствовала, что занимаюсь настоящей работой. Дело не в том, что я понимала ее полезность и важность, и не в ее ощутимых результатах – которые все-таки были, а в ощущении интенсивного труда. Теперь я знаю, что это и есть счастье. Это была работа над сборником исторических материалов, сборником, которому мы дали, может быть, несколько претенциозное название «Память».

Началось все так: После высылки из страны Александра Исаевича Солженицына несколько человек – и я в том числе – написали заявление, требуя раскрыть архивы ЧК-НКВД-КГБ. Понятно, каким образом это наше заявление связано с именем Солженицына, с его высылкой. Его работа «Архипелаг ГУЛАГ» незадолго до этого появилась в Самиздате и вызвала гнев и, буквально, бешенство КГБ. А.И. был схвачен дома, его увезли в Лефортово, предъявили ему обвинение по ст.64 – «измена родине» (предусматривающей санкции вплоть до высшей меры), тут же лишили гражданства, насильно посадили в самолет и вывезли из страны за границу. К этому времени А.И. был уже очень известным писателем, очень чтимым интеллигенцией. «Архипелаг ГУЛАГ» – не просто книга, пусть бы и хорошо написанная, а историческое исследование, основанное, главным образом, на свидетельствах современников и на личном опыте самого автора. Какова бы ни была позиция автора, но читатели получили неопровержимое, документированное обвинительное заключение, да, действительно, обвинительный акт против советского режима. На его основании можно было бы передать дело в международный трибунал – если бы нашлись в мире силы, которые такой трибунал

захотели бы создать. За книгой КГБ буквально начал охоту с трагическими эпизодами.

Итак, высылка Солженицына, по расчетам КГБ должна была навсегда задушить интерес общества к собственной истории, лишить его и этого права — знать и анализировать свое прошлое, запереть дверь в прошлое на замок, а ключ забросить за три моря. Так должна была довершиться манкуртизация народа.

Вот почему наш протест против высылки и обвинения Солженицына включал и требование раскрыть архивы.

Разумеется, никакого ответа на наше заявление не последовало.

В феврале 1975 года по делу «о нарушении правил административного надзора» арестовали Анатолия Марченко. Он объявил голодовку протеста. Через месяц его судили. Суд этот был фальшивый с начала до конца. Обвинение основывалось на очевидных лжесвидетельствах. И хотя приговор был относительно мягкий (4 года ссылки), я была возмущена до такой степени, что не знала, как и выразить свое возмущение. В состоянии крайней раздраженности неприкрытой, беззастенчивой ложью я села и написала личное свое заявление, адресованное Андропову.

Вначале это была всего лишь декларация; я еще не знала, как ее реализовать, но была действительно готова это сделать, если бы придумала, как. И вот, как-то летом, ко мне зашел незнакомый мне молодой человек с румянцем во всю щеку и, сославшись на знакомство с Наташей Горбаневской, сказал:

— Лариса Иосифовна, вот вы написали Андропову, что намерены сами собирать и публиковать материалы о репрессиях, о тайных страницах нашей истории. Вы действительно хотите этим заняться?

— Да, конечно, насколько мне это удастся.

— Я и мои друзья готовы заниматься этим делом вместе с вами.

Молодого человека звали Сергей Дедюлин. Вскоре я познакомилась и с его друзьями — Арсением Рогинским, Борисом Равдиным,левой Лурье, Димой Зубаревым, Алексеем Коротчаевым и еще несколькими. К этой компании присоединился мой старший сын Саня Даниэль. Молодые люди были Санины ровесники. Мы собрались — не помню уже, где в первый раз, договорились, что будем собирать материал в сборник — типа исторического альманаха. А как его публиковать? У молодежи это уже было продумано. Собирать и

составлять дома — в Москве и Ленинграде (ребята почти все были ленинградцы), а публиковать за границей.

Попросили уезжавшую в эмиграцию Наташу Горбаневскую быть нашим представителем за рубежом.

С самых первых наших встреч я поняла, что их намерения гораздо серьезнее и глубже моих, а я в этом деле могу выполнять лишь черновую, подсобную роль. Не могу сказать, чтобы это совсем не задевало моего самолюбия. Но я должна была внутренне примириться со своей скромной ролью в работе над сборником — и без особого насилия над собой примирилась с этим. Меня радовало уже то, что какая-то доля моего участия в работе над сборником тоже есть. Я была полезна тем, что у меня был очень широкий круг знакомых, людей, которые мне доверяли, рассказывали мне свои истории (а я их записывала, не всегда тут же со слов, иногда — выслушав, записывала потом по памяти, читала авторам — перепроверяла. Именно так была записана история украинской женщины, героиня ее была в Чуне моей соседкой. Таким же образом записано дело «детей врагов народа», мне рассказал об этом деле его участник — физик Михаил Левин. Потом, прочитав записанный мною текст, он подтвердил, что я изложила все правильно).

Иногда люди мне передавали свои мемуары.

Но главная — собственно научная — работа состояла в комментировании текстов, этим занималась не я, а мои коллеги-историки.

Я разве что принимала участие в редактировании и самих текстов, и комментариев. Ребята были тактичны и никто никогда не дал мне почувствовать второстепенность моей роли.

Мотором, сердцем всего этого дела был Сеня Рогинский. Работать с ним было и очень интересно, и — для меня — чрезвычайно поучительно. Я, надеюсь, кое-чему научилась у него — так принято говорить о своих научных шефах. Но ведь Сеня и есть настоящий профессионал, ученый-историк, к тому же первоклассный организатор научного коллектива, каким стала редколлегия «Памяти».

Удивительное было ощущение — сколько свидетельств, сколько документов рассеяно повсюду вокруг нас — как будто мы ищем воду, ходя по пустыне над водоносным слоем: где жезлом ударишь в землю — оттуда бьет фонтан таящейся под почвой воды. Не знаю, часто ли приходилось историкам сталкиваться с таким обилием исторического материала — при отсутствии, затоптанности самой истории.

Нам не приходилось хвататься за все, что плыло в руки; наоборот, трудно было отбирать из этой массы материала. Мы могли себе позволить даже заказывать статьи, которые хотели бы включить в очередной выпуск «Памяти». Так было со статьей Ю.Гастева о деле «нищих сибаритов»; со статьей Вени Иофе о «колокольчиках» — о деле ленинградской молодежной организации «Колокол». Иногда, в поисках материала, надо было ездить в «командировку». Так, я ездила в Калугу к писателю Георгию Георгиевичу Демидову. Помню его комнату — главным предметом мебелировки которой была пишущая машинка.

Еще я ездила в Кемеровскую область, где в одной деревне жили собранные туда со всей страны толстовцы — и из-под Москвы, и с Украины — «мальованцы». Это были люди, совершенно не похожие на тех, каких я знала. Все — разные. Общее было то, что их избы отличались спартанской простотой быта: как правило, самодельный, сбитый из досок стол, железные койки, покрытые серым солдатским или деревенским лоскутным одеялом. Они все жили сельскохозяйственным трудом, как говорится, плодами рук своих. И в каждой такой простой избе — портрет Л.Н. Толстого, радиоприемник, пишущая машинка. Почти все они отсидели свое, кто во время войны (за отказ брать в руки оружие; многих толстовцев тогда и расстреляли), а кто — еще и до войны, в период коллективизации, когда их принуждали организовывать колхоз. Это толстовцев-то! Они и не возражали, но настаивали на одном: чтобы председателя избирать самим и чтобы их не разбавляли посторонними толстовцам людьми. В конце концов им разрешили выбирать своего председателя и свое правление — и каждого вновь избранного арестовывали, а потом и следующего, и следующего.

Когда я увидела, что почти каждая семья имеет мемуары или еще какую-то письменную работу (у некоторых это были философские размышления) и стала уговаривать передать свои рукописи нам — для публикации, то получила такой ответ:

— Мы свои материалы передали уже в музей Л.Н. Толстого.

— Но вы же понимаете, что это все равно что в могилу, никто их никогда не увидит, не прочтает.

— А может, могила и есть лучшее место для хранения наших материалов.

— Но почему?

— Потому что в мире и так много зла и ненависти. И если то, что мы пишем — а мы ведь пишем только правду, — люди прочитают, они станут еще сильнее ненавидеть эту власть. Так что зло и ненависть в мире увеличатся. А кроме того — мы сами выбрали свою судьбу, но наши дети не выбирали. Их начнут преследовать...

Еще я спросила, считает ли опыт толстовства удачным. Он отвечал:

— Об этом трудно судить. Ведь он был насильственно прерван. Наверное, не все было правильным. Наверное, ошибкой была попытка жить коммунами. Если бы наш опыт развивался естественно, ошибки были бы учтены и исправлены.

В том же селе ко мне подошла женщина, фамилия ее Литвинова. Она спросила, не знаю ли я писателя, который написал бы о жестокое обращение с лошадьми. Вот о собаках написана очень хорошая книга «Белый Бим, черное ухо». Надо бы и о лошадях написать.

Везде, куда я приезжала, — и у толстовцев, и к Демидову, — меня принимали с доверием. Мое имя было этим людям известно из западных радиопередач. Перед толстовцами я и сейчас чувствую свою вину: я пообещала им, что о своей поездке я пока не буду ничего публиковать. Я искренне намерена была выполнить свое обещание, но когда приехала в Москву, Марк Поповский (он мне дал адрес этой толстовской деревни и назвал несколько имен — к кому обратиться) стал меня расспрашивать о поездке и сказал:

— А вы запишите свой рассказ, ведь потом забудется.

Я записала, дала ему, взяв с него слово, что он не будет публиковать, пока я не разрешу. Но, насколько мне известно, он сразу же опубликовал мою запись. И еще одна моя вина: я пообещала Литвиновой написать ей и прислать огородные семена — но потеряла их адрес и обещание не выполнила.

Поездка в Кемеровскую область мне была, что называется, по пути: ведь я часто ездила из Чуны в Москву и обратно. Надо сказать, что эти поездки осложнялись и разнообразились еще и необходимостью конспирации — ведь я была, конечно, под наблюдением и боялась подвести людей, с которыми общалась. Поэтому, например, билет в Чуню я брала до Москвы, а в Новосибирске делала остановку, старалась потеряться в вокзальной толпе. Кажется, мне это удавалось.

И все-таки удивительно, что при таком интенсивном и широком общении, какого требовал сбор материала, долгое время эту работу

удавалось скрывать. Впрочем, я думаю, что КГБ стремился не столько обнаружить и пресечь единичный контакт, сколько «накрыть» редакцию и сам сборник в процессе работы.

Поэтому особенно конспиративно происходила сама работа над формированием и редактированием очередных сборников «Памяти».

Мое участие в этой работе, конечно, могло «засветить» всех остальных. Но мои коллеги не отстраняли меня от дела, видимо, понимая, насколько мое участие важно для меня самой. Только в это время мне особенно важно было не «маячить».

Как-то, весной 1976 или 77-го года, я приехала из Чуны, оставив Пашу с Анатолием – специально, чтобы принять участие в подготовке очередного (наверное, 2-го или 3-го) выпуска «Памяти». Толя обычно неодобрительно относился к моим занятиям; впрочем, только в том случае, когда дело касалось домашних забот – шитья или каких-нибудь подобных работ по дому. Но когда речь шла о работе над «Памятью», он обеспечивал мне полную свободу: «Конечно, поезжай и оставайся в Москве столько, сколько будет нужно. За Пашу не беспокойся – мы с ним не пропадем». В тот раз было решено работать в Ленинграде, чтобы не возить собранные бумаги туда-сюда. Сеня меня встретил и отвез в пустую квартиру своего друга. Это была даже не квартира, а что-то вроде маленькой мансарды, мастерской художника. Впрочем, хозяин мастерской был не художник, а фотограф, куда-то уехавший в это время. Отдельное жильё с отдельным ходом (редкость в Ленинграде). Меня оставили там одну, велели никуда не выходить и с осторожностью спускать воду в уборной (чтобы соседние жильцы не обратили внимания, что в пустом помещении кто-то есть). Ребята приносили мне еду – обычно это были консервы – курица с овощами, я разогревала их на плитке здесь же, в комнате, а ночью меня выводили погулять – если не ошибаюсь, по набережной Мойки и ближним улочкам. Несколько дней я прожила на этой конспиративной квартире, в основном сидя над машинописными страницами сборника.

Что это было? Игра? Или конспирация на самом деле? Наверное, все-таки немножечко игра, придававшая особый привкус остроты нашей вполне будничной, прозаической работе. Я думаю, что КГБ мог бы, приложив некоторые усилия, раскрыть всю нашу редакцию. И все же выходил выпуск за выпуском, по одному в год.

До 1981 года, до ареста Рогинского, вышло 5 выпусков, частично был подготовлен 6-й. Арест Сени нельзя считать нашим провалом. Просто к 81 году, видимо, было решено положить конец всякой независимой активности, в чем бы она ни проявлялась. Общество там и сям вырывалось из-под тотального контроля, переставало быть послушно-управляемым, т. е., начала меняться сама его природа.

ПИСЬМО НАТАЛЬЕ И ЮЛИЮ КИМАМ

Дорогая Туся!

Вряд ли ты помнишь те несколько недель, которые мы прожили одной семьей в 1975 г. в Тарусе. В общем-то, несмотря на драматизм ситуации, это было счастливое время. Во всяком случае, я его таким припоминаю: милые мне, красивые, веселые люди рядом со мной — твоя мама, Ира, и ты. Дорогие мне и любимые Толя, Паша.

В этой нашей общей семье был большой возрастной разброс: тебе и Паше что-то вокруг двух лет, мне, наистаршей — 46. Остальные родственники располагались в этом диапазоне возрастов. По-моему, вы, дети, и не различали тогда, кто из нас есть кто: кто мама, кто бабушка, где чья мама, и уж тем более, кто чей папа: папа Толя, папа Юлик. Дети, конечно, тоже общие.

Даже оказался общий день рождения — твой и папы Толи. На этот двойной праздник приехал еще один папа — папа Юлик. Мы этот день знатно отмечали, потом прикидывали, как в марте будем праздновать Пашин день рождения.

Вот такая у нас образовалась первобытная семейка эпохи матриархата. Тон в ней задавала Ира. Ни специальной воспитательной строгости к тебе, собственной дочери. Ни снисходительности, подчеркнутой внимательности к Павлу — ведь не свой же. Я сейчас, ей-Богу, не могу вспомнить ни одного случая, когда Ира повысила бы голос или сорвалась на крик. Обстановка в доме была удивительно спокойная, и, похоже, Ире это не стоило особых усилий. Вы оба, малыши, тоже были спокойны, всегда дружелюбны — ни ссор, ни сцен ревности, дурачились, веселились, и мы с Ирой веселились, глядя на вас. Ира много смеялась, и мне радостно было это видеть.

А время было крутое, как бы и не до веселья. У Толи обострились отношения с милицией, в любой день его могли арестовать «за нарушение правил надзора». Мы с тревогой ожидали этого, пытались заранее продумать, что делать, если это произойдет. Ведь арестуют, увезут в Калужскую ли или в какую-нибудь другую тюрьму, не сказав нам, куда. И куда тогда везти передачи, как пригласить адвоката? Вообще – как и где получить хоть какую-то информацию? Но, конечно, ничего толкового мы придумать не могли, разве что – в случае чего: мне неотступно следовать за Толей, Ира останется с детьми, а дальше – видно будет...

И вот за Толей явился милицейский наряд, его увели, не дав даже собрать вещички. Я отправилась вслед за ними в милицию, благо – недалеко, так что успела увидеть, в какой кабинет его втолкнули. Меня в кабинет, конечно, не впустили и стали вообще выпроваживать из «предбанника» на улицу. Около крыльца я застала Иру с санками, а в санках – двое ребятешек, которые громко хором кричали: «Папа Толя, вернись!» Такого сценария у нас не было. То ли это была детская самодеятельность, то ли вас Ира на ходу подучила – не знаю. Но в тот раз Толю действительно отпустили, как вскоре нам пришлось убедиться, ненадолго: всего месяца на два-три.

После этого эпизода еще некоторое время, до конца марта, мы продолжали жить так же тихо-мирно, стараясь не вспоминать о происшедшем и не задумываться о предстоящем.

Как жаль, что невозможно вернуться в год 75-й, в наш тарусский дом, к нашим милым родным людям, рано и далеко ушедшим от нас Толе и Ире. Хочется надеяться, что сейчас они вдвоем тоже умиротворенно вспоминают ту светлую нашу зиму.

Дорогие Туся и Юлик! Очень трудно оказалось мне сказать о любимой Ирочке то, что как бы наплывает на душу. Простите за мой не слишком удачный сентиментальный очерк.

За прошедший месяц я столько о ней и с ней в уме переговорила, что тем труднее оказалось все это изложить на бумаге. Обнимаю вас обоих.

Поклон и искренние соболезнования от Паши, Сани.

Ваша Лара

Анатолий Марченко, Лариса Богораз

МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ

1. Идет один мимо выгребной ямы, видит — в ней кто-то барахтается по горло в дерьме. Прохожий протягивает ему палку: — Хватайся, вылезай! — Иди себе! Не видишь — я здесь живу.

Современный анекдот

2. Каждый гражданин СССР имеет право на жилище...

Конституция СССР

Мы, супруги Анатолий Марченко и Лариса Богораз, авторы и персонажи настоящего повествования, посвящаем его своим оппонентам — творцам Конституции СССР 1978 года, а также прочим авторским коллективам, создавшим законы, инструкции и постановления, вдохновившие нас на сей труд...

1. Сортирная сюита

Анатолий: Я родился «на квартире». Мои родители, поженившись, сняли себе комнату в частном доме. Я мало помню из того периода своей жизни, т. к. прожил там всего лишь до июня 1941-го года. Помню хорошо своих «хозяев» — старика и старушку: его за чтением толстущей книги в кожаном переплёте и с медными застёжками (мои родители называли эту книгу «библией»), её всё время лежащей в постели на высоченной деревянной кровати и с постоянной белой повязкой на голове.

Старик со старухой жили в большой проходной комнате, из которой были ходы в нашу комнату и во вторую такую же комнату,

в которой жила семья сына хозяев. Ни молодых, ни их дочь я не помню, может потому, что через их половину я не ползал и не ходил?

Зато до сих пор храню в памяти одну ночь – последнюю ночь сына в доме родителей. Проснулся я от чего-то поздно ночью. Мои родители не спали, в комнате горел свет. Они о чём-то шептались тревожно между собой, не замечая, что я не сплю и слежу за ними. Из комнат хозяев слышались приглушённые голоса и женские всхлипывания.

Утром следующего дня я бы ничего и не вспомнил из прошлой ночи, если бы не убитый вид поднявшейся на ноги бабушки-хозяйки и не рев их снохи. Впервые я услышал слово «арест». Забрали сына наших хозяев – дядю Мишу. Уже взрослым я узнал причину его ареста и смерти на Колыме. Работал он машинистом на паровозе и, принимая состав для отправки на Запад, вслух высказался в том смысле, что, мол, Гитлеру не зерно с салом нужно было бы отправлять, а снаряды из пушек. Товарищи донесли и – срок. Через полгода, с началом войны, его снова таскают в лагере на следствие: откуда знал, что будет война? Довесок.

В июне 41-го мой отец ушёл на фронт. А нам с матерью за это дали комнату в коммунальной квартире. Дом был деревянный и двухэтажный. В двух его подъездах было восемь квартир – по четыре в каждом. Каждая квартира состояла из трёх отдельных комнат. Вот и жили в каждой комнате по семье. Ни одна семья не имела там отдельной квартиры. Самая большая комната была в этом доме не более 16 метров. Нас-то жило там вначале только двое: я да мать. Потом, правда, стало четверо – когда отец в сорок шестом вернулся с войны и у нас родился Борис. Но на такой же площади жили и семьи побольше нашей, по семь и более человек.

Нередко на этих 15-16 метрах проживали и две семьи: женился старший сын или выходила замуж старшая дочь, и старики с младшими теснились, давая жизненное пространство молодожёнам. И как всегда в таких случаях очень скоро эта комната пополнялась новым поколением с писком, рёвом, пелёнками, горшками. Частенько это кончалось маленьким гробиком. Вот средняя семья, соседи, которых я хорошо помню и по сей день всех до единого. Супруги дядя Витя и тётя Нюра Акимовы. Он вернулся с войны по окончании её. Их старшие дети – Валя и Юрий – уже сами работали в паровозном депо слесарями, Галя была моей ровесницей, Люба года

на два младше, самый же младший — Толик, был годовик моему брату Борису — послевоенный выпуск.

Первой у Акимовых умерла Галя — от туберкулёза. За ней умерла от того же туберкулёза и тётя Нюра, потом дядя Витя. Из оставшихся им болели старшая Валя и Люба. В нашем доме было несколько семей с туберкулезниками. И я сейчас поражаюсь тому, как все мы не заразились тогда этой болезнью. Ведь в доме не было никаких удобств: ни канализации, ни водопровода, ни даже отдельных кухонь. На весь дом был рядом колодец с ручным воротом, и все ходили к нему за питьевой водой. В каждой квартире на три семьи маленькая кухонька, где была печь и кое-как помещались три кухонных столика. А во дворе стоял большой дощатый сарай — общий сортир. Дом наш был ведомственным и принадлежал железной дороге. Никого из начальства в нём не жилось. Жили здесь мазутники: паровозники да вагонники.

Обычная картина из того моего детства: отец возвратился из поездки, он грязный и пропитан мазутом так, что тот с него чуть не капает. У матери всегда на плите для него горячая вода. Переодевается он тут же. Если у нас находится кто из гостей или из родственников, то чтоб отец мог переодеться, мать берёт с постели одеяло и, держа его в руках, как экран, перед отцом, приказывает присутствующим отвернуться на время переодевания. Это если в комнате есть посторонняя женщина. Когда гость мужчина, то эта процедура считается излишней. Так было во всех семьях. Нам-то ещё ничего, у нас один отец работал. А каково было, например, тем же Акимовым, если у них было три мазутника и к тому же ещё и разного пола!

Мои родители мечтали о своём собственном домике, чтобы уйти из этого муравейника. Но на покупку дома нужны были деньги, а скопить их на отцовском заработке они не могли: его едва хватало на питание протянуть от полочки до полочки. Безвыходность положения заставила отца решиться самому построить себе дом. Он выписал бесплатно от железной дороги шлаку на дом и купил для этого цемент. Так что основной материал ему обошелся сравнительно дёшево. Рабочие руки были свои: сам он мог быть и бетонщиком, и землекопом, плотником и столяром. В помощниках у него были мы с матерью: мне к тому времени уже было пятнадцать лет, и копать землю, таскать и мешать раствор, пилить напару с отцом я уже мог. Так,

году в 54-ом мы и «въехали» в собственный дом. Был он размером пять метров на восемь: кухня и комната. И всё это на четверых!

Мне пришлось пожить в родительском доме всего лишь с год небольшим. Мне не было ещё восемнадцати, как я соблазнился на самостоятельную жизнь и по комсомольской путёвке от Барабинского райкома комсомола поехал на строительство Новосибирской ГЭС. С этой поры жильём мне было место в общежитиях, гостиницах, Домах колхозника. А попав потом в ГУЛАГ, я познал прелесть «отдельного спального места» на голых нарах, а иногда и просто на цементном полу у параша. До ГУЛАГа и в перерывах между посадками туда я имел несколько раз вольное жилище. Им были углы, а то и просто кровать в одной комнате вместе с хозяевами. В лучшем случае (Александров, 67-68-ой годы) стенами, отделявшими меня от хозяев, служили занавески, с воздушной звукоизоляцией.

На четвёртом десятке жизни я обзавёлся семьёй. Обзавестись семьёй у нас пока что, (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!) не проблема. Как говорится, было б желание. Но как быть с жильём! Так же отделяться от хозяев занавеской? Но ведь будут маленькие дети с писком, горшками, пелёнками: ни один частник не пустит с таким приданым к себе на жительство. Это я уже знал наверняка. Где же выход? На квартиру или хотя бы на комнату от государства я не мог рассчитывать: настоящие советские люди и те стоят за этим в очередях по десять лет! А мне куда уж!

Но я считаю себя очень везучим в жизни. Мне действительно везёт во всё. Повезло и на этот раз с жильём. Нашёл я себе работу в Тарусском районе Калужской области в Петрищевском лесничестве. Меня приняли лесорубом в бригаду на лесозаготовку. Посёлок лесничества находился около деревни Петришево, и в нём было несколько древних бараков, в которых жили рабочие лесничества. В одном из них освободилась квартира: кто-то из рабочих уволился и уезжал в другое место жить. Вот мне и предложили занять эту освободившуюся квартиру. Рад я был этому несказанно. Ещё бы! Заиметь казённую квартиру ни с того, ни с сего!

Осматривали мы это свалившееся нам как с неба жильё вдвоём с Ларисой. И никакие изъяны этого трущобного жилья не могли испортить нам нашего счастливого настроения. Что же всё-таки за жильё отвалило мне родное государство?

Как я уже сказал, бараки здесь были древними: трухлявые стены, прогнившие полы, провалившиеся крыши. Электропроводка была настолько обветшалой, что районная электросеть уже несколько раз отключала посёлок от электричества из-за опасности возникновения пожара. Но всякий раз лесничий ехал в Тарусу, с кем-то там выпивал, как-то замасливал-умасливал кого надо, и в посёлке снова горел свет.

При осмотре квартиры мы с Ларисой подсчитали, что для того, чтоб хоть как-то привести это жильё в пригодное состояние, нам нужно затратить и денег, и дней десять хорошо поработать. Квартира состояла, как и у всех тут, из двух помещений: комнаты и кухни. Но обе эти половинки были большого размера: каждая метров по 12. Вообще-то это была одна большая комната, в которой посредине стояла большая печь. Тонкая перегородочка из досок от стены до печки и разделяла её пополам. Перегородка эта не была сплошной до потолка, так что сверху комнаты не были изолированы. Стёкол в окнах почти нет, пол весь в дырах, и ночью мы обнаружили, что здесь полно крыс. Они бегают по комнатам, шныряя из дырки в дырку. А ещё они всю ночь беспрестанно бегали в стенах. Дело в том, что барак построен из толстого круглого леса. Снаружи он не оштукатурен, а изнутри обит сухой штукатуркой. Вот крысы и бегают по кругляку под штукатуркой. Когда я через несколько дней починил пол и заделал все крысиные лазы, то получил на улице выговор от соседки, живущей за стенкой: «Чего это ваши крысы к нам прибежали?». Прописаны они что ли по квартирам здесь?

Особенно пришлось повозиться мне в кухне с запечным углом. Там прежние жильцы зимой держали не то поросёнка, не то телёнка, и он был превращён в хлев. Потом я узнал, что здесь так заведено, что маленьких телят и поросят держат зимой в квартире.

А теперь о сортире. Где бы я ни жил, а сортирная проблема везде остра. Всякий раз, когда я менял место жительства на воле, мне приходилось заново решать эту проблему. Вот и здесь тоже. В первый же день я обошёл весь посёлок и нашёл только одну будочку около конторы лесничества. Спросил у одного из аборигенов: «Как вы умудряетесь обходиться без сортиров?» — «Так лес ведь рядом!» — было мне ответом. «Ну, а зимой как, неужели всё тот же лес?» Оказывается, нет. Бегают в сарай к скотине. Лес... Летом ладно уж, может, и привык бы. Но зимой! У меня скотины не будет.

И начал я ремонт именно с сортира. В первый же день вырыл яму под него за сараем, привёз отходов с пилорамы и скоро стал обладателем единственного на весь посёлок индивидуального сортира. Когда я начал его строить, на меня все местные смотрели как на чокнутого. Но как только сортир был готов, то все ребяташки стали бегать именно сюда. И не жалко мне было! Пусть себе пользуются в удовольствие. Но оказалось, что местные дети понятия не имеют о сортире. Они никогда его не видели, никто им про это не рассказывал и по телевизору тоже не показывали. Поэтому они входили в новенькую будочку и делали свои дела прямо на пол. Приходилось чистить его ежедневно. Хоть вешай на сортир висячий замок!

И всё же эти петрищевские ребяташки удачливей меня: я впервые увидел унитаз в Москве, когда освободился из Мордовии в 1966 году, то есть в 28 лет. Тогда же и там же я впервые увидел газовую плиту.

У нас в Барабинске в школах сортиры были – сараи в школьном дворе. Они делились на три отделения: для «мальчиков», «для девочек» и «для учителей». Но мужчины-учителя, как и сам директор В.П. Гладышев, бегали почему-то не в учительский сортир, а в «для мальчиков».

Вырастут петрищевские ребяташки до школы, и тогда ещё неизвестно какой будет сортир: типа моего барабинского или современный. В Тарусе не все школы ещё имеют современную канализацию. Это в 40 км от родины космонавтики – Калуги, и в 150 км от Москвы.

Именно в Петрищеве я вспомнил рассказ одного деревенского мужика в Барабинске. Бывший фронтовик рассказывал, как они, освободив на Кубани одну из станиц, на следующий день увидели странную картину. В каждом дворе хозяева ломали, матерясь и проклиная фашистов, маленькие будочки. Оказывается, что немцы, заняв станицу и обнаружив, что здесь нет сортиров, в приказном порядке заставили всех сооружать их во дворах. Уже за одно это фашизм здесь был приговорён самой историей на смерть.

В Тарусе, в городке райцентра, меня в приказном порядке, по приговору суда городские власти тоже заставляли... нет, не строить сортир во дворе, а, наоборот, сломать его, уничтожить санузел.

Но об этом стоит рассказать подробно и по порядку.

Купили мы в Тарусе полдома. Одна комнатка и кухонька. Правда, под нашей половиной большой подвал. Он-то и соблазнил меня купить именно эту половину. С отцом вдвоём мы углубили подвал, пробили большое окно и получили солидное помещение – целых 40 метров. Решили мы здесь сделать кухню-столовую, кочегарку и санузел. Сами копали выгребную яму, рыли траншею, прокладывали трубы, устанавливали унитаз и ванну с раковинами.

Плохо, как и везде у нас, оказалось дело с водой. Вдоль моего забора по улице Луначарского проходит нитка городского водопровода. И я обратился в горисполком с заявлением, в котором просил разрешения подсоединить мой дом к городскому водоснабжению. Мне отказали «ввиду нехватки воды для города». Да я и не ждал другого ответа: все мне говорили, что не разрешат. Правда, несколько домов на моей улице имели водопровод: два-три начальника да один сосед за взятку.

Ну, что ж, буду, как и большинство тарусян, таскать воду древним способом, на себе, на гостях, на жене. Я ещё никогда не жил удобно, поэтому и не избалован. Но мне-то еще куда ни шло: мужик более или менее здоровый. А вот какво таскать воду пенсионерам или инвалидам! Таруса стоит не на ровном месте, а на холмах да оврагах. Дороги не асфальтированы, и в распутицу весной и осенью пойти за водой рискованно и опасно. Мне, например, за водой нужно идти в гору и довольно круто, а с водой возвращаться под гору. Под ногами скользко так, что люди и без груза-то ходят с трудом и с опаской. Не раз я падал и порожняком, и с полными ведрами, когда ведра меня обгоняли, и мне приходилось догонять их далеко внизу. Бывало, я так приземлялся, что без отдыха не решался на повторный штурм колонки. И домой не раз приходил вымокшим и вывозившимся в дорожной слякоти.

Я объездил почти всю страну и везде с водой проблема. Таруса от Москвы в 150-ти километрах, Чуна в 5000 км, Карабаново в 120-ти. А положение в них одинаковое, во всех отношениях: с водой, с жильём, с продуктами...

В Тарусе и в Карабанове хоть колонки: добрался, нажал на рычаг и наполняй ёмкости. А в Чуне вот почему-то городские власти предпочитают рыть глубокие, метров по 25 колодцы и снабжать их ручным приводом – древним воротом. Каждое ведро воды дается трудом и потом. Зимой ещё ничего, так как потребность в воде мень-

ше, чем летом, когда вода необходима и на поливку огорода. Выстраивается очередь покрутить ворот. И тянут эту водичку люди домой, иногда очень далеко, кто на чём может: на коромысле, на тележке, на саночках, велосипеде или мотоцикле.

И ведь живём не в пустыне, а на реках, озёрах.

Так что суждено мне в Тарусе таскать на себе воду не только на хозяйственные нужды, но и для сортира. И смирился я с этим. Да и что поделаешь: права не покачаешь, ведь в нашей Конституции пока что не гарантировано гражданам право на пользование водопроводом! Но я был доволен тем, что моя канализация работает безотказно и на приносной воде.

Но очень скоро отравили нам эту радость. Отравили именно те, кто должен бы был приветствовать строительство современных сортиров в городе вместо древних будок: городские власти во главе с самим председателем горисполкома Балыковым.

Сначала явился ко мне инспектор из районного санэпиднадзора.

— Нам поступил сигнал, что вы незаконно построили канализацию. Я должен проверить, осмотреть.

— Что значит — незаконно?

— Без разрешения искокома.

— А кто спрашивает на будку во дворе?

— Я пришёл не спорить, а осмотреть и дать заключение.

Инспектор попросил меня открыть люк ямы и сам всё осмотрел и обстукал арматуриной стены и пол ямы, проверил всё в доме и во дворе.

— Всё сделано правильно и никаких нарушений норм и правил нет. — С этими словами он извинился и ушёл. Я не придал этому визиту никакого значения, считая это обычной проверкой. И был доволен собой, что всё сделал, как надо.

Но недели через две после этого ко мне во двор заявила комиссия из горисполкома. Пришли они в моё отсутствие, когда дома была Лариса с Пашкой. Пришли и, не сказав ни слова, стали расхаживать по участку и всё осматривать. Лариса их увидела в окно, вышла и спросила: — Кто вы такие и почему без спросу хозяев здесь находитесь?

— Это комиссия исполкома, — ответил ей сам Балыков, — вам предписывается в месячный срок ликвидировать канализацию.

На вопрос: «Почему?», Балыков ответил: «Как незаконно построенную». На все остальные её вопросы ответ был один: «Это решение исполкома, и вы обязаны подчиниться».

Уходя, они предупредили, что на днях пришлют почтой письменное извещение об этом решении исполкома.

И точно, скоро мы получили письмо, где мне и предлагалось в месячный срок ликвидировать выгребную яму. Здесь же предупреждали меня, что если я не сделаю этого, то вопрос будет решаться в судебном порядке.

Ломать у меня не поднялась бы рука. Строил сам, своими руками, на свои деньги, строил то, что давно должно быть в каждом доме. И на тебе! Нет уж, пусть сами и ломают, раз им не нравится.

Ровно через месяц опять комиссия в том же составе, и на этот раз я сам дома.

— Почему вы не выполняете решение исполкома? — спрашивает Балыков.

— Вы хоть объясните, почему я должен ломать современный санузел, а вместо него восстановить дворовую будку?

— Это решение исполкома, и вы обязаны подчиниться...

— Простите, — обращаюсь я к Балыкову, — у вас дома какой сортир?

— Это не имеет никакого отношения к вашему вопросу... — А через три дня я получил по почте решение тарусского суда: ликвидировать санузел в месячный срок, а в случае отказа выполнить это постановление суда, всё будет ликвидировано местными властями и за мой счёт.

Что за чушь! Мой дом стоит на бугре между двух оврагов. Справа и слева на их склонах стоят будки-сортиры соседей. Склоны очень круты, и содержимое сортиров растекается по ним и по дну оврагов. Вонь и мухи. Это норма. И я должен, нет, я обязан иметь именно это! И ещё раз была у меня комиссия:

— Почему не подчиняетесь ни исполком, ни суду?

— И не буду, не ждите.

— Лучше ломайте сами. Не то, пришлём сюда из КПЗ бригаду «декабристов» и они так всё сломают, что взвоете. И ещё за ваш счёт. Вам же хуже!

Моя сортирная тяжба с властями в Тарусе кончилась, благодаря вмешательству в мою судьбу более высоких инстанций. По пригово-

ру Калужского суда меня отправили в ссылку на четыре года в Сибирь. А пока я там находился, в Тарусе власти снесли не только мой сортир, но и сам дом. Снесли под предлогом того, что на этом месте власти города решили что-то строить. Вопрос о моём жилье будет решён по возвращении меня из ссылки.

2. Квартирный вопрос

Лариса: За 50 лет моей жизни мне никогда не приходилось жить под открытым небом: спать на скамейке в сквере, подстелив газету, или ютиться в какой-нибудь коробке из-под макарон (правду говоря, информацию о таком способе существования я почерпнула из газетных статей под рубрикой «В мире капитала»). Крыша над головой у меня была всегда – хотя и не было еще зафиксировано в Конституции право на жилище.

Родилась я в Харькове в коммунальной квартире; смутно припоминаю длинный коридор, много дверей, и одна из них – наша. Не знаю, была ли там коммунальная кухня: еду готовили на пороге комнаты на примусе, и от этого однажды случился пожар. Зато лет с трех и до семи я прожила в отдельной трехкомнатной квартире. Отец принадлежал к привилегированной категории советских работников, и ему отвалили положенный кус государственного пирога. Когда же отец получил жилплощадь в бараке воркутинского лагеря, оставшуюся семью – для равновесия – уплотнили, так что я опять, и уже навсегда, оказалась в коммуналке. Нам еще повезло, многие семьи тогда просто выбрасывали на улицу. Помню, в 37-38 годах, идя в школу, я каждое утро видела в подъездах кое-как сваленные узлы, а около них старуху или ребенка: они сторожат барахло, пока дееспособные члены семьи ищут угол, куда бы приткнуться. У нас в квартире к этому времени поселили «чистую» семью, так что на наши коммунальные метры никто не позарился. Еще помню, при мне, считая, что я по малолетству ничего не пойму, моя мать и другая «жена врага народа» вели разговор: есть, мол, в Харькове прокурор такой-то, берет с женщин плату «натурой» за то, чтоб отстоять квартиру...

...В 1950 году, после смерти матери, я осталась владелицей комнаты в 15 квадратных метров – богатая невеста. Пятиэтажный дом с удобствами в центре Харькова, в квартире, кроме меня, всего только

одна семья. Но как раз это приданое оказалось фата-морганой: я выхожу замуж за москвича, а харьковскую жилплощадь обменять на московскую абсолютно невозможно. Муж с матерью имеют комнату в Москве, и я переезжаю к ним.

– Бросать квартиру?! Ты с ума сошла! – дружно запричитали все мои и мамины друзья.

– Но ее с собой не возьмешь ведь, – возражала я.

– Так продать!

– Она же не моя, казенная.

– С луны свалилась! Казенную-то и продать.

Мне нашли «покупателя» – это был очередник с семьей из пяти не то шести человек. Уже больше года они числились первыми в городской очереди на жилье, но будут ждать еще и год, и два, и пять (а освобождающиеся комнаты будут уплывать «по благу»), если самочинно не займут свободную площадь, и тогда она их по праву. «Покупатель» должен был уплатить мне пятьсот рублей (старыми деньгами) только за то, что поставит свои чемоданы у меня в комнате, пока я еще не сдала ключи, и останется в ней ночевать накануне моего отъезда. Я никак не могла решиться на такую сделку, и тогда отец моего друга, сосватавший мне «покупателя» (который, кстати, был его приятелем и сослуживцем), полностью взял на себя посредничество.

– Она еще раздумывает! У тебя же ни гроша за душой. И человека благодетельствуешь. Ты только своевременнопусти его в комнату.

Тем временем конкуренты не дремали. На мои 15 метров метили соседи, вчетвером занимавшие остальные две комнаты в квартире. Раньше это была их квартира, но их – как оставшихся под оккупацией – уплотнили (как нас самих когда-то) нашей семьей. Не знаю, как они относились к немцам в 41-43 годах, а мы для них уж точно были оккупантами, захватчиками. В ожидании моего выселения соседка перестала выходить из дому и никого не впускала в квартиру. Выгнала на всякий случай даже моего мужа, которого отлично знала:

– Таких мужей тут навалом, каждый день новый! – Она правильно чужала опасность с моей стороны.

Во дворе мне на пути то и дело попадалась управдомша:

– Ларочка, как живешь? Муж уже уехал? Соседи не обижают? Ты смотри, комнату им не оставляй, фашистам этим... Так когда ж ты в москвичи запишешься?

Соседи снизу, с четвертого этажа, сказали мне, чтоб я ни в коем случае не сообщала управдомше о дне отъезда: тесно живущая семья из флигеля уже дала ей взятку за мою имеющую освободиться комнату.

В этой борьбе сила была на моей стороне: пока я не выписалась, ключи у меня, а выписаться я должна в день отъезда, которого никто, кроме меня самой, заранее не знает. Если угодно, и право тоже было за мной, то есть за моим протезе: ведь его очередь первая во всем Харькове. Наше дело было правое (если не считать взятки мне ни за что), и мы победили.

Мой отъезд из родного города был похож на финал драмы: вселившийся дядька плакал от счастья настоящими слезами, соседка не ответила мне на прощальное приветствие, а управдомша сказала – тоже со слезами:

– Такой пакости я от тебя, Лара, не ожидала.

Обещанной mzды я не получила, вернее, получила некоторую толику. Сначала мой контрагент присылал в Москву по сто рублей, но после второго или третьего взноса прекратил выплаты. Мало ли трат у новосела!

С 1950-го по 1959-й год (с трехлетним перерывом в середине этого срока) мне, подобно Гаврошу, привелось жить в памятнике. Только наш памятник – дом на Маросейке, архитектурная достопримечательность Москвы – был кучно, густо заселен. Люди в нем жили, как клопы; зато клопы, как цари, были настоящими хозяевами положения. В те годы во всей Москве шла перманентная война между хаотическим, загнанным племенем жильцов и воинственно-организованным клопным племенем. Люди одерживали временные победы днем, клопы побеждали в ночное время. Но в эпоху хрущевского градостроительства они, как римляне в период упадка, утратили витальную силу, не сумев освоить жизненные пространства новостроек. На смену оседлым клопам явились кочевые орды тараканов... 50-е же годы в моих воспоминаниях окрашены в клопный цвет, пахнут клопами, структурно организованы по клопному образцу.

... — Уважаемые гости столицы! Перед вами образец русского зодчества 18-го века — барский особняк, созданный знаменитым архитектором Баженовым. Здание венчает ряд небольших окошек под самой крышей...

Там, под крышей, гнездилась настоящая Воронья слободка. Замысленные Баженовым плавные кривые, выпукло-вогнутые сопряжения внутренних капитальных стен сочетались с самостоятельными засыпными перегородками, заколоченными наглухо дверьми, баррикадами из сундуков, шкафов, образуя в комплексе странные фигуры: секторы, сегменты, ромбы, трапеции и пентаграммы. За каждой переборкой жило по семье. Наша квартира в целом представляла подобие ромба с одной выпуклой стороной и загнутым углом, расщепленного на пять населенных фигур и геометрически неопределимый остаток — кухню и коридор в виде буквы У (с сортиром в хвостике). Стало быть, пять семей; плюс еще две одинокие женщины сами по себе, которые жили в коридоре. Ванной комнаты не было, прихожей тоже — прямо с лестничной площадки вы попадали в кухню, единственное в квартире прямоугольное помещение, но зато без окон и почему-то со сводчатым потолком.

В трапециевидной комнате жило семейство Майзилей: муж — санпросветовский работник, жена — переводчица медицинской литературы со всех европейских языков, и дочь — студентка физфака МГУ. Семья Востоковых — мать-художница и дочь-архивист — занимала большую комнату, где три стены шли нормально, а четвертая делала загогулину. Комната Катковых (молодые супруги-инженеры и их маленький сын) имела очертания пузатеньких песочных часов; выемка у талии этих часов со стороны Ибрагимовых составляла выпуклую прибавку к их треугольной комнате, что было очень кстати, так как на двенадцати квадратных метрах их жило пятеро: муж (носильщик на вокзале), жена и трое детей. Нашей семье из трех (а вскоре четырех) человек досталась комната в виде половины арбузного ломтя — длинная, узкая, с закругленной стеной и о трех углах. Ширина ее метра два, а длина — восемь; свет из крохотного окошка в дальнем конце не доходит до двери у слияния двух длинных стен. Располагаться у нас надо вдоль стен, принимая соответствующую их изгибу форму. Зато при комнате есть кладовка, тоже трехстенная: одна стена метра в два, другая в полтора, а третья — дуга выпуклостью внутрь, к нам. Здесь целых два окна; одно, явное, выходит на улицу,

а другое, заколоченное и, должно быть, забытое, смотрит в недра здания, куда-то в нижние этажи, где квартирует таинственное номерное учреждение. Через это окошко к нам проникает стрекот учрежденческих пишущих машинок. Мы превратили кладовку в жилую комнату: спилили угол у пружинного матраса, втиснули его в треугольник, а внутреннее окно превратили в книжный шкаф. Здесь мы даже принимали гостей, которые в любом числе забирались на «тахту» с ногами, а падать им было некуда — стены со всех сторон. В дневное время кладовка служила балконом для прогуливания нашего младенца, а чтоб у него было в достатке свежего воздуха, мы ставили корыто с упакованным в одеяло ребенком на широкий подоконник (внизу под окном гудела одна из самых оживленных улиц московского центра).

Словом, у нашей семьи была наилучшая жилплощадь во всей квартире, с максимумом удобств. Ни у кого больше не было кладовки. И старик Майзиль мечтал: «При коммунизме нам дадут две комнаты! И Эллочка будет спать в столовой на диване».

Кроме семей, обладающих собственной площадью, в квартире жили две одинокие женщины, не имевшие не только своих комнат, но даже и своих столов на коммунальной кухне: заводская работница Маруся и детский врач Таисия Марковна. Готовят они, примостившись на углу чьего-нибудь стола, а спят в коридоре за шкафами, отгородившись занавесками от прочих жильцов и друг от друга. Маруся раньше была чьей-то домработницей в этой квартире и получила здесь прописку — но не жилплощадь; а как очутилась за занавеской Таисия Марковна, никто не помнит. Ей уже лет пятьдесят, но у нее ни семьи, ни кола, ни двора; она великолепный диагност, самоотверженный врач, в больнице ее очень ценят, но жилья не дают, а выбить, зубами вырвать жилплощадь в райжилотделе — таких способностей у нее нет. В квартире Таисию Марковну считают чудачкой и недолюбливают, хотя она лечит всех наших детишек.

Детей в квартире всего пятеро. Они путаются под ногами на кухне, блуждают по темным кривым коридорам, без стука входят в любую дверь, не признавая ни территориальных границ, ни права семейной собственности. Младшие с гулом пересчитывают головами неожиданные внутриквартирные ступеньки, восседают на горшках возле накрытых столов в комнатах, похожих на пещеры; старшие методом проб и ошибок осваивают гигиену коммунальной уборной.

С теплым чувством вспоминаю я нашу общую кухню в вечернее время. Две полные пожилые женщины величественного вида – Фелиция Лазаревна Майзиль и Наталия Дмитриевна Востокова – хлопчут у своих столов, переговариваясь по-французски или по-немецки. В лингвистическом симпозиуме спешит принять участие татарка Соня Ибрагимова:

– Лара, скажи «ирэм бирбирэм», – подначивает она меня, кидая на горячую сковороду котлеты «из лошадки».

– Лара, не говори, нехороший слово, не говори, – вступается ее муж Володя.

– ...твою мать, я ничего плохой не сказал, чего мужской, чего женский не сказал, – возражает Соня.

Наталия Дмитриевна, дочь царского полковника, воспитанница Смольного, настораживается, как боевой конь при звуке трубы:

– Соня, ты понимаешь значение этих слов?

И она принимается за объяснение. Мы, среднее поколение, слушаем смолянку, раскрыв рты от восторга: такого классического дореволюционного полкового мата не услышишь и в Доме литераторов...

Зажжены все шесть конфорок двух газовых плит, хозяйки поочередно наполняют кастрюли и чайники из единственного в квартире водопроводного крана, в корыте плещется чей-то ребенок, в другом углу взлетает пена от стирки, звучит французская речь вперемешку с татарской, обсуждаются преимущества конины перед камбалой и роман Дудинцева, происходит обмен опытом относительно самостоятельных аборт и сдачи экзаменов по марксизму--ленинизму, возникают ссоры из-за невынесенного помойного ведра и разногласия по поводу «прежней» цены на масло.

Однако в доме-памятнике невозможно просто так жить – стирать пеленки, варить щи, вести с соседями дружественные беседы или собачиться с ними. Параллельно стирке и стирке здесь должно происходить еще что-то романтическое, криволинейное, выпукловогнутое.

По квартире бродило привидение: девушка в белом являлась то в нашей комнате, то у Востоковых; она утихомирилась только после того, как в церкви отслужили молебен за упокой ее души. Тени чужих гусарских предков подзуживали нас с мужем на гусарские забавы: мы устраивали у себя в комнате (благо, длинная, и стены крепостной мощи) стрелковые состязания из духового ружья, а за-

тем перешли к прицельной стрельбе из окна по арбузам на уличном лотке, да и по арбузной очереди – не больно, но обидно. Когда же гусарство пришлось прекратить из-за воспитательного воздействия милиции, тогда на смену гусарам явились иные псевдоматериальные лица: в гости к Николаю Аржаку стал захаживать Абрам Терц.

В 59-м году номерной ящик, занимавший нижние этажи, куда-то перебазировался, дом вместе с жилыми антресолями отдали белорусскому постпредству, а всех жильцов раскассировали по новостройкам. Ибрагимовы получили трехкомнатную квартиру; Майзили, Востоковы и Катковы – по одной комнате в коммуналках (до коммунизма в это время оставалось еще двадцать лет – а, значит, и до столовой с диваном для уже тридцатилетней Элочки); Таисия Марковна получила, наконец, комнату – тоже, конечно, в коммуналке – за несколько лет до этого; Маруся оформила опеку над большой старухой и перешла жить к ней.

Нашей семье дали две смежных комнаты в нижнем этаже новехонького девятиэтажного дома на Ленинском проспекте. Квартира эта трехкомнатная, и в третьей комнате поселили старика-пенсионера с еще более старой матерью. В новом доме с большими окнами, прямоугольными комнатами, с ванной и горячей водой (а лет через семь-восемь появился и телефон), с пустотными панелями и древесно-стружечными дверями – здесь не место было потусторонним девушкам в белом. Возможно, поэтому, а также чувствуя себя как дома среди семейной топонимики (вблизи нас на Ленинский проспект выходят улицы Крупской, Марии Ульяновой, Дмитрия Ульянова, только Александр Ульянов остался почему-то не при месте), к нашей неверующей старушке накануне смерти явилась во сне Надежда Константиновна. Вскоре после матери умер и сосед. В их небольшой комнатке (14 кв. метров) поселился молодой человек, проживший здесь лет восемь – сначала один, потом вдвоем с женой, потом еще с ребенком, потом с двумя. Женится и мой сын, и у него родился ребенок. В квартире стало кучнее, чем на Маросейке: в восьмиметровой кухне – два стола, два холодильника, четыре табуретки, над головами сохнут удвоенные комплекты пеленок-распашонок. В ванной комнате, где едва повернешься, – две детских ванночки, два бака с грязным бельем, две вешалки с полотенцами, две полки с туалетными принадлежностями, и снова очередь, чтобы умыться...

За эти восемь лет молодой сосед Юра Лебедев окончил институт, отслужил два года в армии, стал научным сотрудником в биологическом институте. Марина, его жена, тоже окончила институт и работала биохимиком. Обоим приходилось заниматься на кухне. Подрос их Андрюша, пошел в первый класс; на занятия он шел невыспавшимся: братик Алеша ночью спал беспокойно. Алеша часто хворал, и тогда в нашей квартире появлялись временные жильцы — мамы Юры и Марины. Малыш встал на ноги и научился прямохождению на тахте, потому что в их комнатенке уж совсем стало не повернуться.

Лебедевы чуть не все восемь лет стояли в очереди на получение квартиры. Очередь двигалась медленно, им обещали жилье году в 78-м; они терпеливо ждали. Но однажды вечером я увидела Маринину маму заплаканной: райжилотдел сообщил очередникам, что в связи с проведением Олимпиады в Москве сокращается жилищное строительство и выделение квартир отодвигается на год-два. А они-то Алешку завели уже!

Ну, поплакала мама, и снова стали ждать. И вдруг неожиданное счастье — институт получает несколько квартир в ведомственном доме, и одну из них дают Юре. Снова Маринина мама плакала на кухне: «Нет, я не верю, этого не может быть, чтобы моя дочь жила в отдельной квартире!».

Однако, осенью 77-го Лебедевы переселились.

Ныне в этой комнатке живет третье поколение соседей: на этот раз молодая одинокая девушка. Года четыре до этого она мыкалась по частным квартирам, имела «койку» в рабочем общежитии, и вот на ее счастье общежитие пошло на снос. Наташа — как я когда-то — стала обладательницей собственной жилплощади в те же 14 квадратных метров и вот уже два года не может нарадоваться своему углу, горячей воде, ванной и прочим благам. Она радуется, а я — увывы! — методом индукции вычисляю ожидающее ее светлое будущее: выйдет замуж, родит ребенка, в уютной комнатке появится детская кроватка, коридор снова перегородит коляска, потом санки, потом лыжи; а потом, много лет спустя, как высший дар небес, РАЙжилотдел даст ей квартиру. И ее дети, наконец, «будут спать в столовой на диване».

Граждане страны Желтого Дьявола, жители Гарлема! Парижские интеллектуалы, гамбургские докеры! Братья по разуму! Живали

ль вы в коммуналках – по комнате на семью? Ах, не живали? Как же вы тогда надеетесь понять загадочную русскую душу?

Эта душа – нараспашку: каждый видит, что варится у соседа в кастрюле, какие трусы носит его жена (после стирки они висят на веревке в кухне), сколько раз ходит в сортир его теща и какие парни запираются в ванной с его дочкой. Здесь, в коммуналке, осваиваются принципы мирного сосуществования и методы холодной войны.

Мне-то с коммуналками повезло. В квартире на Маросейке правилом были добрососедские отношения дружбы и взаимопомощи, а колорит ее обогащал душу и умножал разнообразные познания – как в кулинарии, так и в лингвистике. Но и при других, более прохладных отношениях, дошедших, например, в Харькове до территориального конфликта, – никогда мы не подсыпали друг другу синьку в бульон; не пристегивали висячими замками крышки к своим кастрюлям; не травили соседских кошек; не вымеряли линейкой соседские кухонные столы и не требовали через суд спилить лишние сантиметры. А многие мои друзья жили на осадном положении, выдвали и бирюзовых цыплят в своем супе, и кухонные драки, привлекались к «товарищескому» суду и бывали ответчиками по соседским доносам; вступали во внутриквартирные коалиции и бывали вероломно обмануты и преданы вчерашними союзниками...

Разве не чувствуется в государственном и международном масштабе школа, выучка и закалка советского коммунального бытия?

3. Тихая пристань

Полтора года назад, осенью 78-го года, мы снова, в который уже раз, оказались без крова и должны были искать себе жилье.

Сочувствующий читатель, вероятно, тут же представит себе жалобную картинку: «Вечер был, сверкали звезды, на дворе мороз трещал» и так далее. Немолодые муж и жена с пятилетним ребенком тащатся по улицам города, с тоской глядя на чужие освещенные окна. Им придется ночевать на скамейке в городском парке (на вокзале; под мостом; и т. п.).

Неверно! Дело обстоит не так трагично и гораздо менее вразумительно, чем вы вообразили. В Москве, на Ленинском проспекте, в благоустроенном доме имеется жилплощадь, владелицей которой является Лариса Богораз («в дальнейшем именуемая «квартиросъем-

щик» – то есть, стало быть, жилплощадь эта государственная и принадлежит Ларисе «на правах найма»). Там горит свет, из кранов течет горячая вода, кипит на плите чайник, и теплые постели ждут хозяев.

Но не всех.

Лариса Богораз и ее сын могут лечь спать в свои постели. Более того, если Ларисе вздумается оставить на ночлег кого-нибудь из своих московских знакомых, никто ее не осудит, разве только ханжи. Но если на жилплощади Ларисы, именуемой «квартиросъемщик», проведет ночь ее собственный законный супруг Анатолий Марченко – их обоих осудит милиция. Осудит советский закон («по которому – как известно – радость приходит»).

Потому что Анатолий Марченко не прописан в Москве. А не прописан потому, что милиция отказывает ему в прописке. Милиция же отказывает на основании «Положения о паспортах», а что написано в этом «Положении», нам неизвестно, потому что оно частично секретное; зато известно, что за нарушение «Положения», то есть, проживание без прописки хотя бы и у жены, полагается лагерный срок...

«Проживание» в обратном порядке, то есть жены у мужа, в данном случае тоже неосуществимо – хотя бы потому, что у мужа как раз нет этой самой жилплощади.

Так что, хоть и есть у нас две комнаты на Ленинском проспекте, жить нашей семье все-таки негде.

До ссылки Анатолия в Сибирь у нас был собственный дом в Тарусе на Оке, там мы и жили. За время ссылки – три с половиной года – местные власти снесли этот дом, чтобы возвести на его месте комбинат бытового обслуживания жителей: ну там, должно быть, ремонт часов и башмаков, какие-нибудь фотосъемки на фоне натуральных зарослей сирени, общественную уборную с пипифаксом, может быть... Вместо своего дома мы увидели развороченные камни фундамента, переломанные кусты сирени и жасмина; там, где была калитка, уцелела посаженная нами рябинка. Больно было на это смотреть¹⁴.

Даже камерный грабитель, отняв у вас новехонький свитер и ботинки на коже, кинет вам какой-нибудь драный бушлат «на сменку»:

¹⁴ Эти развалины до сих пор украшают Тарусу наподобие местного Колизея. Надо думать, горожане нашли им соответствующее применение, поскольку общественный ватерклозет все еще не оборудован (Прим. авт.).

так у них принято. Тарусский горсовет предложил нам компенсацию «за причиненный ущерб» – две с половиной тысячи рублей (это что-то между четвертью и третью реальной стоимости снесенного дома); или же горсовет предоставлял Анатолию казенную однокомнатную квартиру вне очереди, но за это надо было отказаться от денежной компенсации. Вместо трех комнат в своем доме – одна в казенном, без водопровода, без канализации; ни сада, ни огорода. Знакомый принцип: на тебе лагерный бушлат взамен добротной своей одежды и катись, еще спасибо скажи, что голым не оставили! И все же...

Лариса: Дают – бери! Хоть будет крыша над головой. И прописать в Тарусе должны без осложнений.

Анатолий: Ей-Богу, возьмем лучше «сухим пайком» – деньгами! За две тысячи мы хоть собачью будку купим, развалюху последнюю, все лучше, чем этот их коммунальный склеп «с удобствами по среднерайонным нормам» – на 24 семьи три очка в дворовой будке. Руки свои, не казенные; любую хибару надстроим, перестроим, благоустроим, будем жить по-человечески. Казенную ж квартиру не расширишь, не уллучишь, не переделаешь, ты в ней не хозяин.

Лариса: Зато прописка обеспечена...

Анатолий: Ага, прописка; зато и выписка также. Если завтра меня посадят – квартиру отберут, и все. Ни денег, ни жилья. А если я работы в Тарусе не найду? Свой дом – в одном месте продали, в другом купили; а квартир для меня по городам и весям не припасено...

Взяли мы денежную компенсацию, и Анатолий отправился искать подходящий дом по ближним к Московской областям (в Московской, как и в самой Москве, нельзя – не пропишут). В Тарусе с нашими деньгами нечего было и рассчитывать купить, стало быть, надо было искать, где дома подешевле. Но и под Рязанью, и за Рязанью, и в Калужской области, и в Тверской – везде за дом просили немислимую для нас цену: десять тысяч, двенадцать и более того; самые захудалые стоили не менее пяти тысяч. Анатолий пешком добирался до дальних деревень – там дома были недорогие, но чтоб их купить, требовалось вступить в колхоз. Месяц поисков не дал результатов, оставалось еще проехать по Ярославскому направлению...

Базой Анатолий служило московское жилье: здесь жили Лариса с сыном. Но была эта база вроде партизанского лагеря на оккупированной территории, пробираться на нее и обратно следовало тайком, чтобы не быть замеченным милиционером (который, на беду, живет

в том же подъезде). Анатолий приходил раз в три — в четыре дня, всегда поздно вечером, а уходил на рассвете, затемно, и то не в дверь, а в окно. И все же, несмотря на эти предосторожности, в первую же неделю милиционер подстерег его и составил акт «о нарушении паспортных правил».

...Авторы испытывают крайнюю неуверенность: сумеют ли они, не обладая талантом Кафки, описать абсурдную ситуацию, которая, к тому же, имеет место в действительности? Поверит ли им читатель, не искушенный в тонкостях советского законодательства и не столкнувшийся с ним ни разу на практике?...

Хотя Анатолий, как не прописанный в Москве гражданин, не имеет права жить у своей жены, практически он мог бы там находиться почти постоянно, не нарушая закона: в течение трех суток отметка у паспортистки не требуется. Прожил в Москве, или где тебе надо, 72 часа — садись в электричку и уезжай «за пределы Московской области», возвращайся обратным рейсом — и отсчитывай новые 72 часа. Нелепо, зато согласно с законом.

Анатолий, уезжавший из Москвы всякий раз не на пару часов, а на двое-трое суток, закон не нарушил, однако схлопотал от милиции предупреждение. Мало соблюсти закон, надо еще иметь возможность доказать свою законопослушность; поэтому мы сочли за благо, ничего не нарушив, все же лезть к себе домой через окно, обмениваться условными стуками, темнить в разговорах со знакомыми по телефону и т. п.¹⁵

Еще два таких предупреждения — и суд, и новый срок. Мы осознали, что нужно обзавестись документированными алиби.

Анатолий: Нужда заставит пироги есть. В Козлове и в Калуге, в Рязани и в Конакове — везде я первым делом шел в гостиницу, хоть ночевать на вокзале мне привычнее. Нет общего номера — согласен на койку в красном уголке, на худой конец сойдет и номер-люкс за три с полтиной. Совсем нет мест — пересплю в вестибюле в кресле,

¹⁵ Для полноты картины следует добавить, что несколько миллионов провинциалов — «гостей столицы», приезжающих в Москву за продуктами и живущих у знакомых по неделе, а то и по месяцу, даже не догадываются, что преступают закон. Да и милиции недосуг требовать, чтобы каждый приезжий отметился у паспортистки — это ж никаких кадров не хватит! Другое дело, когда появляется сверхзадача вот этого гражданина уличить, привлечь, подвергнуть, — дышло закона всегда под рукой (Прим. авт.).

как мистер Твистер; только возьмите с меня плату за ночлег и, главное, выдайте квитанцию с гостиничным штампом.

Собрав таким манером порядочный букет квиточков, я однажды приехал в Москву раньше обычного и открыто явился к жене. Наутро, только мы проснулись, звонок в дверь: техник-смотритель явилась ни свет, ни заря справиться о неполадках, не продувает ли где, не подтекает ли... Смотри-ка, прежняя наука не забыта: вперед дворник или управдом, а за ними следом и мундиры голубые. И точно – минут через пять после заботливой дамы следующее явление: милиционер, да сразу и с понятыми! Протокол о нарушении заранее, поди, составил... Вот он достает из папки заготовленный бланк протокола – тут я ему и сую под нос свои квитанции. Пока я ему на словах толковал, мол, в Москву приезжаю изредка, мол, путешествуя по живописной средней полосе, там-сям и живу, и даже, извините, провожу ночи – он доброжелательно-насмешливо поддакивал: «Да-да, но кто это может удостоверить?» А тут бумажки! Конечно, приказано уличить, но кто ж знал, что у этого типа – у меня то есть – алиби! Бедняга-милиционер принялся сопоставлять даты на квитанциях, подсчитывать часы прибытия-убытия, понятые заметно поскучнели. Так и ушли ни с чем.

Вскоре после этого происшествия, счастливо для меня закончившегося, мне выпала настоящая удача: повезло набрести на эту нашу тихую пристань, на городок Карабаново. Как будто и городок, и дом, который я там присмотрел, таились до этого и ждали меня, как белый гриб прячется от всех грибников, пока ты его случайно не заметишь. Выйдя из автобуса в Карабанове, я сразу почувствовал: вот это место для нас, здесь мы будем жить. И надо же, дом оказался как раз такой, какой нам нужен: развалюха, зато вдвое дешевле, чем такие же дома в других местах. Лучше не придумаешь.

Поиски окончены. Удача!

Лариса: Пока еще пол-удачи. А прописка?

Вообще-то с пропиской все должно быть в порядке. После ссылки Анатолию выдали в Сибири паспорт нового образца, без всяких отметок о судимости. При таком паспорте справку об освобождении можно спрятать подальше, никто ее не потребует. Мало ли, жил человек в Сибири, может, даже доброволец-бамовец; паспорт в руках – значит, не лагерник. Тем более не политически зловерный элемент: прицельно информированное и начитанное в советской

прессе районное начальство, должно быть, представляет себе современного «диссидента» в облике дьявола, у которого с раздвоенного языка срывается что ни слово, то антисоветская пропаганда, и в обыкновенном, как все, мужике не опознать ему этого самого агента ЦРУ и наемника империализма. Если только его не предупредят заранее...

Чтобы не предупредили, мы опять же приняли меры предосторожности. Во-первых, никому из друзей и даже родных не сказали, что и где нашли: один скажет другому, другой третьему, и пойдет звон и в прослушиваемых квартирах, и по телефону. Даже между собой мы не говорили на эту тему вслух, и название будущего местожительства Анатолий написал Ларисе на бумажке. (Вообще, надо сказать, значительная часть семейных взаимоотношений осуществляется в наше время и в нашей среде, как у героев романа Чернышевского, «путем взаимной переписки», только, в отличие от Веры Павловны и ее супругов, мы эту переписку не храним, а спешим уничтожить поскорее и потщательнее).

Во-вторых, покупать дом и прописываться мы отправлялись так, как вряд ли и бандиты отправляются на «дело». На рассвете вылезли из квартиры через окно, причем не вместе, а порознь, перелезли через ограду сада, чтобы выйти на проспект в неожиданном месте; кружным путем доехали до вокзала — и только в электричке, убедившись, что за нами нет слежки, вздохнули спокойно.

Возможно, эти предосторожности были излишними, но, как говорится, лучше перебдить, чем недобдить. Прописка сошла благополучно, Анатолий Марченко привлек к себе внимание начальника милиции не более, чем любой другой приезжий¹⁶.

Слава Богу! В паспорте Анатолия стоит штамп карабановской прописки, покупка дома оформлена. Мы — законные жители Карабанова.

Анатолий: То есть, это я законный житель, моя семья — жена и сын — будет жить здесь на птичьих правах: они-то прописаны в Москве! Оставить московскую жилплощадь и поселиться в Караба-

¹⁶ Но когда через два месяца в Карабанове попытался прописаться наш друг Сергей Некипелов, ни в чем еще в то время не замеченный, начальник милиции выгнал его из кабинета:

— У кого прописывается? У Марченко?! Вон отсюда!!! Чтоб ноги вашей не было в Карабанове! (Прим. авт.).

нове по всем правилам? А вдруг и этот дом снесут, как снесли та-русский, – тогда мы все трое окажемся на улице. Да и купленный дом – пока еще не дом, так, место прописки. Пусть московские ком-наты сохранятся, хоть пока мы здесь перестроим жилье.

Но пока можно перевести дух и оглядеться.

Когда заходит речь о Карабанове, мы забываем всякий скепсис и впадаем в лирический тон – до того пришелся нам по душе этот городок. И сам-то он по себе хорош – сохранился старый, столетней давности, центр, типичный для фабричного текстильного поселка средней России, с кирпичными, добротной кладки, «казармами», с торговыми рядами, со старой дамбой, обсаженной ивами, и новый центр (типовые четырех-пятиэтажки) украшен зеленью, да и выстро-ен в стороне от старого, не врезается в него. А наш домишко и вовсе на отшибе, за оврагом, за прудом, среди других таких же деревенс-ких изб – впрочем, многие из них перестроены, обновлены, их ско-рее назовешь по-современному коттеджами, чем избами, а иные по-косились, вросли в землю и выглядят еще более убого, чем наш.

Улицы на нашей окраине широкие, деревенские, с лавочками у калиток, с густым кружевом садов перед каждым домом; и даже – впервые такое видим – на каждой улице врыт столб с колоколом – должно быть, на пожар звонить (на всю окраину ни одного телефо-на). Не только что машин, мотоциклов – осенью, зимой и людей-то не увидишь неделями: старушки сидят у своих печек, народ помоло-же пройдет на фабрику, с фабрики – и тоже в дом греться. Зато вес-ной, летом все копошатся на своих огородах, и то и дело кто-нибудь кликает тебя от колонки или через забор: «ЗдОрОво, сОсед!».

И не леса здесь, а перелески; и не река протекает – речушка лежит петлями в низине, и название ей по стати – Серая. Говорят, даром, что мелка, а рыбы в ней хватало; да вот теперь Александров спускает в нее неочищенные промышленные воды, так и пескаря не поймашь, и вонь от нее на полкилометра... Но, говорят, строят-ся очистные сооружения, авось, и построятся, пока мы живы. Зато грибов не только в лесу – за домом, на улице мимоходом наберешь на жареве. Да и до леса 10 минут ходу.

Наша автобусная остановка называется «У колодца».

И КГБ в Карабанове вовсе нет. И хотя до ближайшего, алек-сандровского, всего 20 минут езды автобусом – но все-таки приятен сам факт...

Идилия, Аркадия... Идиоты, забыли, где живем! Как будто нам Карабаново — уж и не советский город.

4. * * *

Анатолий: Мы выбирали не жильё, а место, и чтобы цена была нам по карману. Это не дом вообще-то, а традиционная русская изба, в каких жили наши предки веками. Холодные сенцы из тонкий жердей, через них вход в «жилую» часть. А она состоит всего из одной комнаты. Посреди избы стоит большая русская печь и собою делит комнату на две части. Всего площади в этой избе вместе с печкой 30 м². Снаружи «дом» имеет размер 5х6 м. Три маленьких оконца с фасада и одно боковое дают мало дневного света и в избе стоит постоянно полумрак. До меня здесь жили две семьи: родители, ещё не такие старые, и две взрослые дочери. Одна из дочерей была уже замужем и поэтому здесь же жил зять и двое маленьких детей.

«У нас тут одни постели стояли», — рассказывала мне молодая хозяйка.

Мне в этой связи припомнился анекдот времён Хрущёва. Когда он был в Америке в конце 50-х годов и встречался с американским президентом Эйзенхауэром, то попросил того показать, как и в каких жилищных условиях живут американские трудящиеся. Зашли они к одному из американцев в дом и тот стал показывать Хрущёву свое жилище: это вот прихожая, это гостиная, это кухня, это столовая, это мой рабочий кабинет, это библиотека, это спальня жены, это спальня дочери, это сына... Это ванна, это уборная...

Когда Хрущёв обошёл и осмотрел весь дом, Эйзенхауэр спрашивает: «Ну, а у ваших рабочих, г-н Хрущёв, какие жилищные условия?». Хрущёв не стал врать: «У нас всё так же, только без перегородок!»

Купленный мной «дом» был именно таким — «без перегородок». Строили его сразу после войны и не из нового леса, а перевезли из деревни сруб и собрали. Крышу крыли самодельной деревянной дранкой. Сейчас она уже прогнила, и чтоб дом не заливало водой, сверху поверх дранки накрыли рубероидом. Фундамента нет, и «дом» стоит на четырёх кирпичных столбиках по углам.

По бокам вместо фундамента обшивка из гнилых досок, присыпанных опилками. Когда-то такой фундамент спасал жильё от

зимней стужи, но сейчас всё это прогнило: зимой снег наматает в подполье, а в щели между досками пола дует холодом. Печь здорово дымит, коптит и потому в доме витает копоть и сажа, хотя тепла даёт эта печь много. Окна тоже все прогнили и их нельзя теперь открывать – рамы рассыпаются и вываливаются стёкла. К тому же полностью сгнили три венца сруба, что увеличивает дыры в подполе и «тягу» оттуда в жильё.

Единственно, чем отличается это жильё от жилья моего далёкого предка-язычника, это тем, что изба не курная, нет волокового окна, а над ней возвышается печная труба, да вот ещё не лучина светит по ночам мне, а всё же «лампочка Ильича». За водой ходи на улицу к ближайшей колонки (когда там вода бывает!), газом, даже привозным, пользоваться не разрешают по противопожарным нормам – плитку можно поставить в единственном месте, но это место вплотную к печке, да и высота жилья тоже не позволяет.

И опять сортир. К нам приехал на недельку отдохнуть из Москвы внук Ларисы. Он на полгода всего-то старше нашего Павла. И когда у этого шестилетнего москвича мы спросили: «Миша, тебе где больше нравится: в Москве или в Карабанове?», он, немного подумав, сказал: «Вообще-то в Карабанове. Вот только уборная в Москве лучше. А это такое место, которое человеку нужно каждый день». Он был у нас зимой и его легко понять.

Здесь в Карабанове «принято» делать сортир не во дворе, а под одной крышей с жилым помещением: в сарае, в холодных сенях. У этого одно преимущество перед дворовым сортиром: не нужно выскакивать на улицу по нужде, а всего лишь пробежать несколько шагов под той же крышей. Но летом этот плюс становится большим минусом: вонь проникает в дом. Особенно когда ветер дует со стороны сортира в дом. К нам, например, в такое время можно пройти через сени лишь зажав нос. У меня ещё хуже обстоит дело с сортиром потому ещё, что у него нет выгребной ямы. Просто сортир стоит чуть выше фундамента-завалинки, и его содержимое растекается под домом и по сараю. Это пропитывает весь дом вонью сортира. Зимой я этого не замечал, зато с наступлением весны и летом наслаждался этим безмерно...

Я покупал этот полуразвалившийся дом с расчётом, что на его месте и вместо него построю себе то, что хочу. Мне уже перевалило за сорок лет. Моему сыну пошёл седьмой год. Паспортная система,

ограничения на право проживать в Москве и другие препятствия, существующие для советских людей — самых свободных на всём белом свете — не дают нам жить вместе. Мы не можем из-за этих ограничений «воссоединиться» в собственном Отечестве. У Ларисы очень старые и почти беспомощные родители. Они уже нуждаются в постоянном уходе. Взять их к себе не может ни Лариса в Москву, потому что живут они в разных концах столицы и закон не позволяет им съехаться и жить вместе, ни я, потому что взять их в Карабаново мне некуда. Да и как они будут у меня жить? Без воды, без газа, без... тьфу, чёрт, опять этот сортир! А ванна или баня? Они уже не в состоянии ходить в такую даль ради того, чтоб помыться. Да и баня городская здесь работает не каждый день, и автобус туда не ходит.

А мне переселиться в Москву к семье грехи не дают: судим и являюсь политически не преданным советской власти.

Вот мы и решили на общем семейном совете съехаться в Карабанове, плюнув на Москву. В один год думал я управиться с основными работами: разобрать старый дом, завезти строительный материал и начать строить с весны новый. Требования у нас не ахти какие: одну комнату метров в 12 нам с Ларисой, такую же её родителям, Пашка на будущий год пойдёт в школу, и ему тоже нужна отдельная комната такого ж размера. Ну, и должна быть одна маленькая комната резервная: приедут гости или потребуется отделить больного, а то и моих родителей тоже придётся через год-другой забрать к себе. Итак, наши нужды определились примерно в 48 м². жилых, плюс кухня-столовая и, конечно, ванная и тёплый современный сортир с канализацией.

Одним словом, получалось, что мы отстраиваем себе дом такого же размера, как в Тарусе.

Зимой я начал завозить строительный материал.

Дом начинают строить с фундамента. А что требуется для фундамента? Гравий да цемент. Цемента не оказалось в торгующих организациях ни в Карабанове, ни в Александрове. Поехал я в Загорск¹⁷, но и там его не нашлось. Оказывается, завоз цемента только весной, в апреле-мае. Ладно, буду караулить. А пока начну возить гравий: на дом нужно его не одну, с десяток машин. В районе единственный гравийный карьер в селе Брыковы Горы. Поехал туда, а мне говорят: «Частников не обслуживаем! Отпускаем гравий только организациям!».

¹⁷ Ныне г. Сергиев-Посад Московской области (Прим. ред.).

А присутствовавшие тут же шофера, работающие на вывозке гравия из карьера, смеются надо мной: «Вот чудак! Кто ж тебе для дома даст гравий?». И тут же предлагают: «Да мы тебя завалим этим гравием. Плати по червонцу за машину и всё».

«А документы будут?» – спрашиваю я.

«Какие ещё документы?»

«Ну, квитанция, что гравий не ворованный, а законно выписанный?».

«Не-е...»

Так-то вот. Плати по десять рублей за машину, и тебе в два-три дня навозят. Только мне-то таким образом приобретать что-либо не стоит. Сразу прибегут всякие «органы» и потребуют предъявить эти самые бумажки.

А я намеревался построить дом на всём законном.

Карьер подчинился Александровскому ДРСУ. Подал я заявление начальнику, а тот то же самое мне в ответ, что и в карьере: частных не обслуживаем!

Я ему под конец спора: ежегодно в центральных газетах публикуют постановления ЦК КПСС и Совета Министров о содействии местных властей индивидуальному строительству, о помощи и транспортом, и стройматериалами... А он мне с безразличием: «У нас такого нет».

Пришлось писать жалобу в областной центр. Писал я уже не в надежде добиться продажи мне гравия, а просто зубоскальства ради. Но вдруг из Владимира мне приходит бумажка-копия: «Ввиде исключения продать гр-ну Марченко гравий в количестве, необходимом для строительства дома...». Именно ввиде исключения. Это единственное и наверняка последнее исключение, которым я воспользовался от советской власти.

Выписал я у того же начальника себе 25 куб. м. гравия и – в карьер. Там, когда я предъявил разрешение на получение гравия, снова все были поражены. Оно и понятно. Ведь никто из частных не выписывает гравий, а просто покупает его у шоферов. Оно и выгодней: куб стоит по государственной цене 6 рублей, то есть маленький самосвал вместе с доставкой будет стоить 25 рублей. А шофера его «толкают» налево по десятке машину. А тут ещё и то, что частнику, даже если он захочет приобрести всё законно, просто отказывают и тем самым само государство поощряет воровство и жульничество.

Но вот я в карьере. Начальник карьера мне: «Пожалуйста, заберите свои 25 кубов».

Но машин для этого нет. Мне снова предлагают услуги шофера. На это я иду, ибо за левые перевозки у нас пока что не судят и никаких квитанций на это не нужно иметь.

Но шофера отказываются возить мне «мой» гравий. Они предлагают «свой», рейсовый. Вместо того, чтоб везти гравий куда следует, его везут «налево» для продажи. Так что я забрал почти весь свой гравий, не использовав законных накладных.

Слава Богу, с гравием я разделался довольно удачно.

Из всего строительного материала, что требовался мне, я законно смог купить только шифер и кирпич. Но кирпич оказался доступен частнику только потому, что он немислимо низкого качества. Этот кирпич разваливается в руках, и его приходилось грузить в машину осторожно, как легко бьющуюся посуду. И, всё равно, при погрузке-выгрузке да дорогой от тряски треть, если не половина, кирпича превращалась в битё.

Особенно плохо пришлось мне с добыванием леса и пиломатериалов. В Александрове и в Карабанове существуют лесничества и леспромхозы. На их складах есть и круглый строевой лес, и всякий пиломатериал. Но ничего нельзя выписать. Единственное, что мне удалось приобрести, это отходы от пиломатериалов — дровяной горбыль. Всё начальство на мои просьбы объяснить мне, почему я ничего не могу купить у них, отвечало мне одно и тоже: частников мы не обслуживаем.

Это общее правило. И неизвестно, чем руководствуется при этом государство. А результат один: процветает взяточничество и воровство. Люди строят, и им строительный материал нужен. И они его достают доступными, но незаконными способами. И при этом, как правило, частнику всё обходится намного дешевле. Это оттого, что «продавец» в таком случае продаёт не своё, а ворованное, и ценой не дорожит. Так что в выигрыше от этого и «продавец», и покупатель. Проигрывает государство и здорово. Я уж не говорю о морали и нравственной атмосфере в стране.

Я уже давно убедился, что в нашей стране создан строй, при котором каждого человека делают преступником. Тебе дано много

разных «прав», но на деле ты это право можешь осуществить и реализовать, только нарушая уголовный кодекс.

Вот тому самое, как мне кажется, яркое доказательство. Начав завозить материал, я обратился в исполком за разрешением на строительство. Я надеялся, что встречу там и понимание и помощь – хотя бы в приобретении технической документации. Разговор у меня состоялся с главным архитектором Александровского района. Он мне заявил, что мне никто не разрешит строить дом.

– Это почему же? – опешил я.

– Износ вашего дома составляет всего лишь 42 процента, и в нём ещё жить да жить можно!

– А сколько процентов износа нужно, чтоб вы разрешили построить новый дом?

– Не менее 65-ти.

– Это что же, ждать, пока меня вместе с семьёй завалит гнилушками или когда пообмороживаемся все зимой?

– Мы вам можем разрешить сделать капитальный ремонт.

И пошло всё вокруг этого. Ни в какую мне не разрешают построить новый дом. И чего только не было мне наговорено в отделе главного архитектора! Оказывается имеется масса причин и предлогов не давать населению строить дома. – «Закон о частном домовладении» говорит, что всякий человек может строить дом не более 60-ти м². И нигде в законе этом не говорится о минимуме! – твержу я им.

– Ага! – в ответ мне, – вы построите себе три или четыре комнаты да ещё все отдельные, а потом будете их сдавать квартирантам!

– Ну, и что же в этом плохого, даже если так и будет (хотя у меня и в мыслях этого не было!)? Закон ведь не запрещает сдавать в наём жильё. Плати налог и сдавай.

– С нас спрашивают и контролируют!

Надо же! В местной газете то и дело читаешь объявления: такой-то завод или техникум снимет комнаты в частных домах для своих рабочих или для студентов. А тебя по одному только подозрению, что ты вдруг займешь возможность сдать комнату, лишают права иметь жильё.

– Ага! Построите новый дом, а потом захотите его продать!

– А в этом что недозволенного? Ведь закон и это разрешает! Насильно я свой дом никому не навяжу и жить в нём не заставлю.

Какой идиотизм: в стране настоящий кризис с жильём, и власти вместо того, чтоб поощрять людей строить дома, делают всё дозволенное и даже недозволенное, чтоб препятствовать этому. Я объездил весь Союз и нигде, ни в каком его конце не встречал случая, чтоб приезшему человеку государство предложило жильё. Люди мечутся в поисках чего угодно: квартиры, комнаты или просто угла.

— Ладно, — говорю я, смиряясь, — продам я завтра свою развалюху и обращаюсь в горисполком с просьбой дать мне квартиру. Дадите?

— Нет, квартир у нас нет. Много строим, но всё равно не хватает.

— Так почему ж не даёте самому мне строить для себя?

«Не даёт ответа».

«И посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Мы ещё хотим, чтоб нас понимали иностранцы! Да я вот живу в этой стране пятый десяток, здесь родился, крестился и вырос, а, на вот тебе, она каждый раз выкинет что-нибудь такое, на что и ответа не дашь ни сам себе, ни кто другой не ответит ничего вразумительного. У меня от всего этого сложилось такое впечатление о нашем устройстве: где-то ежедневно заседает и усиленно работает огромная и авторитетная организация, и думает она только об одном, какую бы пакость или несуразицу придумать для населения, как бы и что бы ещё сделать, чтобы жизнь его стала ещё бессмысленней и немислимей?

И с каждым годом больше убеждаюсь: если мы ещё и живём и дышим, то как раз вопреки желанию власти.

* * *

...Прежде, чем приступить к строительству дома, я решил провести к нему водопровод. Водопроводная трасса проходит в двух метрах от моей калитки — ещё ближе, чем в Тарусе. Узнал, что разрешения на водопровод даёт горкомхоз. Обратился туда, и мне велели заказать в проектной конторе в Александрове документацию на водопровод и на проект канализации. Побывал там. Через полтора месяца документация была готова и согласована, как и положено, с санэпидемстанцией. С папкой этих документов заявился я к начальнику горкомхоза. Полтора месяца назад он меня направлял в про-

ектную контору, а теперь, не смутясь и не задумываясь, отказывает мне в разрешении на водопровод и на канализацию.

Устно он мне говорит: «Воды не хватает в городе, и мы никому не разрешаем подсоединяться к городскому водопроводу. Пользуйтесь, как все жители, колонкой!»

– Но ведь от колонки я могу брать воды неограниченное количество! Почему не разрешите в дом провести? Разница только в том и будет, что в облегчении.

– Только в исключительных случаях разрешает исполком провести водопровод в дом. Вот если бы вы были инвалидом войны или ветераном труда, тогда бы вам провели...

– Или был бы я секретарём горкома партии...

Молчит.

Но на заявлении он мне пишет резолюцию: «Отказать из-за отсутствия в горкомхозе чугунных труб».

– А если я достану вам трубы чугунные, то вы мне разрешите?

– У нас не хватает рабочих, чтоб проводить воду в частные дома...

– А если я найду и рабочих?

– Я ж вам сказал, если б вы были инвалид войны...

– Так на кой чёрт вы меня посылали в проектную контору заказывать проект? Зачем я потратил полтора месяца и уплатил 20 рублей?

– А что я могу поделывать, раз у нас нет труб?

– А если я достану трубы?

– У нас не хватает рабочих...

Сказка про белого бычка.

Написал я об этом жалобу во Владимир в областной отдел коммунального хозяйства. И меня скоро вызвали на заседание горисполкома...

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ

На требования международной общественности освободить узников совести советские официальные лица отвечали: в СССР нет узников совести, нет политических заключенных, те люди, которых вы называете, — это обыкновенные уголовные преступники. Так го-

ворил и Михаил Горбачев в первые месяцы своего правления. Однако, через несколько месяцев после объявления «перестройки», власть все же стала понимать, что нужны реальные действия, свидетельствующие о начале изменения политики государства. И такие действия начались. В сентябре 1986 года из женской политической зоны были освобождены политзаключенные женщины, из следственной тюрьмы Лефортово освободили нескольких человек, на которых уже были заведены «дела», по которым шло следствие (Новодворская и другие).

Но в лагерях и тюрьмах тогда все еще находилось — по данным, опубликованным в «Списке политзаключенных в СССР» Крониды Любарского от 30 октября 1986 года, 745 политзаключенных.

Одним из первых почувствовал дыхание перемен Анатолий Марченко, содержащийся в это время в Чистопольской тюрьме. 4 августа 1986 г. он объявил бессрочную голодовку. Ее требованием было прекращение издевательств над политзаключенными в СССР и их освобождение.

И тогда Софья Васильевна Калистратова и я отправили в Президиум Верховного Совета СССР заявление с просьбой амнистировать всех политических заключенных.

Мы предложили подписать это заявление Александру Подрабинеку, но он отказался. Он сказал, что готов не просить, а требовать, и не амнистии, а освобождения политзаключенных. Но в дальнейшей истории этого заявления он принял самое деятельное участие.

Мы с Софьей Васильевной решили на этот раз не собирать подписи под нашим заявлением, а отправили его с нашими двумя подписями. Естественно, ответа на это не было. Но мы все-таки хотели привлечь внимание наших сограждан к этой проблеме, побудить их принять участие в ее решении, напомнить об ответственности каждого за состояние дел в государстве. А для этого обратиться к наиболее известным и уважаемым обществом людям. Мы при участии Саши Подрабинека и советуясь со многими своими друзьями составили список таких людей. Всем этим людям мы послали текст нашей просьбы о помиловании, а в сопроводительном письме (было общее сопроводительное письмо) было сказано, что вот мы посылаем вам наш текст, мы не просим подписать его, но просим вас что-нибудь сделать, может быть, вы найдете какой-то другой, свой путь,

чтобы добиться амнистии политзаключенных. То, что вы можете, что вы захотите.

К некоторым людям из нашего списка мы обратились индивидуально – например, к некоторым общественным деятелям Украины, Грузии и т. д. И таких индивидуальных обращений собралось тоже немало, всего же в списке оказалось приблизительно 90 адресатов – писателей, ученых, художников и других популярных в обществе людей. В разных справочниках («Справочнике Союза писателей СССР» и т. п.) отыскивали их домашние или служебные адреса и, вложив в конверты обращение вместе с нашим заявлением, с помощью друзей разнесли письма по московским адресам опускали их в квартирные почтовые ящики, а некоторым адресатам удалось передать наши послания в собственные руки – через общих знакомых. По почте мы отправляли послания иногородним адресатам.

Через несколько дней в моей квартире раздался звонок. Я открыла дверь и увидела совершенно незнакомого мне человека. Он представился. Это был Юрий Норштейн – известнейший художник-мультипликатор, создатель мультфильмов «Сказка сказок», «Ежик в тумане». Он сказал приблизительно следующее: «Я не знаю, как писать заявления в государственные инстанции, но очень хочу участвовать в освобождении людей, о которых Вы с Калистратовой говорите. Поэтому позвольте мне подписать ваше заявление и отправить его в Президиум Верховного Совета и от своего имени». Конечно, обрадованная таким первым откликом, я сказала: «Конечно, конечно».

Еще через день-два мне по телефону позвонил Олег Волков, один из старейших русских писателей. Разговор он начал очень сердито, даже агрессивно: «В ответ на Ваше обращение я послал Вам большое письмо – на 12 страницах. Такое же письмо отправил и Калистратовой. Вы хоть сообщили бы мне о его получении». – «Дорогой Олег Васильевич! К сожалению, Вашего письма ни я, ни Софья Васильевна не получили. Возможно, почта его не доставила». – «Как же так?! Я сам отнес его на почту!» – он продолжал сердиться. Не помню, кажется, он сказал, что копии он не оставил.

Следующим откликом была небольшая записка от писательницы Любви Кабо; записку мне принесла моя и ее знакомая. Кабо пишет, что я всей душой присоединяюсь к вашей просьбе, но вы меня простите, Лариса Иосифовна, я не могу ни подписать вашего

обращения, ни написать от себя что-нибудь — сейчас готовится к публикации моя книга. Я ждала этого 10 лет, и боюсь все разрушить. Может быть я не права... Это был ответ, человеческий ответ. Эта записка меня растрогала и тогда, и трогает меня и теперь.

Других откликов не было. Ни одного! Впрочем, ведь мы и не просили ставить нас в известность о действиях, какие предпринял или намерен предпринять наш адресат.

Год назад я написала Горбачеву, что хочу понять, кто и какие вел переговоры на Западе по поводу Толи Марченко. Но вы помните, Горбачев сказал, что тогда он не знал, что есть политзаключенные. Я уверена, что он знал — к нему обращались не только мы. Я хотела высказать эту тему. И что состояние общества характеризуют вот эти ответы, которые мы получили, или не получили. Характеристика состояния общества. Записка Любви Кабо, я думаю, наиболее представительная. Но и наше решение тогда — тоже характеристика состояния общества. Мое решение было связано вот с чем. Толя объявил голодовку за освобождение всех политзаключенных, это было лето 86 года, — и что же, он в лагере пытается что-то сделать, а я на воле ничего не буду делать? Это сыграло роль, конечно. А также то, что появился Горбачев, на которого все-таки была некоторая надежда.

Когда выдвигался Горбачев в президенты, я была на предвыборном собрании. Я задала какой-то вопрос, Горбачев жутко разозлился и сказал: вы не понимаете! Я-то как раз понимаю и даже не осуждаю его. Я что-то спросила насчет политзаключенных. Я понимаю, что он не решался на этот шаг, потому что он висел на волоске. То есть я его как бы не осуждаю, но мне хотелось, чтобы он как-то об этом сказал. Но он предпочел сказать другое, что он ничего не знал. Он сказал: но я же их освободил... А я отвечала — я уже тоже завелась — я говорю: нет, это я их освободила! И он мне отвечал таким образом: если бы не я, вы бы до сих пор писали петиции. Надо сказать, что в этом каждый из нас был прав — и он, и я.

О Люде Алексеевой

Людмилу Михайловну Алексееву, сегодняшнего нашего юбиляра, знает множество людей. Знают как автора и ведущего аналитика программ радио «Свобода», «Голос Америки», как историка, автора первой – и пока единственной – книги, посвященной описанию и анализу современной общественной жизни СССР, нынешней России («История инакомыслия в СССР, новейший период»), как одного из первых и активнейших участников и организаторов правозащитного движения – важного проявления общественной жизни. Людмилу Михайловну знают в России, на Украине, в США, знают прежние и нынешние правозащитники, слушатели аналитических зарубежных радиопередач, читатели, историки, бывшие политзаключенные, их семьи.

Но Люду Алексееву, Людочку знают немногие – родные, близкие и друзья. Именно так посчастливилось знать Люду и мне.

Мы познакомились так давно, что, кажется, знаем друг друга всегда, всю жизнь – как знают друг друга сестры. Но ведь мы и есть названные сестры – это даже зафиксировано официально. Когда одной из нас грозил арест за эту самую общественную активность, мы договорились, что, предоставляя личные данные (о родственниках) тюремной администрации, одна назовет другую двоюродной сестрой. Это было по тем временам для «сестры» небезопасно (по фр. поговорке, *cousinage – dangereuse voisinage* – кузинаж – опасное соседство), зато позволило бы ей совершать всякие формальности от имени арестованной и, может быть, даже присутствовать на суде. Первой разыграть задуманный спектакль выпало мне. И в августе 1968-го я так и поступила. Халтурщики из КГБ не стали ничего проверять-перепроверять, и на суде среди тщательно отобранной «публики» и немногочисленных родственников я с радостью увидела сестричку. Она же первой приехала ко мне в ссылку, в сибирскую

Чуну, привезла необходимое на первый случай барахло, продукты, деньги. И сразу же развернула невероятную активность: нашла продающийся дом, на доброхотные пожертвования друзей, знакомых и незнакомых купила его, как полагается, впустила туда кошку. Два-три месяца спустя из Москвы в Чуну прибыл контейнер с разнообразной начинкой для дома — кое-какой собранной по знакомым мебелишкой, кастрюлями-сковородками, всяческим необходимым в хозяйстве тряпьем; особенно запомнилась мне ручная старинная кофемолка с трогательной и романтической историей. Контейнер снаряжала и отправляла Люда.

В этом доме я прожила благополучно и, можно сказать, счастливо все время ссылки, вспоминая сестричку-благотельницу.

Когда, после ссылки, пришло время мне и моему второму мужу, Анатолию Марченко, обосновываться и устраиваться в Москве или, на худой конец, недалеко от Москвы — Люда, конечно же, приняла в этом поистине родственное участие. Пока не устроились, мы с Анатолием жили у Люды в ее квартире на ул. Удальцова и занимались поисками. Нашли местечко в деревне Вахонино Тверской области, в тамошнем совхозе даже нашлась работа для Анатолия, но заклинало с пропиской для него — категорический отказ! И без объяснения причин, так что оставалось неясным, где же мы можем на законном основании поселиться. Одновременно через разных людей нам передавали строжайший наказ из КГБ: чтобы моментально вытряхивались из Москвы (ожидался визит американского Президента). — Куда? — Куда угодно, только не в Вахонино. — Почему? Эти наши вопросы Люда задала в КГБ, когда ее туда зачем-то вызвали. Ей объяснили: недалеко от Вахонино находится охотничье хозяйство ЦК то ли КПСС, то ли ВЛКСМ — сюда приезжают очень важные персоны, так что Вашему другу уголовнику Марченко «в Вахонино не жить ни при какой погоде»...

Пришлось начать поиски заново. Нашли четверть дома, нуждавшегося в капитальном ремонте, в Тарусе. И снова не обошлось без помощи Люды: Анатолий начал ремонт, а я не могла ему помогать, родился мой внук. Толя требовал, чтобы я приехала варить борщи строителям. Мои отношения с Толей обострились, дошло чуть не до разрыва. Люда сказала: «С борщами-то и я справлюсь», и немедленно отправилась в Тарусу.

Так что, когда мы с Анатолием, уже после рождения нашего сына, решили оформить наш брак, вопросов, кто будет свидетелями на этой церемонии, не могло быть: конечно, Люда и ее муж Коля. И в крестинах нашего сына Люда принимала самое деятельное участие. Мой старший сын уверял, что она исполняла роль и крестной матери, и крестного отца, и даже самого батюшки: остальные действующие лица, формально причастные к процедуре, не знали, с какого конца за младенца взяться.

Эти забавные истории я рассказываю для того, чтобы показать, какую роль играла Люда в моей жизни в течение долгих лет. Она сама никогда этого не рассказывает, хотя, я уверена, помнит все эти истории, и множество им подобных в деталях, гораздо лучше, чем я. Естественно, что сестры, даже названные, помогают друг другу. Но наши судьбы сложились так, что объектом помощи всегда была я, и Люда никогда не спрашивала, в чем я нуждаюсь, она всегда сама находила точку приложения своей деятельной доброты.

И это касалось не только меня, а всех людей, с кем ей приходилось быть в контакте.

Правозащитная деятельность Людмилы Алексеевой – это не искусственно найденное ею для себя поле деятельности, а жизнь, соответствующая ее личности, ее характеру.

Над характером годы не властны. Сегодня Люда Алексеева, как и в начале нашего знакомства, – так же энергична, активна, так же заряжена порывом помочь тому, кто в этом нуждается. Может быть, поэтому она и не стареет. Глядя на нее, я вижу привлекательную, красивую женщину с черными вьющимися волосами, такую, с какой я познакомилась лет сорок назад.

Видимо, в помощи и ближним, и дальним она ощущает смысл своей жизни, свою миссию. Сегодня в помощи нуждаются все, вся Россия. Ну, так помочь всем людям, всей стране, только хватило бы сил!

Дай Бог Люде Алексеевой сил на долгую жизнь, на исполнение своего предназначения, как она сама его понимает.

Автонекролог

За последние годы столько милых мне, любимых мною друзей ушло, как говорится, в мир иной, и о каждом мне пришлось писать некролог: «Лара, ты ж его (ее) лучше всех других знала и написать сможешь лучше других...» И не откажешься — ведь это было бы все равно как отказаться отдать последний долг ушедшему другу, как будто ты о нем не скорбишь, не хочешь помянуть добрым словом... А писать один некролог за другим, находя всякий раз новые, незаезженные слова — поверьте, занятие не только очень тяжелое душевно, но и изматывающе трудное. Вот и пишешь, один за другим, иногда даже сама вызываешься... Поневоле подумаешь: Господи, хоть бы поскорее подошла моя очередь, и пусть тогда другие помучаются, вот тогда они узнают, что это такое.

И вот я решила: нет, я не хочу, чтобы кто-то близкий мне из-за меня мучился. «А напишу-ка я сама свой некролог. Он будет вне конкуренции, раз сама себе.»

Сама эта идея как бы снимала флер грустной торжественности с события смерти, придавала ему несколько балаганный оттенок. А почему бы нет? Ведь превратил же Колчерикий собственные поминки в обязательное, совсем не торжественное представление, без всякой напыщенности, без приличествующей печальному событию обязательной скорби на лицах, без сдерживаемых рыданий в голосах... И я так хочу! Вот напишу соответствующий моему замыслу некролог! В такой стилистике и начала его. Но, слава Богу, пишу я чрезвычайно медленно, пока добралась до середины, успела подумать и одуматься.

А на самом деле, чего уж особенно веселиться? Смерть — событие достаточно серьезное и, поверьте, действительно печальное. И если кто-то захочет по этому поводу всплакнуть — пусть не скрываясь поплачет, а кто-то открыто улыбнется, вспомнив про себя что-то приятное, связанное с уходящим.

Лишь бы ни в том, ни в другом не было нарочитости, обязательности. Не было бы обмана.

Теперь я хочу написать вот в такой тональности свой некролог. Только бы успеть: ведь никто не знает ни дня, ни часа. Ну, а не успею, так тональность я уже задала.

Итак, смерть событие важное и печальное. Мне, дорогие, любимые, мне грустно разлучаться с вами, как и вам, наверное, со мной. Правда, мне все же легче, чем многим: я — не могу сказать, что верю, но все же надеюсь когда-нибудь, надеюсь, что очень нескоро (но что такое для вечности «нескоро»?); встретиться с вами на новом витке жизни, с каждым в свой день и час. Кто-то из вас, не дай Бог, может и опередить меня, но все равно надеюсь на встречу с каждым и с уже ушедшими. Боже мой! Да ведь это будет такое счастье, какого не смею требовать, а только надеяться на него.

Но вот, пока я, еще живая, пишу этот некролог, позвольте мне сказать вам нечто важное для меня, а, может, и для вас тоже. Я долго жила и немало грешила, причинив боль и зло кому-то из вас. Эти свои грехи я все помню, но не буду сейчас о них рассказывать: я не сторонница публичного покаяния. Покаюсь перед Всевышним — а вас, моих ближних и дальних, прошу: простите мне мои вины перед вами, «ако же и аз, грешная, прощаю врагом нашим» — всем, если кто думает, что в чем-то виноват передо мною. Даю вам слово, что никому не помню их вины, а только свои. Простите и прощайте.

Еще я хочу сказать, что была счастлива в своей жизни. Судьба подарила мне вас всех, вашу дружбу и любовь и мою любовь к вам. Если есть причина, кроме чисто биологического страха, по которой я не хотела бы уходить, так это то, что я не хочу расставаться с вами. Но каждый из нас смертен, и каждый из нас знает о предстоящей разлуке. Остается только смириться.

А еще о чем я жалею — это что не узнаю, не увижу своими глазами, как обустроится жизнь моих младших потомков, живущих сегодня и еще не пришедших в эту жизнь. Моя жизнь, можно сказать, состоялась, и состоялась хоть и нелегко, но, как я уже сказала, более счастливо, чем я того заслуживала. А вам, мои дорогие, предстоит еще прожить каждому свою трудную жизнь. Не ропщите, не впадайте в уныние. Как говорится, Бог посылает нам испытания и Он же дает силы для преодоления их.

Держитесь!

В надежде на не слишком скорую встречу всегда ваша любящая Лариса, ваш друг, мама, бабушка, прабабушка.

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА	3
МОЯ РОДОСЛОВНАЯ.....	8
БОГОРАЗЫ	8
ПИСЬМО КАТАРИНЕ ГЕРНЕТ.....	12
СУЛИМОВСКАЯ ДАЧА В СЕРЕБРЯНОМ БОРУ	14
ДЕЛО ДЕТЕЙ ВРАГОВ НАРОДА.....	18
РАЗГОВОР С СУЛИМОВЫМ В 1936 г.....	19
ПОВЕЗЛО СТАРИКУ БОГОРАЗУ!.....	20
МАМИНА РОДНЯ – БРУХМАНЫ.....	26
ДЕТСТВО, ЮНОСТЬ	41
НЯНЯ АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА ШЕВЧЕНКО	41
ДЕТСКИЙ САД.....	45
ЛЕТНИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ	54
ШЕЛЕСТ.....	58
ИСПАНИЯ.....	60
УЧЕНИЕ В ШКОЛЕ	61
ФИНСКАЯ ВОЙНА.....	66
ЭВАКУАЦИЯ	70
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ	73
ХИРОСИМА	73

ИНТЕРВЬЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ»	75
ЛАВОЧКА	78
МАМИНА СМЕРТЬ	103
МАРКСИЗМ И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ	104
ДЕЛО ДАНИЭЛЯ И СИНЯВСКОГО.....	110
АРЕСТ И РЕАКЦИЯ НА НЕГО	110
ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫЕ	118
1968	126
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ.....	126
О ПРОЦЕССЕ НАД ДЕМОСТРАНТАМИ 25 АВГУСТА 1968 г.	187
ИНТЕРВЬЮ	195
ПИСЬМО ЧЕШСКИМ ДРУЗЬЯМ.....	206
СЕМИДЕСЯТЫЕ – ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ	210
ОБ АЛЬМАНАХЕ «ПАМЯТЬ»	210
ПИСЬМО НАТАЛЬЕ И ЮЛИЮ КИМАМ	216
МЫ ЗДЕСЬ ЖИВЕМ.....	218
1. Сортирная сюита	218
2. Квартирный вопрос	227
3. Тихая пристань.....	235
4. * * *	242
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ	249
О ЛЮДЕ АЛЕКСЕЕВОЙ.....	253
АВТОНЕКРОЛОГ.....	256

Литературно-художественное издание

ЛАРИСА БОГОРАЗ

СНЫ ПАМЯТИ

ISBN 966-8919-76-3



Ответственный за выпуск и редактор *Евгений Захаров*
Компьютерная верстка *Олег Мирошниченко*

Подписано в печать 30.07.2009
Формат 60 x 84 1/16. Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс
Печать RISO. Усл. печ. л. 14,61 Усл. кр.-отт. 15,8
Уч.-изд. л. 16,12. Тираж 200 экз.

Распространяется бесплатно

Издательство «Права людини»
61112, Харьков, ул. Р. Эйдемана, 10, кв. 37
Свидетельство Государственного комитета телевидения
и радиовещания Украины
серия ДК № 3065 от 19.12.2007 г.

Напечатано на оборудовании Харьковской правозащитной группы
61002, Харьков, ул. Иванова, 27, кв. 4
<http://khp.org>
<http://library.khpg.org>